

Н.И. Михайлова

**«ВИТИЙСТВА ГРОЗНЫЙ
ДАР...»**

**А.С.Пушкин
и русская ораторская
культура
его времени**

Русский путь

Москва

1999

Михайлова Н.И.

«Витийства грозный дар...». А.С. Пушкин и русская ораторская культура его времени. — М.: Русский путь, 1999. — 416 с, илл.

ISBN 5-85887-050-3

Книга впервые представляет творчество А.С. Пушкина в широком контексте ораторской культуры его времени. Памятники красноречия, созданные выдающимися духовными ораторами — митрополитами Платоном, Амвросием, Филаретом; приказы и военные реляции М.И. Кутузова; написанные А.С. Шишковым правительственные манифесты; давно ставшие библиографической редкостью растопчинские афишки 1812 г.; пародийные речи общества «Арзамас»; известные Пушкину учебники риторики, среди авторов которых — лицейские профессора; ораторские речи, звучавшие в учебных аудиториях и литературных салонах, на полях сражений и в государственных собраниях, — позволяют приблизиться к миру Пушкина и его современников, по-новому прочесть его произведения и выявить в них понятный его первым читателям и утраченный сегодня смысл.

Пушкин — поэт, прозаик, критик и публицист — неожиданно предстает перед читателем и как оратор, слово которого обращено к современникам и потомкам.

Издание проиллюстрировано гравюрами и литографиями пушкинского времени.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
ЛИРИКА ПУШКИНА И ОРАТОРСКАЯ ПРОЗА ЕГО ВРЕМЕНИ	44
I. ЛИРИКА ПУШКИНА И ОРАТОРСКАЯ ПРОЗА 1812 ГОДА	44
1. «ВОСТРЕПЕЩИ, ТИРАН! УЖ БЛИЗОК ЧАС ПАДЕНИЯ!»	49
2. «НА ТРОНАХ ПОРАЗИТЬ ПОРОК»	85
3. «УЗНАЙ, НАРОД РОССИЙСКИЙ...»	98
4. «ЧЕМУ, ЧЕМУ СВИДЕТЕЛИ МЫ БЫЛИ!»	116
II. ЛИРИКА ПУШКИНА И ЦЕРКОВНОЕ КРАСНОРЕЧИЕ	136
1. «ХРИСТОС ВОСКРЕС, ПИТОМЕЦ ФЕБА!»	139
2. «ГЛАГОЛОМ ЖГИ СЕРДЦА ЛЮДЕЙ!»	153
3. «МОЙ СВОБОДНЫЙ ГЛАС»	168
4. «ОСТАВЬ ГЕРОЮ СЕРДЦЕ...»	184
5. «ВОТ СЧАСТЬЕ, ВОТ ПРАВА...»	194
РОМАН «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» И ОРАТОРСКИЕ ЖАНРЫ	214
1. «МОЮ ПРОШУ ЗАМЕТИТЬ РЕЧЬ»	214
2. «ТАК ПРОПОВЕДОВАЛ ЕВГЕНИЙ»	242
3. «ДРУЗЬЯ МОИ, ВАМ ЖАЛЬ ПОЭТА...»	257
4. «ГРОЗА ДВЕНАДЦАТОГО ГОДА...»	281
5. «У НАС ТЕПЕРЬ НЕ ТО В ПРЕДМЕТЕ»	289
ПОЭМА «МЕДНЫЙ ВСАДНИК» И ОРАТОРСКИЙ СТИЛЬ	297
1. «КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ...»	300
2. «НО БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ МОЙ ЕВГЕНИЙ...»	324
3. «УВЫ! ВСЕ ГИБНЕТ...»	342
ПРОЗА ПУШКИНА И ОРАТОРСКАЯ ПРОЗА ЕГО ВРЕМЕНИ	349
I. ПУШКИНСКАЯ ТЕОРИЯ ПРОЗЫ И «РИТОРИКИ»	
ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА	349
II. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА ПУШКИНА	
И ОРАТОРСКИЕ ТРАДИЦИИ	372
1. «ИСКУССТВО РАССКАЗЫВАТЬ ИСТОРИИ»	372
2. «В ПРОСТЫХ И ТРОГАТЕЛЬНЫХ ВЫРАЖЕНИЯХ...»	393
3. «УДИВИТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ НАРОДНОГО КРАСНОРЕЧИЯ»	410
III. ПУБЛИЦИСТИКА ПУШКИНА И ОРАТОРСКИЕ ТРАДИЦИИ	424
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	445
ЦИТИРУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ	449
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН	485

ВВЕДЕНИЕ

«Недавно читали мы в одной русской книге следующее родословие А.С. Пушкина как поэта: Мерзляков создал г. Кошанского, а г. Кошанский создал А.С. Пушкина. Следовательно, А.С. Пушкин учился по риторике г. Кошанского и, следовательно, учась по риторике г. Кошанского, можно выучиться прекрасно писать», — так в 1836 году в журнале «Библиотека для чтения» сообщалось о четвертом издании «Общей Реторики» лицейского преподавателя Пушкина Н.Ф. Кошанского и о третьем издании его же «Частной Реторики»* (114, 37)**.

* «Общая Реторика» Н.Ф. Кошанского выдержала десять, а «Частная Реторика» — семь изданий (первое издание «Общей Реторики» вышло в 1829 году, десятое — в 1849 году; первое издание «Частной Реторики» — в 1832 году, седьмое — в 1849 году). Обе книги в качестве учебных продержались до середины XIX века.

** В скобках первой арабской цифрой обозначен номер, под которым в приведенном в конце книги списке значится цитируемый источник. После запятой указана страница. В случае перечисления различные работы отделяются друг от друга точкой с запятой.

Отвлекаясь от иронического тона «Библиотеки для чтения», можно сказать, что приведенная заметка некоторым образом соотносится с проблемой, до сих пор не изученной: творчество

Пушкина в соотношении с теорией и практикой ораторского искусства его времени.

В современном пушкиноведении давно наметился интерес к изучению творческого наследия Пушкина в литературном и культурном контексте его эпохи. Литература и журналистика, театр и музыка, живопись и архитектура XVIII — первой трети XIX века так или иначе привлекались для исследования (239; 240; 327; 130; 202; 154 и др.). Но ораторское искусство оставалось вне поля зрения пушкинистов. Между тем думается, что именно оно должно занять одно из ведущих мест при рассмотрении соотношения и взаимодействия литературы и культуры пушкинского времени. В данном случае существенными представляются суждения, высказанные выдающимися учеными Ю.Н. Тыняновым и В.В. Виноградовым.

«Литературная система соотносится с ближайшим внелитературным рядом — речью, с материалом соседних речевых искусств и бытовой речи», — писал Ю.Н. Тынянов в статье «Ода как ораторский жанр» (295, 228).

«Перекрестки путей культуры и литературы больше всего привлекали внимание автора. Поэтому вопросы риторических форм выступили на первый план», — заметил В.В. Виноградов в послесловии к разделу «Поэтика и риторика» в монографии «О художественной прозе» (143, 175).

Современники и ближайшие потомки Пушкина обращали внимание на такую характерную особенность его гения, как отзывчивость на все, что его окружало. «Не было почти явления в природе, события в обыденной и общественной жизни, которые бы прошли мимо его, не вызвав дивных и неподражаемых звуков его лиры», — вспоминал И.И. Пущин (242, 87–88). «Пушкин откликнулся на все, в чем проявлялась русская жизнь, — утверждал Н.А. Добролюбов, — он обозрел все ее стороны, проследил ее во всех степенях» (171, 114). Не мог не откликнуться Пушкин и на ораторское искусство, тем более что оно было весьма значительным явлением духовной культуры, сложным и многообразным, в котором отразились философия, эстетика и этика эпохи, явлением, которое теснейшим образом связано с историей и бытом пушкинского времени.

Обращаясь сегодня к изучению творчества Пушкина в соотношении с ораторской прозой первой трети XIX века, мы можем открыть для себя богатства той высокой культуры ораторского слова, которая так необходима нам сегодня и которая сегодня во многом нами утрачена. Это изучение важно для историко-литературного и культурологического комментария пушкинских произведений, позволяющего раскрыть многоплановость их содержания, выявить в текстах Пушкина понятный его современникам, но неизвестный нам, часто неожиданный для нас смысл. Привлечение ораторской прозы

нужно и для постижения своеобразия художественной формы, традиции и новаторства в произведениях Пушкина.

Книга, предлагаемая вниманию читателя, — первый опыт монографического исследования творчества Пушкина в контексте ораторской культуры его времени. Свою задачу мы видели прежде всего в том, чтобы привлечь внимание к самой теме, наметить подходы к ее изучению. С помощью сопоставительного анализа поэзии и прозы Пушкина с ораторской прозой первой трети XIX века предпринята попытка определить воздействие ораторского слова на пушкинское творчество на уровне идейно-тематического содержания, образной системы, жанра, стиля; проследить там, где это возможно, эволюцию произведений Пушкина в интересующем нас аспекте.

Изучение избранной нами темы может быть осуществлено лишь на базе достижений пушкиноведения, трудов М.П. Алексеева, Д.Д. Благого, С.М. Бонди, В.В. Виноградова, Г.О. Винокура, Л.П. Гроссмана, Г.А. Гуковского, Н.В. Измайлова, А.З. Лежнева, Г.П. Макогоненко, Б.С. Мейлаха, Ю.Г. Оксмана, Б.В. Томашевского, Ю.Н. Тынянова, И.Л. Фейнберга, Б.М. Эйхенбаума, Д.П. Якубовича и других исследователей. В нашей работе учтены также исследования Е.А. Маймина (206), Ю.М. Лотмана (204), В.И. Кулешова (190), Н.Н. Скатова (269) последних лет, посвященные жизни и творчеству Пушкина, общим закономерностям его творческого развития, монографии

Л.С. Сидякова (262), В.А. Грехнева (156), С.А. Фомичева (303), Н.Н. Петруниной (230), рассматривающие вопросы эволюции пушкинской прозы и лирики.

Несмотря на то, что риторические традиции в творчестве Пушкина специально не изучались, в научной литературе есть немало отдельных указаний на те или иные риторические формы, которые использовал Пушкин в своих произведениях, наблюдений, связанных, в частности, с библейским ораторским стилем. Назовем здесь монографии и статьи В.Г. Базанова (108), С.Г. Бочарова (125), М.П. Еремина (173), Я.Л. Левкович (192), В.Е. Хализева (310), работы В.В. Виноградова (137; 138), А.Д. Григорьевой (159), Эрки Пеуранена (231). Особый интерес представляют высказанные И.Л. Фейнбергом соображения о том, что пушкинские произведения — не только поэзия, но и проза — были рассчитаны на чтение вслух. Анализируя историческую прозу Пушкина, вобравшую в себя традиции античной исторической прозы, исследователь писал: «Это проза, рассчитанная на звучание. Звучащая проза Пушкина. Она подобна в этом античной прозе. <...> В “Истории Петра” Пушкин воскресил достоинства звучащей античной прозы» (298, 142).*

* О возможной ориентации Пушкина на слушателей в лирических произведениях см. работы Г.В. Артоболевского (101, 176–181) и Н.Н. Петруниной (228).

Еще несколько предварительных замечаний.

Рассматривая творчество Пушкина в контексте ораторской прозы первой трети XIX века, мы отправлялись от общего представления о соотношении и взаимодействии литературы и ораторской культуры этого времени. Ораторская речь в различных ее жанровых разновидностях влияла на поэзию, прозу, драму. Если ода, по справедливому наблюдению Ю.Н. Тынянова (295), сопоставима с похвальным словом, то произведения гражданской, политической лирики — с проповедью, манифестом, воззванием; для изучения элегии с ее мотивами безвременного увядания, ранней могилы может быть привлечено надгробное слово. В еще большей степени, чем поэзия, с красноречием связана проза: не случайно именно учебники красноречия — «Риторика» — заключали в себе теорию всех прозаических сочинений. Что же касается драматургии, то сама генеалогия и специфика этого литературного рода, предназначенного для сцены, для устного чтения, декламации, делает привлечение для ее изучения памятников ораторского искусства тем более правомерным. Таким образом, в сфере сопоставления с ораторской прозой может быть рассмотрено творчество Пушкина — поэта, прозаика, драматурга. При этом в каждом конкретном случае родовые особенности поэзии, прозы, драмы дают о себе знать в том, как сказывается ораторская традиция в тематике, проблематике, жанре и стиле произведения.

Объектом нашего изучения явилась лирика и проза Пушкина, его роман в стихах «Евгений Онегин» и поэма «Медный всадник». Обширность исследуемого материала заставила нас отобрать те произведения, которые представляют значительные вехи в творческой эволюции Пушкина, в его движении от романтизма к реализму, произведения, в которых общие тенденции ориентации Пушкина на ораторскую культуру, на наш взгляд, дают о себе знать наиболее отчетливо. Мы исключили из нашей работы анализ драматургии Пушкина, которая в соотношении с ораторской прозой должна стать предметом специального исследования.

В монографии рассматриваются и в качестве сопоставительного материала, и в качестве самостоятельного предмета изучения произведения русской ораторской прозы XVIII — первой трети XIX века. Одну из своих задач мы видели в том, чтобы познакомить читателя с памятниками русского красноречия пушкинской эпохи, которые если и привлекались историками и литературоведами, то преимущественно как документы, а не как литературные тексты. Проповеди, манифесты, воззвания, приказы по армиям, торжественные речи, выходившие отдельными изданиями, напечатанные в газетах и журналах пушкинского времени, сохранившиеся в рукописях в архивах, позволяют представить ту ораторскую культуру, с которой был

хорошо знаком и Пушкин, и его современники, и с которой нам еще только предстоит познакомиться.



Новоселье у А. Ф. Смирдина 19 февраля 1832 года
Гравюра С. Галактионова с рис. А. Брюллова. 1832

...красноречие есть искусство мыслить и говорить.
<...> Область сего искусства самая обширная. Оно исходит от Престола Самодержца к подданным — в воззваниях и манифестах; оно торжествует в устах Дипломата, который словом производит в действие то, чего нельзя достигнуть принуждением; господствует на поле брани, одушевляя воинов мужеством; господствует в народных собраниях, на которых происходят совещания о выгодах Отечества; — пред Судилищем, где защищает права граждан; в нравоучительных речах, обличая порок и оживляя

благородные помыслы; наконец во всех тех случаях, где требуется наставление. *Теория Красноречия для всех родов прозаических сочинений, извлеченная из немецкой библиотеки словесных наук А. Галичем. 1830*



...справедливо, кажется, будет с д'Аламбером сказать, что красноречие есть дар потрясать души, переливать в них свои страсти и сообщать им образ своих понятий. Первое следствие сего определения есть то, что,

собственно говоря, обучать красноречию невозможно, ибо невозможно обучать иметь блистательное воображение и сильный ум. Но можно обучать (позвольте мне сие выражение), каким образом сии драгоценные камни, чистое порождение природы, очищать от их коры, умножать отделкой их сияние и вставлять их в таком месте, которое бы умножало их блеск. И вот то, что, собственно, называется риторикой. *М. М. Сперанский. Правила высшего красноречия. 1844*



Оратор должен действовать не на один только разум человека, но и на все его душевные силы. Он старается

особенно воспламенить воображение слушателя, дабы таким образом привязать к себе его внимание. Новость, красота, важность и возвышенность мыслей, так как и одежда их служат самым действительным к тому средством. Живые, разительные картины много способствуют к самому убеждению ума человеческого. *А. Ф. Мерзляков. Краткая риторика, или правила, относящиеся ко всем родам сочинений прозаических. 1821*

Привлекая для изучения ораторских традиций в творчестве Пушкина ораторские тексты, мы различали их следующим образом: первый круг — тексты, с которыми был знаком Пушкин, которые по документальным свидетельствам он читал или слышал; в этом случае ораторские тексты могли быть и литературными источниками пушкинских произведений. Второй круг, более широкий, — те тексты, которые с той или иной степенью вероятности он мог читать или слышать; здесь также возможны предположения источниковедческого порядка. И, наконец, третий круг — периферийный — ораторские тексты, которые привлекаются как типологическое явление ораторской культуры пушкинского времени, тексты, дающие материал для изучения идеологического содержания различных видов ораторской прозы, их жанровых и стилевых особенностей. При этом нужно учитывать то обстоятельство, что ораторская культура пушкинской эпохи наследует не только традиции древнерусского ораторского искусства, русской ораторской прозы XVIII века, но и традиции

античного и европейского красноречия. Произведения древнерусских, античных и европейских ораторов, известные Пушкину и его современникам, также требуют своего выявления и изучения.

Ораторская культура пушкинского времени нашла свое теоретическое выражение в «Риториках» — учебниках теории красноречия.* Они привлекаются для комментария риторических приемов, использованных Пушкиным в его произведениях, рассматриваются при изучении теоретических воззрений Пушкина-прозаика, воплощенных в его прозе. В связи с этим чрезвычайно важным представляется замечание В.В. Виноградова: «“Риторика” Н. Кошанского должна быть принята во внимание при изучении языковых форм пушкинской прозы. Во всяком случае, и теоретические суждения А. С. Пушкина о прозе, и стилистическая структура его прозы обнаруживают большую близость к основным положениям “Риторике” Кошанского» (143, 109).

* Обзор «Риторик» пушкинского времени дан в книге В.В. Виноградова «О художественной прозе» (143).

Реконструкция с помощью ораторских текстов ораторской культуры пушкинского времени; выявление путем сопоставления пушкинских текстов с ораторскими текстами первой трети XIX века творческого использования ораторского слова, его идеологии

и поэтики в произведениях Пушкина; анализ теоретического осмысления Пушкиным риторического опыта и претворения им теории красноречия в практику художественного творчества — так виделись нами основные взаимосвязанные направления в исследовании избранной нами темы.

И последнее. Приступая к работе, мы столкнулись с тем, что ораторское искусство пушкинской эпохи недостаточно освещено в научной литературе. Академический труд «История красноречия в России» пока не написан. В немногочисленных же монографиях, брошюрах и статьях, посвященных истории красноречия, ораторское искусство первой трети XIX века представлено весьма неполно (94; 290; 282; 100 и др.).

Как правило, развитие русского красноречия в XVIII — первой половине XIX века рассматривается следующим образом: вначале говорится о сложности самих исторических условий существования красноречия в России. Исследователи указывают на то, что в России не было парламента, действовала цензура, гнет которой распространялся и на лекторское слово, до 1864 года не было гласности суда, и поэтому не могло развиваться судебное красноречие. Затем в качестве основополагающих работ называются «Духовный регламент» Петра I, сочинения М.В. Ломоносова по ораторскому искусству, затем следуют имена некоторых авторов русских учебников по риторике, а потом речь идет уже о Т.Н. Грановском и В.Г. Белинском. Между тем

ораторское искусство первой трети XIX века представляло собой явление более сложное, широкое и разнообразное и, как отмечалось выше, было связано с самой историей, бытом и культурой пушкинской эпохи. Не претендуя, разумеется, на всестороннюю характеристику ораторского искусства первой трети XIX века, мы считали нужным предварить наше исследование кратким очерком русского красноречия пушкинского времени, рассказать о его видах и жанрах, привести отрывки из некоторых речей, передающие своеобразный ораторский колорит пушкинской эпохи.

* * *

«Слово! — А что такое слово? Смотрите на кормщика; — среди подводных камней он правит верно кораблем своим, по воле своей вертит им, как простым куском дерева, плавающим на поверхности вод; — от времени до времени повторяет он несколько слов, и они-то производят это чудо. Взгляните на поле сражения: сотни полков подвиглись; в одно время, вдруг бросаются они на неприятеля; — одно мановение, одно слово начальника тому причиною. Вот слабое подобие глагола могущаго, который яснее и звонче всякого человеческого голоса в ограниченном пространстве, раздаётся в беспредельности вселенной; и этот глагол есть слово. Слово есть действующая сила речи, глагол творящий» (278, 145).

Приведенное рассуждение П.Я. Чаадаева свидетельствует о том, насколько современники Пушкина осознавали силу ораторского слова, его возможности воздействовать на умы и сердца людей. И это не случайно. В пушкинское время ораторское слово звучало на поле брани и в учебной аудитории, на площади и во дворце, в церкви и в гостиной. Ораторское слово поднимало на бой и вдохновляло на борьбу. Оно радовало в торжествах и утешало в бедствиях. Оно учило, проповедовало, забавляло. Войны и революции, государственная и частная жизнь, религия и культура — в пушкинское время все было связано с ораторским словом, воплощалось в ораторском слове.

В истории русского красноречия заметное место занимает 1812 год. Это было признано уже тогда, в первой трети XIX века. Многие ораторские тексты 1812 года приводились в учебниках риторики в качестве образцовых. Особенно много поместил их Я.В. Толмачев в своем учебнике «Военное красноречие», изданном в 1825 году (77). Автор же брошюры «О военном красноречии», также вышедшей в 1825 году, адъютант А.В. Суворова и сподвижник М.И. Кутузова Е.Б. Фукс, обращаясь в своем изложении к Отечественной войне 1812 года, восклицал: «Какое обширнейшее поле отверзается военному красноречию!» (85, 44).

Война с Наполеоном вызвала к жизни многие жанры ораторского искусства — военного, политического, церковного.

Военные события нашли отражение в манифестах, воззваниях, приказах, реляциях, проповедях, торжественных речах, надгробных словах.

Среди создателей ораторской прозы 1812 года были прославленные русские полководцы, известные литераторы, талантливые проповедники. В числе приказов, воззваний, реляций есть те, которые принадлежали перу М.И. Кутузова, М.Б. Барклая-де-Толли, П.И. Багратиона. Над «Известиями из армии» работали А.С. Кайсаров, А.И. Михайловский-Данилевский, Н.Н. Скобелев; не исключено, что в этой работе участвовал и В.А. Жуковский. С проповедями, пастырскими наставлениями выступали такие блестящие ораторы, как епископ Августин, митрополит Амвросий, архиепископ Филарет.

По поручению Александра I правительственные манифесты, указы по армиям, рескрипты писал А.С. Шишков. По свидетельству близкого к А.С. Шишкову К.С. Сербиновича, «не подлежит сомнению, что выбор пал на него за речь его “О любви к Отечеству”» (324, 575). «Сказывали, — вспоминал К.С. Сербинович, — что при чтении этой речи в публичном собрании «Беседы» (имеется в виду “Беседа любителей русского слова” — *Н.М.*) сардинский посланник, граф Местр, приехавший, как и многие иные, из любопытства, напрасно старался узнать о подробностях чтения. Восторг был так велик, что никто не обращал внимания на его вопросы: он узнал только, что все

русские одушевлены самым горячим чувством патриотизма» (324, 575).

«Нынешний день, ознаменованный Полтавскою победою, да послужит вам примером! Память победоносных предков наших да возбудит к славнейшим подвигам!» — говорилось в приказе Александра I по армиям от 27 июня 1812 года (64, 1442).

«Да встретит он (неприятель — *Н. М.*) в каждом дворянине Пожарского, в каждом духовном Палицына, в каждом гражданине Минина», — было сказано в Манифесте от 5 июля 1812 года (51, 1481).

«...хотя великолепную Столицу Нашу пожрал ненасытный огонь, но огонь сей будет в роды родов освещать лютость врагов и нашу славу. В нем сгорело чудовищное намерение всесветного обладания, приключившее толико бедствий всему роду человеческому и приготавлившее столько же зол предбудущим родам. Россия вредом своим купила свое спокойствие и славу быть спасительницею Европы», — говорилось в рескрипте Александра I на имя главнокомандующего Москвы графа Ф.В. Ростопчина от 11 ноября 1812 года (67, 1756).

Эти и другие слова, сочиненные А.С. Шишковым, вселяли мужество в защитников Отечества, воодушевляли их на ратные подвиги. По воспоминаниям С.Т. Аксакова, «...писанные им (А.С. Шишковым — *Н.М.*) манифесты действовали электрически на целую Русь. Несмотря на книжные, иногда несколько

напыщенные выражения, русское чувство, которым они были проникнуты, сильно отзывалось в сердцах русских людей» (96, 306–307). В 1816 году А.С. Шишков анонимно напечатал «Собрание высочайших Манифестов, Грамот и Указов, Рескриптов, Приказов войскам и разных извещений, последовавших в течение 1812–1816 годов». С деятельностью А.С. Шишкова в 1812 году связаны строки Пушкина из «Второго послания к цензору» 1824 года:

Сей старец дорог нам: друг чести, друг народа,
Он славен славою двенадцатого года.

(II, 368)*

* Тексты Пушкина цитируются по изданию: Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 16 т. М.; Л., 1937. В тексте в скобках том обозначается римской, страница — арабской цифрами.

Еще один пример того, как ораторское слово находило отклик у современников и участников военных событий, насколько велика была потребность в этом слове. 29 октября 1812 года М.И. Кутузов издал приказ по армиям. Сообщая об успехах генерала М.И. Платова, разбившего неприятельский корпус под Дорогобужем, фельдмаршал призывал воинов преследовать врагов, ободрял их, вселял веру в победу русского оружия:

«И так мы будем преследовать неутомимо. Настают зима, вьюги и морозы; но нам ли бояться их, дети Севера? Железная грудь ваша не страшится ни суровости погод, ни злости врагов; она есть надежная стена Отечества, о которую все сокрушается» (14, 64).

Артиллерийский подполковник И.Т. Раджицкий так описывает воодушевление воинов, услышавших этот приказ:

«Офицеры и солдаты повторяли весело: мы дети Севера! У нас железные груди и каменные кулаки! Нам ли бояться морозов! Пойдем вперед доколачивать французов!» (246, 272). «Из этого видно, — замечает далее И.Т. Раджицкий, — как полководцу необходимо иметь при себе военно-красноречивого оратора; а еще лучше, ежели он сам может излить свои геройские чувства в сильных выражениях! Слова его как небесная манна подкрепляют бодрость духа воинов, ослабевающих от изнурения, и, оживляя их мужеством военачальника, производят чудеса, недостижимые для обыкновенных людей» (246, 272).

Не только военные, но и другие исторические события, государственная и общественная жизнь России пушкинского времени могут изучаться по правительственным манифестам, речам монархов, министров, государственных и общественных деятелей. Восстание декабристов, крестьянские и солдатские волнения, холерные бунты — все это отражено в ораторских текстах первой трети XIX века. В них — различные

постановления, программы, объявления о тех или иных актах. Ораторские тексты обсуждались в разных общественных кругах, печать делала их достоянием всей России. Хотелось бы подчеркнуть, что в большинстве своем они создавались по законам ораторского искусства, являются памятниками русского красноречия. Многие из этих текстов будут рассмотрены нами в дальнейшем. Теперь же обратим внимание на один из ораторских документов первого десятилетия царствования Александра I, когда оживились надежды на либеральные преобразования в России. Это «Речь императора Александра Павловича в первом заседании Государственного совета 1 января 1810 года». В ней излагается назначение нового государственного учреждения, которое состоит в том, чтобы быть «средоточием всех дел высшего управления», чтобы «установить порядок и оградить империю добрыми законами» (11, 473–474). Речь, в целом сдержанная по тону, искусно выстроенная, завершается патетическим призывом к членам совета содействовать государю в этом начинании:

«Уповаю на вас и благословение Всевышнего; мой долг будет разделять труды ваши и искать одной славы, для сердца моего чувствительной, чтобы некогда, в поздних временах, когда меня уже не будет, истинные сыны Отечества, ощутив пользу сего учреждения, вспомнили, что оно установлено было при мне, моим искренним желанием блага России» (11, 474).

Цитируемая речь Александра I составлена М.М. Сперанским, видным государственным деятелем, который был и автором одного из наиболее удачных учебников риторики. Небезынтересны приведенные в публикации поправки Александра I (речь была опубликована в «Русской старине» в 1872 году) — они свидетельствуют о чувствительности императора. Так, слово «ощущать» заменено на «чувствовать», вместо «истинные сыны Отечества» — «добрые сыны».

В роли оратора выступал и Николай I, который, как известно, брал уроки декламации. Одна из его речей была обращена к народу по случаю беспорядка в Петербурге во время холеры 1831 года. На наш взгляд, она достаточно убедительно свидетельствует о том, что Николай I был искусным оратором. Речь обладает достоинством краткости; вопросы и восклицания делают ее эмоциональной. Убеждая народ в послушании правительству, Николай I обращается к Божественному авторитету, использует театральные жесты:

«Не узнаю я в вас Русских: что, Французы ли вы или Поляки? Сии последние уморили возлюбленного Брата Моего: так и вы со Мною хотите то же сделать? Но я уповаю на Всевышнего творца, стою здесь безбоязненно среди вас, вот и грудь Моя!» (57, 227).

Любопытно, что подобным же театральным жестом Пушкин наделяет своего красноречивого героя — Дона Гуана: «Дона Анна, Где твой кинжал? вот грудь моя» (VII, 167).

Государственная идеология находила свое воплощение и в произведениях церковного красноречия. Духовные ораторы в унисон государственным постановлениям оценивали и Великую Французскую революцию, и восстание декабристов, призывали народ к послушанию властям, проповедовали единение монарха и его подданных. Чтобы убедиться в этом, обратимся к проповеди митрополита Филарета, одного из самых значительных ораторов-богословов пушкинского времени. В слове «...в день обретения мощей иже во святых отца нашего Алексия митрополита Московского и всея России чудотворца и по случаю возвращения к Московской пастве, говоренном 20 мая 1830 г.», митрополит Филарет утверждает единство царя и народа:

«Вслушайтесь еще раз добрые верою и верностью сердца: Ваш царь, соступя любовию с высоты величия, в превышающей самое величие простоте любви, вас приветствует. Примите сию добрую весть, понесите ее из дома в дом, со стогны на стогну; пусть выйдет она и за врата обширного града; пусть пройдет по селам и градам, ближним и дальним; услышав ее, они не позавидуют нам, но порадуются с нами, зная, что добрый царь всех добрых Россиян любит единою любовию» (81, 14).

В слове «...в день тезоименитства Благословенного государя, наследника Цесаревича В. К. Александра Николаевича, говоренном в Успенском соборе 30 августа 1830 г.» толкование изречения апостола Петра завершается призывом к повиновению властям (82, 20).

Заметим, что такой «прикладной» характер церковного красноречия был, по-видимому, осознан Пушкиным. Об этом свидетельствуют, как нам кажется, произнесенные им в 1830 году в Болдине проповеди о холере, пародирующие церковное красноречие. Об одной из них Пушкин писал П. А. Плетневу: «Я бы хотел переслать тебе проповедь мою здешним мужикам о холере; ты бы со смеху умер, да не стоишь ты этого подарка» (XIV, 113). Содержание же пушкинских проповедей сохранилось в мемуарной литературе. Нижегородская губернаторша А.П. Бутурлина расспрашивала Пушкина о его занятиях в Болдине: «Что же вы делали в деревне, Александр Сергеич? Скучали?» — «Некогда было, Анна Петровна. Я даже говорил проповеди». — «Проповеди?» — «Да, в церкви, с амвона. По случаю холеры. Увещевал их. — И холера послана вам, братцы, оттого, что вы оброка не платите, пьянствуете. А если вы будете продолжать так же, то вас будут сечь. Аминь!» (120, 65–66).

Разумеется, церковное красноречие, уходящее корнями в глубь веков, не сводилось лишь к государственной функции. Проповедь христианской религии, вечных истин добра,

справедливости, самоотвержения, любви — в этом прежде всего заключалось его содержание. И это находило отклик в душах слушателей церковных проповедников. Одно из свидетельств тому — выписки из «Слова» митрополита Филарета, «говоренного 1830-го сентября 21 дня» во время холеры, которые сделала в своем альбоме дочь известной мемуаристки Е.П. Яньковой — А.Д. Янькова: «Отложим гордость, тщеславие и самонадеяние <...>. Исторгнем из сердец наших корень зол — сребролюбие. Возрастим милостыню, правду, человеколюбие. Прекратим роскошь <...>, облачимся если не во вретисце, то в простоту <...>. Презрим забавы сердечные, убивающие время, данное для делания добра...» (224, 359).

В лучших образцах церковное красноречие являлось высоким искусством ораторского слова. Среди его создателей были замечательные ораторы. Их проповеди, похвальные и надгробные слова, пастырские наставления отличались стройной композицией, высоким торжественным стилем изложения, который производил сильное впечатление на слушателей. Образный строй их ораторских текстов обогащался за счет обильной цитации из Библии.

Речи духовных ораторов воспринимались современниками Пушкина и как литературные произведения. Не случайно памятники церковного красноречия были включены в «Собрание образцовых русских сочинений и переводов в прозе», изданное в

пяти томах в Санкт-Петербурге в 1815 году Обществом любителей отечественной словесности.

В истории политического красноречия России выдающееся место принадлежит декабристам. «Витийством резким знамениты» — так писал о них Пушкин. Ораторская речь, адресованная ко многим слушателям, открывала широкие возможности для распространения и пропаганды новой идеологии с ее пафосом утверждения свободы и отрицания рабства.

Н.Д. Кочеткова в статье «Ораторская проза декабристов и традиции русской литературы XVIII века (А.Н. Радищев)» (189) анализирует речи Ф.Н. Глинки, М.Ф. Орлова, М.А. Бестужева-Рюмина — они исполнены высокой гражданской страсти, острой политической мысли. При этом автор статьи обращает внимание на то, что в речах декабристов нередко полемически использовались формы церковного красноречия.

Но христианство приобретало здесь иной смысл: обязанности христианина, по мысли декабристов, заключались не в смирении, не в покорности, а в активной гражданской деятельности, в борьбе. Так, например, М.Ф. Орлов свою речь, произнесенную в Киевском отделении Библейского общества 11 августа 1819 года, облек в форму проповеди, но традиционная форма церковного красноречия использовалась им для выражения принципиально нового содержания. Божественный авторитет был

привлечен М.Ф. Орловым для обоснования своих предложений по организации взаимного обучения:

«В то же самое время, когда взаимное обучение начинает распространяться в России, сам Бог, конечно, допустил Библейское общество довершить перевод Евангелия, как будто бы хотел показать, на чем должно основать общее просвещение» (223, 50).

Речь М.Ф. Орлова произвела сильное впечатление. П.А. Вяземский писал А.И. Тургеневу 28 августа 1819 года:

«Читал ли ты библейскую речь Орлова? Как приняли ее у вас? <...> Я ее читал с отменным удовольствием: много неправильности в слоге, но всегда сила, всегда живопись, везде отпечаток ума бодрого и души плотной. <...> Я никак не понимаю, что дали ему киевские черно книжники читать это. Как ловко отделался он от церковного пустословия: текстов, Моисеев, духовных гладов и прочего, прочего. Ну, батюшка, оратор! Он и тебя за пояс заткнул: не прогневайся! <...> Я в восхищении от этой речи...» (147, 299).

Ораторское искусство пушкинского времени не исчерпывается только военным, церковным и политическим красноречием. В эту пору получает свое дальнейшее развитие и академическое красноречие, создавшееся в университетских и других учебных заведениях.

Прекрасным оратором был поэт, критик, профессор Московского университета, автор одного из учебников по

риторике А.Ф. Мерзляков. Его лекции пользовались большим успехом. Опыт А.Ф. Мерзлякова, признанного одним из родоначальников русского университетского красноречия, развивали впоследствии преподаватели Московского и Петербургского университетов.

Интересный памятник академического красноречия пушкинского времени — изданные в четырех томах в 1819–1823 годах Обществом любителей российской словесности «Речи, произнесенные в торжественных собраниях императорского Московского университета русскими профессорами оного». В уведомлении об издании «Речей» подчеркивалось их литературное значение:

«Кроме долга признательности к заслугам таких людей, которые всю жизнь свою посвящали мудрости и трудились не для блистательных отличий, а единственно из любви к добру и просвещению, — кроме сего священного долга, издание профессорских речей, лучших своего времени прозаических сочинений, может служить дополнением к истории отечественной словесности» (70, ч. 1, 2).

В Лицее Пушкин слушал лекции таких преподавателей, как профессор русской и латинской словесности Н.Ф. Кошанский, профессор русской и латинской словесности А.И. Галич, адъюнкт-профессор русской и латинской словесности П.Е. Георгиевский, адъюнкт-профессор нравственных и политических наук

А.П. Куницын, адъюнкт-профессор исторических наук И.К. Кайданов. Об их ораторском мастерстве, впрочем, далеко не равноценном, в какой-то мере позволяют судить конспекты лицейских лекций, сохранившиеся в тетрадях лицеиста А. М. Горчакова (48), изданные ими учебники*, а также воспоминания лицеистов (237). Пушкин особенно отличал А. П. Куницына:

Куницыну дань сердца и вина!
Он создал нас, он воспитал наш пламень,
Поставлен им краеугольный камень,
Им чистая лампада возжена...

(II, 972)

* О том, что в основу «Общей Реторики» и «Частной Реторики» Н.Ф. Кошанского были положены его лекции, прочитанные в Лицее, свидетельствует лицеист Я.К. Грот: «...учебники его еще не были изданы, и слово реторика даже не произносилось в его лекциях, хотя в них и входило многое из того, что впоследствии явилось в названных книжках» (237, 42).



Н.М. Карамзин
Гравюра Н. Уткина с ориг. В. Тропинина. 1815

Будучи источником душевных удовольствий для человека, Словесность возвышает и нравственное достоинство государства. *Речь, произнесенная в торжественном собрании Императорской Российской Академии 5 декабря 1818 года.*



Самая поэзия, которая питается учением, возрастает и мужает наравне с образованием общества, поэзия принесет зрелые плоды и доставит новые наслаждения душам возвышенным, рожденным любить и чувствовать изящное. Общество примет живейшее участие в успехах ума — и тогда имя писателя, ученого и отличного стихотворца не будет дико для слуха: оно будет возбуждать в умах все понятия о славе Отечества, о достоинстве полезного гражданина. *Речь о влиянии легкой поэзии на язык, читанная при вступлении в Общество любителей русской словесности, в Москве. Июля 1816.*



Н. И. Гнедич

Литография с ориг. А. Калашникова, 1830-е годы

Язык человека есть оружие, сильнее огня и железа. *Рассуждение о причинах, замедляющих успехи нашей словесности. 1814.*



Друзья! Вот цветок, рожденный от плодотворной силы земли и от влияний неба; в нем блистают все краски радуги, в нем дышат ароматы Аравии; для него уже довольно быть украшением луга и радостью прохожего, но пусть время откроет в нем целебные соки. Сей цветок есть эмблема литературы и Арзамаса. Наше скромное правило: истина и справедливость, в картинах и суждениях; а цель — чистое

удовольствие современных и может быть, польза потомства.
*Сонное мнение члена Эоловой Арфы, провозглашенное
устаи пупка его в исходе 20-го Арзамаса. 20 апреля 1817.*



В. А. Жуковский
Гравюра Ф. Вендрамини с ориг. О. Кипренского. 1817

Друзья! Помните ли предание древнего времени о Фениксе бессмертном? В нашем брате возобновилось чудо перерождения сей баснословной птицы! В едином токмо не сходствует он с нею — Феникс умирал Фениксом и воскресал Фениксом! Брат наш умер сердитою совою Беседы и воскрес горделивым гусем Арзамаса! *Ответ Светланы на речь Громобоя. 29 октября 1815.*



П. А. Вяземский
Литография с ориг. И. Вивьена. 1820-е годы

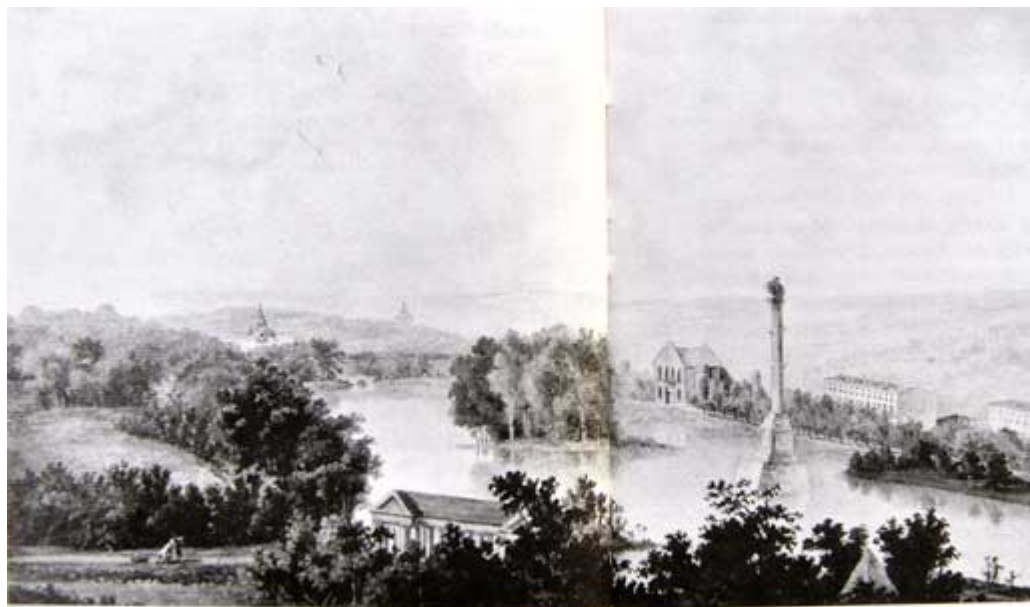
Объятый священным трепетом вхожу я в ограду вашу, почтеннейшие сограждане, и, окидывая торопливым взором именитое собрание героев, проливших потоки благородных чернил на стогнах Петрограда, готов я воскликнуть, искажая немного по примеру переводчиков наших известный стих: *Parmi tant de heros je n'ose me montrer.*
Речь члена Асмодея. 24 февраля 1816.



Почтеннейшие сограждане Арзамаса, я не буду
исчислять подвигов ваших: они всем известны. Я скажу
только, что каждый из вас приводит сочлена Беседы в
содрогание точно так, как каждый из них производит в
собрании нашем смех и забаву. Да вечно сие продолжится!
Собственная речь члена ВОТ. Март 1816.

По свидетельству П.А. Плетнева, Пушкин «о лекциях Куницына <...> вспоминал всегда с восхищением и лично к нему до смерти своей сохранил неизменное уважение» (210, 66).

Литературная жизнь России первой трети XIX века с ее литературными обществами, кружками, салонами также теснейшим образом связана с ораторской культурой. Речи были неотъемлемой частью заседаний литературных обществ; они могли быть двух типов. Речь серьезная рассматривала вопросы литературного развития, теории и практики литературного творчества (примером может служить «Речь о влиянии легкой поэзии на язык», прочитанная Батюшковым в 1816 году в Москве при вступлении в «Общество любителей русской словесности») (106, 8–19). Речь пародийная поднимала те же вопросы, но решались они в иной форме. Такие речи, использующие мотивы и образы церковного красноречия, произносились в «Арзамасе», членом которого был Пушкин, В.А. Жуковским и В.Л. Пушкиным, П.А. Вяземским и Ф.Ф. Вигелем, А.И. Тургеневым и С.П. Жихаревым.



Царское Село, Вид на Чесменскую колонну
Б. де ла Траверс. Акварель. 1780-е годы.

Среди сих пустынных лесов, внимавших некогда победоносному Российскому оружию, вам поведаны будут славные дела героев, поражавших враждебные строи. На сих зыбких равнинах вам показаны будут яркие следы ваших родоначальников, которые стремились на защиту царя и Отечества — окруженные примерами добродетели, Вы ли не воспламенитесь к ней любовью? Вы ли не будете приуготовляться служить Отечеству? *Речь А. П. Куницына, произнесенная при открытии Царскосельского Лицея 19 октября 1811 года.*

Без ораторских выступлений не обходились торжественные акты:

Вы помните: когда возник лицей,
Как царь для нас открыл чертог царицын,
И мы пришли. И встретил нас Куницын
Приветствием меж царственных гостей*.

(III, 432)

* Речь А.П. Куницына, произнесенная им при открытии Лицея и произведшая большое впечатление на слушателей, вместе с речью А.Ф. Малиновского была напечатана в 1811 году отдельной брошюрой — «Речи, произнесенные при открытии императорского Царскосельского Лицея» (69). Ее анализ дан в монографии Б. В. Томашевского «Пушкин» (292, с. 685–687).

На званых обедах и в дружеских собраниях непременно выступали их участники. Вспомним знаменитый литературный обед у А.Ф. Смирдина 19 февраля 1832 года, на который были созваны В.А. Жуковский, И.А. Крылов, Н.И. Греч и многие другие литераторы, — они произносили речи, тосты. Присутствовал на этом обеде и Пушкин — он «был необыкновенно оживлен и щедро сыпал остротами» (286, 493).

Таким образом, можно сказать, что в пушкинскую эпоху владеть искусством красноречия нужно было и императору, и полководцу, и политическому деятелю, и преподавателю, и

церковному проповеднику, и литератору, и, наконец, просто — светскому образованному человеку.

Науку об ораторском искусстве преподавали во многих учебных заведениях. Книги по риторике издавали для девиц, для слушателей духовных семинарий, «в пользу любящего российский слог юношества».

Пушкин еще в Лицее познакомился с образцами античного красноречия; ему была известна европейская ораторская проза XVIII–XIX веков; он читал произведения древнерусской литературы, русских авторов XVIII–XIX веков, в которых сказалась ораторская традиция. В библиотеке Пушкина были теоретические сочинения по риторике М.В. Ломоносова, В.К. Тредиаковского, П.Е. Георгиевского, Н.И. Греча, В.А. Якимова. По свидетельству французского литератора, историка и дипломата Леве-Веймарта, гостившего в Петербурге в июне-июле 1836 года, Пушкин в беседе с ним «с жаром отзывался об удовольствии посещать <...> великих ораторов» (253, 78). Известно, что Пушкин был знаком со многими ораторами: декабристами Н. И. Тургеневым и М.Ф. Орловым, членами «Арзамаса», которые были творцами пародийной ораторской культуры, митрополитом Филаретом, чей ораторский дар был высоко Пушкиным оценен. Пушкин слушал академические и торжественные речи, церковные проповеди и надгробные слова, выступления литераторов. Ораторское искусство было

неотъемлемой частью не только литературной, но и бытовой среды Пушкина и так или иначе должно было оказать свое воздействие на его творчество. В чем выражалось это воздействие? Ответ на этот вопрос мы и попытались дать в нашей книге.

ГЛАВА ПЕРВАЯ
ЛИРИКА ПУШКИНА
И ОРАТОРСКАЯ ПРОЗА ЕГО ВРЕМЕНИ

I. ЛИРИКА ПУШКИНА
И ОРАТОРСКАЯ ПРОЗА 1812 ГОДА

«Жизнь наша лицейская сливается с политической эпохою народной жизни русской: приготавлилась гроза 1812 года. Эти события сильно отразились на нашем детстве. Началось с того, что мы провожали все гвардейские полки, потому что они проходили мимо самого Лицея; мы всегда были тут, при их появлении, выходили даже во время классов, напутствовали воинов сердечной молитвой, обнимались с родными и знакомыми — усатые гренадеры из рядов благословляли нас крестом. Не одна слеза тут пролита, — писал И.И. Пущин. — Когда начались военные действия, всякое воскресенье кто-нибудь из родных привозил реликвии; Кошанский читал их нам громогласно в зале. Газетная комната никогда не была пуста в часы, свободные от классов: читались наперерыв русские и иностранные журналы при неумолкаемых толках и прениях; всему живо сочувствовалось у нас: опасения сменялись восторгами при малейшем проблеске к лучшему. Профессора приходили к нам и научали нас следить за

ходом дел и событий, объясняя иное, нам недоступное» (242, 52–53).

С какими произведениями ораторских жанров мог познакомиться Пушкин-лицеист, читая газеты и журналы 1812–1814 годов? Это были манифесты, воззвания, приказы, рескрипты, речи, проповеди, пастырские наставления — причем им отводилось в газетах и журналах значительное место.

В русской периодике военного времени печатались и бюллетени вражеской армии, речи Наполеона — они сопровождались полемическими замечаниями, иронически комментировались и оценивались. Так, например, в статье «Мысли и правила Бонапарте», помещенной в восьмом номере «Сына Отечества» за 1812 год, говорилось: «В его речах приметны более высокомерие и чванство, нежели ум, красноречие солдатское, которому для того только удивляются, что оно необыкновенно на престоле» (56, 80). Назовем также статьи, которые были опубликованы в этом же журнале в 1813 и 1814 годах: «О речах, говоренных в Париже Наполеоном» (59), «Язвительные насмешки ораторов французских» (89), «Размышления о речи Г. Фонтана и об ответе Наполеона сенату» (65), «Последний бюллетень Бонапарта» (63). Можно сказать, что баталии разворачивались и на поле ораторского искусства.

В журналах печатались приказы и изречения Суворова, речи русских князей, воодушевлявших ратников перед

сражениями, — они должны были увлечь воинов на борьбу с французскими захватчиками. Приведя отрывок из летописи с обращенной к дружине речью князя Святослава (для печати в «Сыне Отечества» отрывок этот был предоставлен А.Н. Олениным), публикатор писал: «Кто может усумниться, чтоб и ныне храбрые потомки Святославова воинства не воскликнули как и предки их: умрем или победим! и с словом сим мужественно б не сложили глав своих во славу Отечества и в любовь к Царю своему!» (60, 57).

К ораторским жанрам можно отнести и донесения из армии, которые зачитывались перед собравшимися, и ростопчинские афиши (их печатали «Московские ведомости»), также рассчитанные на чтение вслух.

Таким образом, знакомая Пушкину с лицейских лет картина русского красноречия 1812 года представляется достаточно полной, даже если основываться только на газетном и журнальном материалах этого времени, а ведь почти все из названных выше ораторских текстов выходили еще и отдельными листами, и эти листы также могли быть известны Пушкину.

Жанровое многообразие ораторских текстов предопределяло и стилевое многообразие: здесь и возвышенная патетика манифестов, и церковнославянские речения проповедей, и простонародный слог ростопчинских афиш, и мужественная краткость приказов. Тем не менее всем ораторским текстам 1812

года присущи общие черты. Ораторская проза Отечественной войны может быть рассмотрена в целом как некий единый текст. Единым текстом делает ораторскую прозу 1812 года общая цель, которую преследовали ее создатели — пробудить чувства патриотизма и ненависти к врагу, объединить все силы нации и поднять их на борьбу с неприятелем. Именно эта цель определяет образную систему, типологические особенности поэтики всех ораторских жанров.

Образная система группируется вокруг двух полюсов: с одной стороны — Россия, с другой — напавший на нее враг, с одной стороны — все, что надлежит защищать, с другой — все, что следует уничтожить.

Образы русского народа и русского войска, матери русских городов Москвы чрезвычайно значимы. С ними связаны такие ценностные категории, как память о предках, вера, честь, слава, свобода, победа. Разумеется, здесь нужно сделать поправку на официальную идеологию, и тем не менее официальная идеология все же учитывала действительные ценности, иногда даже противоречащие ей, использовала их в своей пропаганде. В данном случае хотелось бы особо отметить свободолюбивую терминологию ораторских текстов 1812 года для того, чтобы не преувеличивать, но и не преуменьшать ее значения, верно учесть ее роль в формировании вольнолюбивых идей Пушкина, в возникновении тираноборческих мотивов его поэзии. Нельзя не

согласиться с Ю.М. Лотманом, который, отмечая, что подчеркивание тирании Наполеона и освободительного смысла войны входило в курс правительственной пропаганды, пишет:

«Однако война имела действительно освободительный характер, и поэтому то, что было тактической уловкой в словах официального манифеста, наполнялось для передовой части общества глубоким и прогрессивным содержанием и бесспорно играло для читателя определенную политико-воспитательную роль» (200, 228).

Ценностные категории четко распределяются по двум противопоставленным рядам: святая вера, честь и слава россиян и безверие, бесчестие и бесславие галлов; борющиеся за свободу России и Европы русские и поработители-французы, освободитель Александр I и тиран Наполеон, и в конечном счете — победа России и поражение Франции. Компоненты, составляющие эти ряды, в свою очередь строятся на противопоставлении и сопоставлении, в основе которых лежит контраст. Поэтика ораторской прозы 1812 года — поэтика контраста, несущего смысловую нагрузку, — но об этом мы подробнее будем говорить позднее.

Теперь же обратимся к Пушкину.

Ораторская проза 1812 года сказалась в творчестве Пушкина, и прежде всего — в тех его произведениях, где он писал

об Отечественной войне, ее событиях и героях. А начал он писать об этом уже в Лицее.

1. «ВОСТРЕПЕЩИ, ТИРАН! УЖ БЛИЗОК ЧАС ПАДЕНЬЯ!»

«Императорский Царскосельский лицей имеет честь известить, что 4-го и 8-го чисел будущего Генваря месяца, от 10-ти часов утра до 3-х по-полудни, имеет быть в оном публичное испытание Воспитанников первого приема, по случаю перевода их из младшего в старший возраст».

Такое объявление, напечатанное на отдельном листке, было приложено двадцать второго декабря 1814 года к газете «Санкт-Петербургские ведомости».

8 января во второй день испытаний, когда лицеисты экзаменовались по математике, физике, латинскому и русскому языкам, Пушкин читал свое стихотворение «Воспоминания в Царском Селе». Юный поэт выступал в роли оратора. В лицейском актовом зале его слушали профессора и преподаватели, министр народного просвещения граф А.К. Разумовский — они сидели за длинным столом, покрытым красным сукном. Его слушали гости, сидящие в креслах. Его слушал патриарх русской поэзии Г.Р. Державин.

«Я прочел мои *“Воспоминания в Царском Селе”*, стоя в двух шагах от Державина, — писал Пушкин в 1835 году. — Я не в силах описать состояния души моей: когда дошел я до стиха, где упоминаю имя Державина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилося с упоительным восторгом...

Не помню, как я кончил свое чтение, не помню, куда убежал. Державин был в восхищении; он меня требовал, хотел меня обнять... Меня искали, но не нашли...» (XII, 158).

Стихотворение «Воспоминания в Царском Селе», с которым связан первый литературный триумф Пушкина, посвящено 1812 году. Это — его ораторская речь о недавних, всем памятных событиях нашествия наполеоновских войск на Россию, о героической борьбе русского народа с завоевателями, о славной победе русского оружия. И в этой речи звучат интонации многих ораторских произведений 1812 года, дают о себе знать их мотивы и образы. Для того чтобы убедиться в этом, прочтем «Воспоминания в Царском Селе», привлекая для сопоставления с пушкинским текстом манифесты, воззвания, приказы, проповеди, речи 1812 года.

В «Воспоминаниях в Царском Селе» обращение к теме войны России с наполеоновской Францией предваряется рассказом о победах русской армии в XVIII веке, в контексте стихотворения возникает характерное для ораторской прозы военного времени сопоставление предков и потомков: воинская слава предков

призвана воодушевить на новые ратные подвиги потомков. В ораторских текстах 1812 года названы имена Минина, Пожарского, Палицына, упоминается Петр I и Полтавская битва, не раз встречается имя Суворова. Пушкин вспоминает о подвигах Суворова, Орлова, Румянцева. Затем следует описание начала наполеоновских войн:

И вскоре новый век узрел
И брани новые, и ужасы военны;
Страдать — есть смертного удел.
(I, 80)

Последняя сентенция — в духе проповедей 1812 года, в которых говорилось, что война и ее страдания посланы Богом.

В духе проповедей, манифестов, воззваний представлен далее Наполеон:

Блеснул кровавый меч в неукротимой длани
Коварством, дерзостью венчанного царя;
Восстал вселенной бич — и вскоре лютой брани
Зарделась грозная заря.
(I, 80)

«Гордый и ненасытимый завоеватель кровавый меч внес уже во внутренность Отечества нашего», — так было сказано в

«Слове при совершении годичного поминовения по воинам, за Веру и Отечество на брани Бородинской живот свой положивших, Говоренном Преосвященным Августиним, Епископом Дмитровским, викарием Московским и Орденов Св. Александра Невского и Св. Анны I класса Кавалером, 1813 года, августа 16 дня, в Московском Сретенском монастыре» (5, 3–4).

Создатели ораторских произведений говорили о Наполеоне как о собрании всех пороков: это «властолюбивый, ненасытный, не хранящий клятв, неуважающий алтарей враг», «бесчеловечнейший из врагов», «дерзкий и лютый», «гордый и злобный», «бич рода человеческого». Портрет врага, написанный плакатно одной лишь черной краской, вызывал негодование и ненависть, желание сразиться с неприятелем и победить его. Наполеону контрастно противопоставляется Александр I — он наделялся всевозможными добродетелями, в том числе кротостью, человеколюбием, миролюбием (образ его намеренно идеализировался). И у Пушкина Наполеон — тиран, неистовый, гордый и кровожадный; Александр же — герой, который «с улыбкой примиренья грядет с оливою златой», «несет врагу не гибель, но спасенье и благотворный мир земле».

Сравним пушкинский текст с текстом «Слова перед начатием благодарственного Господу Богу молебствия по случаю покорения французской столицы победоносными Российскими и союзными войсками, произнесенного Преосвященным

Августином, Епископом Дмитровским, Викарием Московским и разных орденов Кавалером, в Московском большом Успенском соборе апреля 23 дня 1814 года»:

«Наполеон есть тот человек, который в гордыне своей мечтал быть равен Вышнему — который опустошал, разрушал все и проливал реки крови. Александр, подобно Ноевой голубице, несет к народам масличную ветвь в знамение общего мира — в знак того, что кровавый потоп должен прекратиться на лице земли, что исчезнут тучи браней и всюду возсияет тишина и спокойствие. Вечные проклятия обременят главу жестокого разорителя Европы; но благотворный спаситель оныя прославится навеки» (9, 187).

Картина нашествия Наполеона на Россию, разрушений, которые оно несло, также дана в ключе ораторских текстов, как и следующие за ней призывы:

Страшись, о рать иноплеменных!
России двинулись сыны;
Восстал и стар и млад; летят на дерзновенных.
Сердца их мщеньем возжены.
Вострепещи, тиран! уж близок час паденья!
Ты в каждом ратнике узришь Богатыря,
Их цель иль победить, иль пасть в пылу сраженья
За веру, за царя.

(I, 80–81)

«Поклянемся у алтарей Всевышнего, у гробов отцов наших, каждый перед самым собою, что Бог, Отечество и честь будут сердечными нашими хоругвиями, что мы не посраим имени Россов и что или ляжем на полях наших или со славою защитим их», — говорил Новгородский гражданский губернатор, обращаясь с речью к дворянству 12 августа 1812 года (68, 1726).

«...каждый поселянин — являлся героем, каждый гражданин — представлялся воином; победы или смерти, свободы или гибели — вот чего желали сии гордые души!» — было сказано в «Воззвании к Пруссакам» в 1813 году (27, 69).

«Когда победоносный граф Витгенштейн, чтобы скорее и вернее разбить французов, велел несколько отступить войску, седьмая дружина С. Петербургского ополчения вся громогласно закричала: «Нет! не пойдем назад! Мы клялись Государю нашему в Питере перед Богом, все идти вперед, умереть за него, за Веру и за родину свою — или победить!» (72, 296).

Подобно искусным ораторам, Пушкин быстро сменяет одну картину другой. Русские ратники спешат навстречу врагу:

И се — пылает брань; на холмах гром гремит,
В сгущенном воздухе с мечами стрелы свищут,
И брызжет кровь на щит.
Сразились. — Русской — победитель!

(I, 81)

Такая стремительность свойственна и описаниям сражений в ораторской прозе 1812 года:

«Засверкали мечи, загрели громы, всколебался воздух, потряслись сердца гор; — и крепкая Моавля прият трепет» (5, 4).

У Пушкина, как и у создателей ораторской прозы 1812 года, значительное место занимает описание сожженной Москвы; московский пожар осмысляется как центральное событие войны с Наполеоном, как жертва, искупившая победу России. Это описание предваряется такими стихами:

Края Москвы, края родные,
Где на заре цветущих лет
Часы беспечности я тратил золотые,
Не зная горестей и бед,
И вы их видели, врагов моей отчизны!
И вас багрила кровь и пламень пожирал!
И в жертву не принес я мщенья вам и жизни,
Вотще лишь гневом дух пылал!..

(I, 81)

Конечно, эти стихи могут быть соотнесены со стихами В.А. Жуковского из его чрезвычайно популярного в 1812 году стихотворения «Певец во стане русских воинов» — еще до публикации в 1812 году в «Вестнике Европы» оно в списках ходило по рукам в русской армии, заучивалось наизусть:

Отчизне кубок сей, друзья!
Страна, где мы впервые
Вкусили сладость бытия;
Поля, холмы родные,
Родного неба милый свет,
Знакомые потоки,
Златые игры первых лет
И первые уроки!
Что вашу прелесть заменит?
О родина святая!
Какое сердце не дрожит,
Тебя благословляя?
(176, 41)

Однако представляется, что в стихах Пушкина сказалась не только литературная традиция — в них передано его глубокое личное чувство.

Затем в «Воспоминаниях в Царском Селе», как и в ораторских текстах, картина строится на выразительном контрасте — первопрестольная столица России до и после разрушения:

Где ты, краса Москвы стоглавой,
Родимой прелесть стороны?
Где прежде взору град являлся величавый,

Развалины теперь одни;
Москва, сколь Русскому твой зрак унылый
страшен!
Исчезли здания вельможей и царей,
Все пламень истребил. Венцы затмились башен,
Чертоги пали богачей.

И там, где роскошь обитала
В сенистых рощах и садах,
Где мирт благоухал, и липа трепетала,
Там ныне угли, пепел, прах.
В часы безмолвные прекрасной, летней ночи
Веселье шумное туда не полетит,
Не блещут уж в огнях берега и светлы рощи:
Все мертво, все молчит.

(I, 81–82)

Д.Д. Благой к приведенным выше стихам указал параллель
из послания «К Дашкову» К.Н. Батюшкова (115, 104):

И там, где роскоши рукою,
Дней мира и трудов плоды,
Под златоглавою Москвою
Воздвиглись храмы и сады, —
Лишь угли, прах и камней горы...

(106, 238)

Думается, однако, что оба поэтических текста — и Пушкина, и К.Н. Батюшкова — могут быть сопоставлены с ораторским текстом — со «Словом в Высочайший Тезоименитый День Высочайшего Тезоименитства Его Императорского Величества Государя Императора и Самодержца Всероссийского Александра I и по освящении Московского большого Успенского собора, говоренном Преосвященным Августином, Епископом Дмитровским, Викарием Московским, и Орденов Св. Александра Невского и Св. Анны I класса Кавалером, в означенном Успенском соборе 1813 года, августа 30 дня»:

«Что я вижу? — Первопрестольная, древняя Столица Российской державы в пламени! Огромные и величественные здания, жилища исполинов колеблются, разрушаются, превращаются в пепел. Стогны, вместо ликов празднующих, наполнены стенаниями и воплями. Несчастные обитатели, одетые прежде серебром и золотом, облечены в ретище и ужем препоясаны» (6, 11).

Картина бедствий Москвы сменяется изображением бегства неприятеля:

Утешься, мать градов России,
Воззри на гибель пришлеца.
Отяготела днесь на их надменные выи
Десница мстящая Творца.

Взгляни: они бегут, озреться не дерзают.
Их кровь не престаёт в снегах реками течь;
Бегут — и в тьме ночной их глад и смерть сретают,
А с тыла гонит Россов меч.

(I, 82)

«Сколь ни болезненно Русскому сердцу видеть древнюю столицу нашу, большею частию превращенную в пепел, сколь ни тяжело взирать на опаленные и поруганные храмы Божий; но не возгордится враг наш сими своими злодействами: пожар Москвы потушен кровию его. Под пеплом ее лежат потреблены твердость его и сила. Из оскорбленных нечестивою рукою его храмов Божиих изникла грозная и праведная месть. Уже руки, наносившие зло России, связаны; уже обращенный в бегство неприятель, предав на посечение тыл свой, льет кровавые токи по следам своим. Глад и смерть текут за ним», — говорилось в рескрипте Александра I графу Ф.В. Ростопчину от 11 ноября 1812 года (67, 1756).

Заметим, что причину победы русского оружия юный поэт видит в «деснице мстящей творца». Эта идея пронизывает и все ораторские тексты 1812 года, где поражение Наполеона рассматривается как возмездие Бога:

«Десница Всевышнего, побирающая правым и наказующая виновных, являет ныне гнев свой на врагов наших» (Известия из армии от 30 сентября 1812 года — 39, 1894).

«Они жгли дома наши, ругались святынею, и вы видели, как десница Вышнего праведно отомстила их нечестие» (Приказ М. В. Кутузова от 21 декабря 1812 года — 77, 36).

«Не человек уже, но сам Бог вооружается отмщением за оскорбление Божеского величества своего» (Слово Преосвященного Августина к жителям Москвы, «пострадавшим от жестокого и хищного врага человечества» в 1812 году — 4, 1831).

«Повергнемся пред святым Его Престолом и, видя ясно руку Его, покаравшую гордость и злочество, научимся из сего великого и страшного примера быть кроткими и смиренными законов и воли Его исполнителями...» (Манифест от 25 декабря 1812 года — 53, 118).

Когда русские войска начали одерживать победы, бегущий враг стал по контрасту сопоставляться с врагом во время его недавних успехов, с врагом, еще недавно мечтающим о торжестве над Россией, — это позволяло ярче подчеркнуть значение одержанных побед. В Манифесте от 3 ноября 1812 года говорится, что враг «бежит от Москвы с таким унижением и страхом, с каким тщеславием и гордостью приближался к ней» (52). В известиях из армии картину бегства французов дополняет такая подробность: «Те дороги, по которым мечтали они возвратиться с добычею и торжеством, усеяны мертвыми их трупами» (39, 1878). В речи Р.Ф. Тимковского «Торжество Московских муз, праздновавших громкие победы и достославное покорение гордой столицы

Франции, апреля 25-го, 1814 года» контраст поражений и побед русской армии, врага побеждающего и врага побежденного лежит в основе следующего риторического построения: «Давно ли вы, Герои Севера, видели на своих полях всеобщего притеснителя? — и се вы уже в недрах собственной его земли. Давно ли, опустошивши города и села ваши, разграбивши имущества, предавши поруганию храмы, сжег он вашу столицу, и в печальных развалинах оной гнезвился как хищный вран, или как дикий зверь? — и се вы уже весело шествуете по стогнам собственной его столицы, и шествуете яко защитители Отечества, искупители повсеместного счастья, благотворители самой Франции» (75, 12–13)*.

* Публикация речи Р.Ф. Тимковского в «Сыне Отечества» в 1814 году сопровождалась примечанием: «Издатели получили сию статью из Москвы со следующим письмом: «Посылаю вам речь, сочиненную и произнесенную в торжественном собрании Императорского Московского Университета Профессором Греческой и Латинской словесности Романом Федоровичем Тимковским и достойную того, чтоб вся Русская публика о ней узнала. Ныне наступил редкой в летописях вселенной случай, что и Риторы и стихотворцы, представляя истину, представляют в то же время и изящнейший идеал воображения, и не имеют нужды ни в каких прикрасах, чтоб сделать предмет свой прелестным и великим. Сия убедительная простота составляет главное свойство и достоинство сей речи: ясное и неукрашенное представление истины сообщает прелесть, которой не могут придать никакие словоизлияния» (75, 3-4).

В стихотворении Пушкина недавно еще «дымилась кровию земля» — кровью павших от руки захватчиков, но вот уже гибнут сами французы, и «их кровь не престаёт в снегах реками течь». Недавно еще было показано, как тени погибших русских воинов «в могилу мрачную нисходят непрестанно», но вот уже поэт восклицает:

О вы, которых трепетали
Европы сильны племена,
О Галлы хищные! и вы в могилы пали. —
О страх! о грозны времена!

(1, 82)

Сравним: «Самый враг, который заставлял все трепетать пред собою, вострепетал; и неустрашимый устранился, и непобедимый отчаялся в победе» (5, 4).

Обращения, восклицания, риторические вопросы, пронизывающие стихотворение Пушкина, характерны для ораторской прозы:

«Первопрестольная Столица России! отри слезы, отряси прах и пепел, покрывающие тебя, — утешься!» — восклицал Преосвященный Августин в «Слове по случаю знаменитой и вечнославной победы, одержанной при Лейпциге Российскими и союзными войсками над французской армиею, перед начатием благодарственного Господу Богу молебствия, произнесенном <...>

в Московском большом Успенском соборе 1813 года ноября 29 дня» (8, 6).

Утешься, мать градов России,
Возри на гибель пришеца.

(I, 82)

«Где тот непобедимый исполин, который одною рукою потрясал концы земли, а другою воздвигал брань против самого неба? — вопрошал Преосвященный Августин в том же «Слове». — Гоним и поражаем, во страхе и трепете бежит он лесами и горами, подобно робкой серне. — Где тот ненасытимый завоеватель, который, опустошив селения, разрушив грады, покорив царства, пленив царей, внес кровавый меч в пределы и нашего благословенного Отечества, вонзил оный в самое сердце его? Он падает под ударами мстящих Россиян; он цепенеет пред раздраженными взорами их; он мертвеет от громов победоносного оружия нашего» (8, 3).

Такое же риторическое построение — в Манифесте от 25 декабря 1812 года:

«Но едва проходит шесть месяцев от вступления его в наши пределы, и где он...? Где войска его, подобные туче нагнанных ветрами черных облаков? Рассеялись как дождь» (53, 116–117).

И так же вопрошает и отвечает Пушкин в своих стихах:

Где ты, любимый сын и счастья и Беллоны,
Презревший правды глас и веру, и закон,
В гордыне возмечтав мечом низвергнуть троны?
Исчез, как утром страшный сон!

(I, 82)

Лексический строй пушкинского стихотворения, его стилистика также сближаются с ораторскими текстами. «Рать иноплеменных», «кровавый меч», «вселенной бич», «надменный галл» и «сыны России», «воитель поседель», «мать градов России», «десница мстящая Творца» — эти словесные ряды имеют аналоги в ораторских текстах 1812 года.

Подведем некоторые итоги.

Итак, «Воспоминания в Царском Селе» обнаруживают зависимость от ораторской прозы 1812 года, и дело здесь не столько в отдельных текстовых соответствиях и параллелях, сколько в общности идейной концепции, образной системы, поэтики. Возможно, ориентация на ораторское искусство была у Пушкина сознательной: ведь стихотворение писалось для публичного выступления на экзамене, изначально было рассчитано на устную речь. Использованные в «Воспоминаниях в Царском Селе» ораторские приемы, знакомые слушателям мотивы и образы ораторских текстов 1812 года позволили Пушкину и создать яркую динамичную картину недавних исторических событий Отечественной войны, и вызвать у аудитории чувства

сопереживания, высокого патриотического подъема. Об этом свидетельствует присутствовавший на экзамене И.И. Пущин: «В этих великолепных стихах затронуто все живое для русского сердца. Читал Пушкин с необыкновенным оживлением. Слушая знакомые стихи, мороз по коже пробегает у меня» (242, 60).

Лицейская лирика на тему 1812 года — это не только «Воспоминания в Царском Селе». Это еще такие стихотворения, как «Наполеон на Эльбе» (1815), «Александр» (1815), «Принцу Оранскому» (1816). Рассматривая их, Б.С. Мейлах отмечает влияние официозной патетики манифестов на обрисовку Александра I (210, 212). Однако воздействие ораторской прозы 1812 года на Пушкина-лицеиста, как мы видели, выразилось не только в этом. Здесь нужен более широкий сопоставительный материал: не только манифесты, но и другие произведения ораторских жанров; не только образ Александра I, но идейно-образная, поэтическая система в целом.

В стихотворении «Наполеон на Эльбе» Пушкин, откликаясь на первые дни периода «ста дней» Наполеона, дает экскурс в исторические события наполеоновских войн 1806–1807 годов, войны 1812 года. Рассказывая об этих событиях, он вновь обращается к ораторской прозе Отечественной войны. Наполеон представлен как «хищник», «губитель», «бич» Европы. Картины сражений даны в традиционных для красноречия 1812 года образах: «кровавые токи», «туча грозная» над Москвой, «мести

гром», «стук блистающих мечей», «падших ярое стенанье». Пушкин пишет о завоеваниях «полнощи царя молодого» Александра I, который «двигнул ополченья», принес «и мир земле, и радость небесам»:

Умолк сражений клик знакомый,
Вражды кровавой гаснут громы,
И факел мщенья потух.

(I, 118)

Сравним эти пушкинские стихи со словами из «Речи, говоренной в Рижском Петропавловском Соборе Протоиереем Николаем Загорским при праздновании заключения мира с Францией июня 12 1814 г.».

«Дражайший Гений, радостный вестник замолкших громов брани, парит к нам с масличной ветвию. Всеистребляющий факел гибельной войны потушен. Благодетельные небеса сниспосылают к нам кроткое чадое свое, сладчайший мир, мир толико нами желанный» (38, 21).

Отметим, что центральную часть стихотворения «Наполеон на Эльбе» занимает монолог Наполеона. Именно его заставляет Пушкин «свирепо прошептать» и о войнах 1806—1807 годов, и о войне 1812 года, и о новых завоевательных планах:

Там ждут меня бесстрашные дружины.

Уже сошлись, уже сомкнуты в строй!
Уж мир лежит в оковах предо мной!
Прейду я к вам сквозь черные пучины
И гряну вновь погибельной грозой!

<...>

Страшись, о Галлия! Европа! мщенье, мщенье!
Рыдай — твой бич восстал — и все падет во прах,
Все сгибнет, и тогда, в всеобщем разрушенье,
Царем воссяду на гробах!

(I, 116–118)

Небезынтересно, что в ораторской прозе 1812 года также нередко встречается подобный прием. Ораторы вкладывали в уста Наполеона его злобные намерения завоевать вселенную: «Упоенный адскою злобою и гордостью <...> он рек в уме своем: взыду выше облак, буду подобен Вышнему!» (6, 10).

«Гордый яко денница, исполненный ненасытимо-го властолюбия, ослепленный щастливыми успехами во всех предприятиях, он возомнил быть подобен Вышнему, или паче дерзнул восхитить себе власть его над подлунным миром. Он рек в уме своем: Его небо, а моя земля; моя только рука будет господствовать над нею; я один буду давать законы всем странам и народам» (10, 215–216).

Монолог Наполеона в стихотворении Пушкина риторически организован. Он наполнен вопросами и восклицаниями,

обращениями Наполеона к Александру!, к Франции, Европе. В нем есть и такие выразительные риторические приемы, как прием повтора («Вокруг меня все мертвым сном почило...» «Но вокруг меня все мертвым сном почило...»), прием единоначатия («Давно ль невидимой стезею...» «Давно ли с трепетом народы...»). Монолог обрамлен условным пейзажем, мрачность которого созвучна мыслям Наполеона. Завершается же стихотворение риторическим обращением к Наполеону поэта-оратора, предрекающего гибель завоевателю:

Но зришь ли? Гаснет день, мгновенно тьма
сокрыла

Лицо пылающей зари,
Простерлась тишина над бездною седою,
Мрачится неба свод, гроза во мгле висит,
Все смолкло...трепещи! погибель над тобою,
И жребий твой еще сокрыт!

(I, 118)

К стихотворениям «Александру» и «Принцу Оранскому» так же, как к «Воспоминаниям в Царском Селе» и «Наполеону на Эльбе», могут быть приведены параллели из ораторских текстов 1812 года.

Утихла брань племен; в пределах отдаленных
Не слышен битвы шум и голос труб военных;

С небесной высоты, при звуке стройных лир,
На землю мрачную нисходит светлый Мир.
Свершилось!.. Русской царь, достиг ты славной цели!
(I, 145)

— так начинается стихотворение «Александр» Пушкин.

«Итак, умолкли бранные громы, погасли убийственные молнии, остановились потоки крови! Мир, вожденный мир озарил наконец Европу и разлил повсюду радость и веселие, а миротворную Россию, любезное наше Отечество, явил в величайшем, немерцаемом блеске славы» — так начиналось «Слово на всерадостнейшее торжество о заключении всеобщего в Европе мира, празднованное в Калуге июня 27 1814 года», произнесенное учителем А. Тихомировым (76, 137).

Пушкин в духе ораторской прозы 1812 года пишет о свержении «злодея», «ужаса мира» Наполеона, о победе храброго «Царя-спасителя», его «благословенной порфире». При этом стихотворения «Александр» и «Принцу Оранскому», в отличие от «Воспоминаний в Царском Селе», «Наполеона на Эльбе», связаны преимущественно с жанрами панегирика, похвального слова, торжественной приветственной речи: «Хвала, наш храбрый царь, хвала, благодаренье», — обращается поэт к Александру! «Хвала, о юноша герой!» — прославляет он ратный подвиг принца Оранского. Такая жанровая ориентация в особенности проявляется в стихотворении «Александр». Оно построено в соответствии с

«расположением» ораторской речи: «вступление», «распространение» темы и «заключение», в котором представлена традиционная для похвальных слов картина всенародной любви и благодарности к герою:

Все лица радостью, любовью блестят,
Внемли — повсюду весть отрадная несется,
Повсюду гордый клик веселья раздается;
По стогам шум, везде сияет торжество.
И ты среди толпы, России божество!

(I, 147)

Сравним: «Восхваляя тебя, мы хвалим самого Бога» (9, 186).

По-видимому, Пушкин изначально осознавал необходимость риторической организации стихотворений «Александр» и «Принцу Оранскому»: как известно, они создавались по заказу и предназначались для исполнения во время официальных торжеств. Стихотворение «Александр», написанное по поручению директора департамента Министерства народного просвещения И.И. Мартынова, должно было быть исполнено во время торжественной встречи царя при его возвращении из Парижа (эту церемонию по распоряжению Александра I отменили). Стихотворение «Принцу Оранскому» было сочинено по просьбе Ю. А. Нелединского-Мелецкого, которому они были

заказаны, — не будучи уверенным в том, что он сможет выполнить это поручение, старый поэт передал его молодому Пушкину. Положенное на музыку, стихотворение «Принцу Оранскому» исполнялось 6 июня 1816 года на празднике в Павловске у императрицы Марии Федоровны по случаю отъезда принца Оранского. Об этом так писала «Северная почта» 21 июня 1816 года:

«Группы поселян обоего пола производили пляски, игры и, соединяясь, воспели хор, коим выражалась их любовь к храброму принцу, предмету сего праздника. После сего хора петы были куплеты в честь великих успехов его при знаменитой одержанной победе» (292, 65).

МОСКОВСКІЯ



ВѢДОМОСТИ

№ 57

1812 года

СРЕДА,

Июль 17 дня.

въ МОСКВѢ, Июля 17.

Высочайшій ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Манифестъ:

БОЖІЮ МИАОСТІЮ
МЫ АЛЕКСАНДРЪ ПЕРВЫЙ,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЦЪ
ВСЕРОССІЙСКІЙ,
и прочая, и прочая, и прочая.

Непріятель возмущалъ въ предѣлахъ НАШИХЪ и предвѣдѣвшихъ нести оружіе свое въ нутро Россіи, надѣясь силою и соблазнами попороченнаго сполченія Польской сей Державы. Онъ подвигнулъ въ убои съвоемъ злобное и крѣпко разрушительное оружіе и благодѣтели. Съ дурнаго вѣра въ сердцахъ и дѣлѣхъ въ устахъ несли онъ и чина для насъ цѣли и окомъ. Мы, призвавъ на помощь Бога, пославшаго въ претрду еку войска НАШИХЪ, величїя мужественно поспраше спротивити его, и то, что оманено не имѣло, соизнати съ лица земли НАШЕЙ. Мы показавъ на силу и вѣрность въ предѣлахъ надежду, по неможенъ и во дальшихъ сирѣдѣхъ онъ вѣрнѣхъ НАШИХЪ поданникѣхъ, что собраннѣхъ имъ разнородными силамъ велики, и что оманенность его требуетъ неумолимаго прощенья не бодрѣваніе. Сего ради, призвавъ широй надеждѣ на храброе НАШЕ войско, показавъ МЫ на необходимѣе ное собрать въ нутро Государства нумма силѣхъ, испортивъ, занеа новѣй оградѣ въ подвѣдѣхъ нѣрѣхъ и въ лапши доможъ, какъ и дѣломъ каждого и вѣхъ.

Мы уже повалили въ первопрестольную Граду НАШЕМУ, Москвѣ, а нѣмѣхъ

важнѣе всѣхъ НАШИХЪ вѣроподданнѣхъ, во всѣхъ Сословїяхъ и состоянїяхъ духовныхъ и мірскихъ, приглашая ихъ вмѣстѣ съ НАМИ единодушными и общими вооплащенїемъ содѣйствовать противу всѣхъ враговъхъ земныхъ и ложныхъ. Да надѣсь онъ на вѣдѣхъ шату вѣрнѣхъ силѣхъ Россіи, поразившихъ его всѣми средоточїи и силами, но нѣмѣхъ нумма въ его дѣлѣхъ и обманѣхъ. Да испрѣдѣхъ онъ въ вѣдѣхъ Дворенихъ Покровскихъ, въ вѣдѣхъ гражданскихъ Министрѣхъ. Благодарное Дворенское Сословіе! имъ во всѣхъ времена было спастись отъ Опохотѣхъ; Святейшій Синодъ и Духовенство! въ вѣдѣхъ шепчѣхъ молимихъ привѣщали благодѣхъ на главу Россіи; народъ Русскій! храброе поощренїе храбрѣхъ Слѣдѣхъ! имъ неодноразно сокрушѣхъ злымъ успремѣхъхъ на шибѣхъ дѣломъ и широтѣхъ; соединитесь и въ вѣрности въ сердцахъ и съ оружіемъ въ рукахъ низвергъ силы челоушескія тѣхъ не орашѣхъ.

Для первоначальнаго соотпаченїа предначизаченнѣхъ силъ предослававшихъ во всѣхъ Губернїяхъ Двореннѣхъ своднѣхъ поспалаченнѣхъ или для лапшнхъ Опохотѣхъ людей, избирая изъ среды самихъ себя Наслаивѣхъ надѣхъ оныхъ и дѣхъ о чѣхъхъ ихъ дѣхъ въ Москвѣ, гдѣ избравъ буднѣхъ Главнѣхъ изъ всѣхъ Продоумѣхъ.

Въ лапшѣхъ близъ Полоцка, 1812 года
Июля 6 го дня.

На поданнѣхъ собственномъ ЕГО
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
рукою подписано: ИМЯ:

АЛЕКСАНДРЪ

«Московские ведомости». 1 июля 1812, № 1
Манифест о вступлении непріятеля в пределы России

Свѣтлѣйшій Князь, чтобъ скорей соединиться съ войсками, которыя идутъ къ нему, перешелъ Можайскъ и спалъ на крѣпкомъ мѣстѣ, гдѣ непріятель не вдругъ на него пойдетъ; къ нему идутъ отсюда 48 пушекъ съ снарядами; а Свѣтлѣйшій говоритъ: что Москву до послѣдней капли крови защищать будетъ, и готовъ хоть въ улицахъ драться, въ брашды! не смотрите на то, что Присудственные мѣста закрыли дѣла; прибрать надобно, а мы своимъ судомъ съ злодѣемъ разберемъ! Когда до чего дойдетъ, мнѣ надобно молодцовъ и городскихъ и деревенскихъ; я кличъ кликну дни за два; а теперь не надо; я и молчу! хорошо съ топоромъ, не душно съ рогаминою, а всего лучше вилы пиройчапки; Франнимаю Иверскую въ Екатерининскую Гофшпиталь къ раненымъ; тамъ воду осявтимъ; они скоро выздоровѣютъ, и я теперь здоровъ; у меня болятъ глаза, а теперь смотрю въ оба!

Подписалъ Графъ Растопчинъ

30 Августа, 1812 года.

Ростопчинская афиша. 30 августа 1812



Главная квартира между Гжати и Можайска. Наш авангард под Гжатью; место, нашими войсками занимаемое, есть прекрасное и тут Светлейший князь намерен дать баталию; теперь мы равны с неприятелем числом войск. Через два дни у нас еще прибудет 20 000; но наши войска Руская, единого закона, единого Царя, защищают Церковь Божию, дома, жен, детей и погосты, где лежат отцы наши. Неприятели же дерутся за хлеб, умирают

на разбое; есть ли они раз проиграют баталию, то все разбредутся, и поминай, как звали. *Сообщение от 18 августа 1812 года.*



Бородинское сражение
Гравюра С. Карделли с рис. Д. Скотти. 1814

Россияне! есть ли где ваша доблесть и ваше искусство в брани удивили собою предков, современников и потомство, то на месте сем. Но чего стоила слава сия? Куплена она ценою крови многих достойных сынов Отечества; приобретены бессмертные лавры побед смертью тех, коих жизнь безценна для нежности родителей, супруг, чад, родства и дружбы. <...> Здесь они потеряли жизнь; но сохранили достояние и жизнь своих отцов и чад, жизнь сродников и друзей, жизнь всего Отечества; здесь они снискали себе и нам Славу. *Речь при отправлении поминаения православных воинов, за Веру и Отечество живот свой положивших 1812 года Августа 26 дня во брани под селом Бородиным, на том самом месте, где была главная батарея Российской армии, говоренная Святейшаго Правительствующего Синода Конторы членом, Ставропигиального Законоспасского училищного монастыря Архимандритом, Московской Славяно-Греко-Латинской Академии Ректором и Кавалером Симеоном, августа 26 дня, 1813 года.*



Пожар Москвы

Возведите очи ваши на ужасное опустошение града сего; оно оправдает истину нашу. — От моря, где угасает солнце, до пределов любезного отечества нашего, все покрыто пеплом и развалинами, везде слышны рыдания и вопли; везде бедность и страдания человечества; кровавые реки наводнили лице земли. Кто причину толиких бедствий? Безбожный славолубец. — Ах! и ты первопрестольная Столица России, и ты испытала

жестокость ненасытного славолюбия его! Слово на высокаторжественный день священной коронации Его Императорского величества, благочестивейшего великого государя императора Александра I, говоренное Преосвященным Августинем, Епископом Дмитровским, Викарием Московским, и Орденов Св. Александра Невского и Св. Анны I класса Кавалером, в большом Успенском Соборе 1813 года, Сентября 13 дня.



Россия не привыкла покорствовать, не потерпит порабощения, не предаёт законов своих, веры, свободы, имущества. Она с последнею в груди каплею крови станет защищать их. Всеобщее повсюду видимое усердие и ревность в охотном и добровольном против врага ополчении свидетельствует ясно, сколь крепко и непоколебимо Отечество наше, ограждаемое бодрым

духом верных его сынов. Итак, да не унывает никто; и в такое ли время унывать можно, когда все состояния государственные дышат мужеством и твердостью; когда неприятель с остатком отчасу более исчезающих войск своих, удаленных от земли своей, находится посреди многочисленного народа, окружен армиями нашими, из которых одна стоит противного, а другие три стараются пресекать ему возвратный путь и недопускать к нему никаких новых сил? *Воззвание по случаю занятия Москвы французами в 1812 году.*



Н. Н. Раевский (старший)
Гравюра С. Карделли. 1810-е годы

П Р И К А З Ъ

ПО АРМІЯМЪ.

Сентября 9го дня 1812 года. № 20.

Главная квартира
Село Брасная Царка

Извещаю Армію что я ВСЕМИЛОСТІВНІШЕЮ десницею повелѣлъ на спосова Генералъ Фельдмаршалъ Русскійскаго Арміа.

Потѣвъ всеподданнѣйшей моей привѣтливости благодарности мое отнесены въ таковыякъ сего къ соудажанкамъ нѣ въ знаменитый день 26го августа.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО въ ознаменованіи отпачнаго своего благоволенія къ побѣдѣ, одержанной надъ неприятелемъ 26го Августа, Всемилостивѣйше пожалуетъ всѣмъ нижнимъ чинамъ бывшимъ въ сраженіи того дня по пяти рублей на человека.

Г. Г. Главнокомандующіе выпробовавъ таковыя списки, благоволятъ приказати отослать ихъ въ Генералъ Интендантъ Кавырку для удобовопренія.

Послужаю наслопнѣхъ дождей и худымъ дорогамъ, предписывается: въ случаѣ еслибы бы обильно идущаго снега провинскіе транспорты какое либо время въ путь замедлалъ, тогда важнѣйша часть хлѣбной дачи имѣетъ порцію на поновленіе прѣже сего саваннаго в сѣдѣ положенія. Между тѣмъ показанъ приказати продовольствоваться нѣ фургъ, наколащивающа въ селѣ Черниши.

Кавыркументаурской части полковнику Елжеу и прапорщику Щербаняку жалованіе при Генералъ Антонъмѣтѣ Бонинъмѣтѣ.

Псковскому пѣхотному полку благодарности за собожаніе въ маршѣхъ порядка и зато, что неимѣтели во ономъ народоуспѣхъ.

Лейбъ-Гвардія Смоленскаго полка прапорщику князю Трубецкому двумъ исправлять должность Адъютанта при Генералъ-Лейтенантъ Ржевскіи.

Г. Г. Генераламъ позволяется провести имѣвшую ночь въ ближайшихъ деревняхъ.

Состолщій по Арміи: Генералъ - Майоръ Потуловъ; Московскій военный сямъ Адъютантскій Слѣдствій Свѣтлѣмъ Графъ Саминъ и тайный Свѣтлѣмъ Демидовъ. Нарутинскаго Гутарскаго полка Ротмистръ Милорадовъ, (то Егерскаго полка Москвитскаго ополченія Поручикъ Воротыкинъ, Псковскаго Драгунскаго полка Прапорщикъ князь Биланскій назначаются въ Генералу шѣ Кавалеріи Барону Вильгельму.

Подлинный подписалъ.

Главнокомандующій Арміеи Фельдмаршалъ Князь Голицынъ
Кутузовъ.

Приказ М. И. Кутузова от 9 сентября 1812

Вперед, ребята, за Царя и за Отечество! Я и дети мои, коих приношу в жертву, откроем вам путь.



М. И. Кутузов
Гравюра. 1810-е годы

Храбрые и победоносные воины! Наконец вы на границах империи! Каждый из вас есть Спаситель Отечества. Россия приветствует вас сим именем. Стремительное преследование неприятеля и необыкновенные труды, подъятые вами в сем быстром походе изумляют все народы и приносят бессмертную славу. *Приказ, отданный Российским войскам в Вильне 21 декабря 1812 года.*

Лицейские стихотворения А.С. Пушкина на тему 1812 года были высоко оценены его современниками. «Воспоминания в Царском Селе», вызвавшие восторг Г.Р. Державина, были опубликованы в «Российском музее» (1815, №4), с примечанием: «За доставление сего подарка благодарим искренно родственников молодого поэта, талант которого так много обещает». Вскоре стихотворение было напечатано в «Собрании образцовых сочинений и переводов в стихах». Стихотворение «Наполеон на Эльбе» вышло в свет в «Сыне Отечества» (1815, № 25–26), «Александру» под названием «На возвращение Государя Императора из Парижа в 1815 г.» — в «Трудах Общества любителей российской словесности при Московском университете» (1817, ч. 18), впрочем, без ведома Пушкина. Однако самим Пушкиным эти стихотворения, как и стихотворение «Принцу Оранскому», не были включены в собрание сочинений. В 1819 году при подготовке предполагавшегося сборника стихотворений Пушкин внес в «Воспоминания в Царском Селе» существенные коррективы — устранил хвалебные упоминания Александра I, полностью исключил посвященную ему строфу. Это во многом связано с пушкинской переоценкой Александра I, его роли в 1812 году. И вместе с тем лицейские стихотворения, посвященные 1812 году сыграли важную роль в творчестве Пушкина. С.А. Фомичев верно отметил, что «высокие» героические темы («Александру», «Принцу Оранскому», «Воспоминания в

Царском Селе») <...> возникают в творчестве Пушкина как отзвук событий эпохи и обнаруживают уже в ту пору некие потенции его творчества, пока еще в полной мере не развитые...» (303, 25). В данном случае, на наш взгляд, представляется существенным то, что героические темы современности решаются Пушкиным в формах времени — в формах ораторских речей, образцы которых были хорошо известны его соотечественникам. Пушкин, включая в свои стихотворения известные мотивы и образы ораторской прозы 1812 года, используя риторические приемы, сумел не только передать своим читателям и слушателям высокое патриотическое чувство, увлечь их героическим подвигом России, внушить ненависть к завоевателям — он овладел художественными возможностями красноречия, которые были использованы им в последующем творчестве. Прежде всего это относится к наиболее значительному его произведению написанное после окончания Лицея, — оде «Вольность», в которой сказалась установка на ораторскую речь, нашли отражение ораторские тексты 1812 года.

2. «НА ТРОНАХ ПОРАЗИТЬ ПОРОК»

Ода «Вольность», по свидетельству современников, была написана в доме Тургеневых.

«Из людей, которые были его старше, — вспоминал Ф.Ф. Вигель, — всего чаще посещал Пушкин братьев Тургеневых;

они жили на Фонтанке, прямо против Михайловского замка, что ныне Инженерный, и к ним, то есть к меньшому Николаю, собирались нередко высокоумные молодые вольнодумцы. Кто-то из них, смотря в открытое окно на пустой тогда, забвенью брошенный дворец, шутя предложил Пушкину написать на него стихи. Он по матери происходил от арапа генерала Ганнибала и гибкостью членов, быстротой телодвижений несколько походил на негров и на человекоподобных жителей Африки. С этим проворством вдруг вскочил он на большой и длинный стол, стоявший перед окном, растянулся на нем, схватил перо и бумагу и со смехом принялся писать. <...> Окончив, показал стихи, и не знаю, почему назвали их «Одой на свободу» (133, 9-11).

Не будем сейчас обсуждать степень достоверности «Записок» Ф.Ф. Вигеля. Отметим лишь, что ода «Вольность» создавалась в общении Пушкина с «высокоумными молодыми вольнодумцами» в атмосфере политического витийства.

В научной литературе об оде «Вольность» давно отмечена ораторская природа этого произведения, обусловленная идейно-тематическим содержанием и, в свою очередь, спецификой избранного поэтом жанра.

«Политическое негодование, политическая проповедь могут быть лучше выражены в традиционных формах классической поэзии XVIII века — формах оды», — писал Д.Д. Благой, указывая

на содержательные моменты, побудившие Пушкина обратиться к одической традиции (115, 168).

«Музыка пушкинского ямба <...> в его ораторской силе» была высоко оценена Л.П. Гроссманом, обратившим внимание на трансформацию ораторского слова «Вольности» в энергию политического действия. «Ораторские провозглашения государственной философии здесь становятся воинствующими лозунгами, устремленными в будущее, — утверждал исследователь. — Политический трактат начинает звучать песнью Свободе. Речь поэта приобретает поразительную общедоступность, из ученой становится массовой, всеобщей, всенародной и впервые придает русскому стиху значение оружия, выкованного для революционной борьбы» (162, 134).

«Ода “Вольность”, — писал В.Г. Базанов, — звучит с начала до конца на высоких тонах, как громкая речь с трибуны» (108, 71–72).

Приведенные наблюдения намечают возможность анализа «Вольности» с точки зрения использования в ней риторических приемов, взаимодействия поэтики и риторики.

«Вольность» построена как ораторская речь. Во вступлении заявлена ее тема:

Хочу воспеть Свободу миру,
На тронах поразить порок.

(II, 45)

«Соотечественники! внимлите и благоговейте! враги! трепещите!», — призывал Кутузов в приказе по армии от 17 октября 1812 года (14, 63).

«Вострепещи, тиран! Уж близок час паденья!» — восклицал Пушкин-лицеист в стихотворении 1814 года «Воспоминания в Царском Селе», обращаясь к тирану Наполеону.

В 1817 году в оде «Вольность» поэт-оратор обращается уже к «тиранам мира» и «падшим рабам»:

Питомцы ветреной Судьбы,
Тираны мира! трепещите!
А вы, мужайтесь и внимлите,
Восстаньте, падшие рабы!

(II, 45)

В «рассуждении» Пушкин излагает свою политическую концепцию, согласно которой свобода возможна и в монархическом государстве, если и владыки, и народ соблюдают «вечный закон». Нарушение закона губительно и для народа, и для царя. В речь, исполненную высокой гражданской патетики, которая передается риторической стилистикой, фразеологией А.Н. Радищева, деятелей Великой французской революции («гроза царей», «свобода», «порок», «трон», «закон» и др.), Пушкин включает риторическую «фигуру мыслей, действующую на воображение». Это, по определению Н.Ф. Кошанского,

«изображение, видение, живая картина, представляющая предмет, или происшествие так живо, как будто оно действительно происходит в глазах наших, и мы видим его» (42, 123). В качестве доказательств высказанного суждения о гибельности нарушения закона и царем, и народом и для царя, и для народа Пушкин-оратор представляет картины исторических событий во Франции и в России — казнь Людовика XVI и убийство Павла I. При этом он использует грамматическую форму настоящего времени в ее изобразительной функции: благодаря этому события, о которых идет речь, как бы разворачиваются перед глазами читателей-слушателей. Читатели-слушатели вместе с «задумчивым певцом» «Калигулы последний час» видят «живо пред очами».

«Заключение, — писал Н.Ф. Кошанский в “Частной Реторике”, — почти всегда состоит в желаниях и в обращениях: в исторических речах: к Герою, к Провидению, к Согражданам» (43, 91).

В заключение оды «Вольность» Пушкин обращается с поучением и призывом к царям:

И днесь учитесь, о цари:
Ни наказанья, ни награды,
Ни кров темниц, ни алтари
Не верные для вас ограды.
Склонитесь первые главой
Под сень надежную Закона,

И станут вечной стражей трона
Народов вольность и покой.

(П, 47, 48)

При изучении «Вольности» в контексте ораторской традиции важное значение имеет вопрос о соотношении оды Пушкина и близких ей по содержанию ораторских текстов пушкинского времени.

В научной литературе в качестве возможных источников политической концепции «Вольности» были названы речь А.П. Куницына при открытии Лицея в 1811 году (292, 162), французская конституция от 8 апреля 1814 года, хартия Людовика XVII, рескрипт Александра I от 18/30 апреля 1815 года президенту варшавского Сената гр. Островскому и другие ораторские тексты, где так или иначе поднимались проблемы, связанные с законом и свободой (312, 71—75). Этот ряд можно дополнить ораторскими текстами 1812 года, которые соотносятся со строфами оды Пушкина о казни Людовика XVI и Наполеоне.

В русской ораторской прозе 1812 года идеологическое осмысление французской революции и последовавшей за ней тирании Наполеона представлено преимущественно в церковных ораторских текстах. Ораторы-богословы говорили о французской революции как о пагубном заблуждении французского народа, забывшего и нарушившего закон Бога, впавшего в преступление и казнившего своего государя — следствием этого явилось

наказание Бога, ниспославшего на Францию кровавого тирана Наполеона:

«С того времени, как ослепленный мечтою вольности народ французский ниспровергнул престол однодержавия и олтари Христианские, мстящая рука Господня видимым образом отяготела сперва над ним, над теми народами, которые наиболее отступлению его последовали. За ужасами безначалия следовали ужасы угнетения», — было сказано в воззвании от Св. Синода митрополитом Амвросием 17 июля 1812 года в Казанской соборной церкви Петербурга (28, 1550).

«Когда владеющий царствами земными хочет народы сделать счастливыми, вручает их державе кротких, благодетельных и мудрых царей; напротив, наказуя во гневе своем, подвергает их жестокой власти надменных, злобных и буйных обладателей. Наполеон был ужасное оружие в деснице Вседержителя, наказующее народы за их нечестие и беззакония», — говорил Преосвященный Августин в «Слове перед начатием благодарственного Господу Богу молебствия по случаю покорения Французской столицы победоносными Российскими и союзными войсками, произнесенном <...> в Московском большом Успенском соборе, апреля 23 дня 1814 года» (9, 186). И он же сказал в «Слове по случаю заключения вожделенного и вечнославного мира победоносной России с Франциею и возстановления свободы и спокойствия по всей Европе, перед

начатием благодарственного Господу Богу молебствия произнесенном <...> в Московском большом Успенском соборе, 1814 июля 21 дня»:

«Галлы, народ, обладающий великими способностями, блестящий дарованиями ума, восшедший на верх просвещения, возгордился, наконец, — и, влюбившись, так сказать, в собственные достоинства, слепо предался буйным мудрствованиям лжеимянного разума. Он торжественно отверг тот Божественный закон, который один есть светильник человеку, который един содержит в себе истину и живот. Он разрушил олтари Творца вселенной и на месте их воздвиг жертвенники заблуждению и пороку, поругался Святыне, поднял убийственные руки на Помазанника Господня, поправ все законы нравственности, уполномочил разврат и увенчал преступление. Что ж потом? — Народ, столь любезный в общежитии, народ, который для других народов был примером и наставником людскости и нежности, сей народ сделался лютее разъяренного тигра. Он дышит грабительством и убийством, очи его пылают яростью и бешенством, уста изрыгают неправду и клеветы, руки исполнены крови. <...> Наконец, из среды народа оного, богатого талантами ума, сильного могуществом, но надменного, предавшегося буйству и разврату, возник человек, ужасный для человечества, человек, в котором Вседержителю угодно было явить страшное орудие

праведного гнева своего, наказующего нечестие и беззаконие» (10, 213–215).

В оде Пушкина «Вольность», как и в проповедях 1812 года, тирания Наполеона объясняется возмездием за то, что народ Франции нарушил «вечный закон», совершил преступление — казнь Людовика XVI:

Молчит Закон — народ молчит,
Падет преступная секира...
И се — злодейская порфира
На галлах скованных лежит.

(II, 46)

Далее следуют проклятья, с которыми поэт обращается к Наполеону, — они находят аналогии в проповедях и других ораторских текстах 1812 года:

Самовластительный Злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостью вижу.
Читают на твоём челе
Печать проклятия народы,
Ты ужас мира, стыд природы,
Упрек ты богу на земле.

(II, 47)

«Злодей человечества! ступай путем, твоею хищною рукою опустошенным; снеси плоды дел твоих; питайся собственной плотию» (6, 16).

«Буйственная гордыня! ужели думаешь истреблением и смертями обезсмертить имя свое? Потомство, возрев на злодеяния твои, содрогнется. Чтобы ужасы, тобою произведенные, не возмущали его, чтоб человечество избавить от безчестия, которым покрыла его лютость твоя, оно сокрушит памятники твои, и имя твое, обременив проклятиями, погребет в бездне вечного забвения» (7, 8–9).

«Над твоею главою, Наполеон, обрушатся развалины, оставленные тобою в Москве. Ты падешь, обремененный проклятиями народов под тяжестью железного века, несчастного твоим рождением и посрамленного твоей жизнью!» (21, 230).

Несомненно, что проповеди 1812 года и ода «Вольность» идейно не адекватны: Пушкин далее говорит об убийстве другого «помазанника Божия», Павла I, злодея, нарушившего закон, призывает к соблюдению закона и народы, и царей — тогда, по мысли поэта,

...станут вечной стражей трона
Народов вольность и покой.

(II, 48)

Описав в духе проповедей Французскую революцию и тиранию Наполеона, Пушкин переосмысляет ораторскую традицию и общей концепцией своей оды, и отдельными моментами принципиально иных оценок и композиционных построений. Так, в ораторских текстах 1812 года, как уже указывалось нами, поработителю Наполеону по контрасту противопоставлялся освободитель Александр I. Подобное противопоставление было использовано Пушкиным в ранней редакции «Воспоминаний в Царском Селе». В «Вольности» поэт отказывается от этого: французский тиран Наполеон сопоставлен с русским тираном Павлом I. В связи с этим небезынтересна следующая подробность: ораторы 1812 года, обращаясь к урокам римской истории, сравнивали Наполеона с Нероном:

«Неутомимый подвижник славы! — успокойся; ты совершил все; ты увенчал великие подвиги свои. — Москва во пламени: — вселенная забудет уже Нерона — и Рим, сожженный пламенником его», — восклицал Преосвященный Августин в «Слове на высокаторжественный день священной коронации Его Императорского Величества, Благочестивейшего Государя Императора Александра I, говоренном <...> в большом Успенском соборе 1813 года, сентября 13 дня» (7, 8).

«Лютый Нерон и высокомерный предводитель галлов...» — так был назван Наполеон в «Слове на всерадостный день отправляемого в городе Петрозаводске торжества о взятии

столицы Французской, говоренном тамошнего духовного училища ректором, протоиереем Иосифом Ярославским в Соборной церкви, мая 3 1814 года» (90, 145).

Пушкин называет Павла I Калигулой. Для поэта Наполеон и Павел I равны своей жестокой тиранией, оба они, по справедливому наблюдению И. Л. Фейн-берга, — злодеи: Наполеон — «самовластительный злодей», Павел I — «увенчанный злодей» (300, 312).

Выявленная связь оды Пушкина и ораторских текстов 1812 года свидетельствует о восприятии поэтом ораторской традиции и вместе с тем о ее переосмыслении, расширяет круг возможных источников политической концепции «Вольности».

Наши наблюдения позволяют также раскрыть некоторые дополнительные смысловые нюансы написанного Пушкиным в Михайловской ссылке в конце 1824 — начале 1825 года с иронией и озорством «Воображаемого разговора с Александром I», где между поэтом и царем речь идет о «Вольности»:

«Когда б я был царь, то позвал бы Александра Пушкина и сказал бы ему: “Александр Сергеевич, вы прекрасно сочиняете стихи”. Александр Пушкин поклонился бы мне с некоторым скромным замешательством — а я бы продолжал: “Я читал вашу Оду ‘Свобода’. Она вся писана немного сбивчиво, слегка обдуманно, но тут есть три строфы очень хорошие”. <...>— “Ах, ваше величество, зачем упоминать об этой детской Оде? Лучше бы

вы прочли хоть 3 и 6 песнь Руслана и Людмилы, ежели не всю поэму, или 1 часть Кавказского пленника, Бахчисарайский фонтан. Онегин печатается, буду иметь честь отправить 2 экземпляра в библиотеку вашего величества к Ив. Андр. Крылову, и если ваше величество найдете время...» (XI, 23).

С.М. Бонди убедительно доказал, что там, где царь говорит о трех очень хороших строфах, он имеет в виду 6, 7 и 8 строфы, т. е. строфы о французской революции, казни Людовика XVI и Наполеоне, — именно они должны были, по мнению Пушкина, понравиться Александру — победителю Наполеона. Эти хорошие строфы Александр I противопоставляет всей оде, написанной сбивчиво, недостаточно обдуманной. «Дело в том, — пишет, комментируя данное место “Разговора”, С.М. Бонди, — что ода “Вольность” — произведение действительно очень молодое, “сбивчивое”, внутренне противоречивое. В ней соединяются горячий, заражающий революционный пафос с довольно умеренной конституционно-монархической положительной программой» (124, 125). С этим нельзя не согласиться. Представляется, однако, что здесь, помимо общих соображений, которые можно соотнести с точкой зрения Пушкина, оценивающего свое произведение 1817 года в 1824 году, следует учесть отмеченный И.Л. Фейнбергом трафарет официальной поэзии, который «требовал перехода от обличения тирании Наполеона к прославлению его антагониста — русского царя»

(300, 311), —эта известная поэтическая традиция может объяснить точку зрения Александра I, высказывающегося о сбивчивости, непоследовательности отступающей от традиции пушкинской оды. Но, как мы уже заметили, обличение тирана Наполеона и прославление, идеализация Александра I были свойственны и ораторской прозе 1812 года, что также должно быть учтено при истолковании замечания царя о непоследовательности, недостаточной обдуманности оды «Вольность». Думается также, что в оценке самого Пушкина, назвавшего в «Разговоре» свою оду детской, сказалось не только его возросшее политическое сознание, но и осознание им выразившегося в оде влияния хорошо знакомых ему с детских лет ораторских текстов 1812 года.

3. «УЗНАЙ, НАРОД РОССИЙСКИЙ...»

Воспитанный под барабаном,
Наш царь лихим был капитаном:
Под Австерлицем он бежал,
В двенадцатом году дрожал,
Зато был фрунтовой профессор!
Но фронт герою надоед —
Теперь коллежский он ассессор
По части иностранных дел!

(II, 459)

Приведенная эпиграмма Пушкина на Александра I, дошедшая до нас в списках, предположительно датируется 1820–1826 годами. К этому времени пушкинская оценка Александра I изменилась: торжественно-приподнятое описание любви подданных к вернувшемуся из Парижа царю в лицейском стихотворении «Александру» уступило место сатирическому изображению скачущего в Россию «кочующего деспота» в нозле 1818 года «Сказки». И в эпиграмме Александр I — трус, героем именуемый иронически — он ничем не напоминает окруженного ореолом славы 1812 года Александра I из лицейских «Воспоминаний в Царском Селе». Разумеется, различны не только оценки, различны жанры этих стихотворений, их поэтика и стилистика. И все же и пушкинская эпиграмма, и нозль «Сказки», как и лицейские стихотворения на тему 1812 года, на наш взгляд, также могут быть рассмотрены в связи с традицией русского красноречия. Но связь эта несколько иная. В данном случае ораторское слово было включено в произведения графики. И с этими произведениями графики — сатирическими листами 1812 года, включающими в себя и ораторские тексты, небезынтересно сопоставить произведения Пушкина, в которых он создает сатирический портрет Александра I — победителя Наполеона.

Отечественная война 1812 года вызвала к жизни более 200 графических листов — в них высмеивался Наполеон и его деяния, прославлялся подвиг русского народа, борющегося за

освобождение отечества. Наполеон — завоеватель, хвастун, обманщик, беглец, бросивший свою армию в русских снегах на произвол судьбы — таковы лики французского императора, запечатленные авторами сатирических листов. Наполеону, его маршалам и его солдатам-мародерам противостоят герои русского народа: Русский Курций — ратник, в одиночку нападающий на офицера французской армии, предполагая, что это Мюрат или сам Наполеон; Русская Героиня-девица, дочь старостихи Василисы, разящая вилами француза; Русский Сцевола, отрубаящий себе руку, на которой поставлено клеймо Наполеона.

Сюжет Русского Сцевола был одним из наиболее популярных в сатирической графике 1812 года. Впервые он нашел воплощение в раскрашенной гравюре И. Терebeneва, вышедшей в конце 1812 года: художник изобразил русского крестьянина, решительно занесшего топор над своей рукой; на него с ужасом смотрят два испуганных француза. Гравюра явилась откликом на заметку в «Сыне Отечества» за 1812 год:

«В армии Наполеона (как у нас на конских заводах) клеймят солдат, волею или неволею вступающих в его службу. Следуя сему обыкновению, французы наложили клеймо на руку одного крестьянина, попавшего им в руки. С удивлением спросил он: для чего его оклеймили? Ему ответили: это знак вступления в службу Наполеона. — Крестьянин схватил из-за пояса топор и отсек клейменую руку. — Нужно ли сказывать, что сей новый Сцевола

был Русской? Одна мысль служить орудием Наполеону или принадлежать к числу преступных исполнителей воли тирана подвигала его к сему геройскому поступку» (277, 168).

Лист И. Терebeneва, получивший широкую известность в России, был скопирован в Германии. Во время войны 1812 года сюжет «Русского Сцеволы» разрабатывался И. Ивановым, И. Туполевым и другими русскими граверами. Он нашел отражение и в английской гравюре, выполненной в 1816 году Кларком и Дюбургом по рисунку И. Аткинсона. Вероятно, графика 1812 года, запечатлевшая этот сюжет, должна быть учтена при комментарии пушкинского «Рославлева», патетического утверждения Полины: «Никогда Европа не осмелится уже бороться с народом, который рубит сам себе руки...» (VIII, 157).

Образный язык сатирических листов, их композиционное, цветовое решение во многом близки к лубочным картинкам. Как и лубочные картинки, листы, как правило, сопровождались подписями, в которых часто использовались народные пословицы и поговорки, звучали интонации народной речи, райка:

«Вот тебе село да вотчина, / Чтоб тебя вело да Корчило».

«Не удалось тебе нас переладить на свою погудку: /
Попляши же, Басурман, под нашу дудку!»

«Свое добро тебе приелось, / Гостинцев Русских захотелось;
/ Вот сласти Русския! Поешь, не подавись! / Вот с перцем
збитенек, попей, не обожгись!»

Герои листов произносят и ораторские речи, организованные по законам не только народного, но и классического красноречия. Так, например, на гравюре «Наполеон, размышляющий после сражения при Красном» речь французского императора включает риторические приемы вопрошения и единоначатия: «Где моя Слава, которая сопутствовала во всех делах. / Где мои Лавры, которыми я украшался. / Где мои воины, которые разделяли со мною труды и Славу. / Где моя Артиллерия, которой трепетали все народы Европы». На гравюре «Собранная на Эльбе обсервационная армия Французская, на которой Главнокомандующий ее говорит речь» изображен ораторствующий перед нарисованными на свитке солдатами Лористон (Наполеон рисует на этом же свитке орудия) и приведен подлинный текст из его приказа: «Солдаты, Ваш Генерал чтит и уважает вас. Вы должны послужить образцами народов, / которых будете защищать и покровительствовать». Слова из рескрипта Александра I графу Ф.В. Ростопчину от 11 ноября 1812 года «Огонь сей будет в роды родов освещать лютость Наполеона и Славу России» стали названием и темой нескольких гравюр.

Сатирические листы при всей близости к народному лубку создавались профессиональными художниками. Среди них были такие известные мастера, как И. Теребенев, И. Иванов, В. Венецианов. Созданные ими произведения позволили

сатирической графике 1812 года занять заметное место в истории русского искусства.

Сатирические листы 1812 года пользовались большой популярностью у современников Пушкина. Они расклеивались на стенах домов, выставлялись в витринах магазинов, уже тогда становились предметом коллекционирования. Их известности способствовало предпринятое в 1814 году издание русской азбуки «Подарок детям в память 1812 года» — азбука состояла из тридцати четырех картинок, которые воспроизводили карикатуры Отечественной войны и сопровождалась стихами, начинающимися с той или иной буквы алфавита. Листы с момента их появления копировались и распространялись в Англии и Германии. В 1820–1830-х годах они обрели новую жизнь в декоративно-прикладном искусстве. Чайная посуда, стаканы, бокалы, на которые были перенесены сатирические картинки, — изделия, выполненные из фарфора, стекла, хрусталя не только русскими, но и английскими фабрикантами, вошли в быт России и Европы пушкинского времени.

Не вызывает сомнений, что Пушкин был знаком с сатирической графикой 1812 года. В сатирических произведениях, так или иначе связанных с темой 1812 года, с Наполеоном и Александром I, он мог сознательно или невольно использовать их мотивы и образы, саму стилистику, интонации текстов.

Особенно интересно, на наш взгляд, сопоставить с сатирическими листами 1812 года нозль «Сказки».

Как известно, нозль явился откликом Пушкина на речь Александра I, произнесенную на открытии сейма в Варшаве в марте 1818 года (292, 172-177). Речь была написана по-французски. Перевод ее на русский язык, в котором принимал участие П.А. Вяземский, был опубликован в «Северной почте» (1818, № 26) и распространялся в списках.

Александр I обещал в своей речи конституцию не только Польше, но и России:

«Образование, существовавшее в вашем крае, позволяло мне ввести немедленно то, которое я вам даровал, руководствуясь правилами законно-свободных учреждений, бывших непрестанно предметом моих помышлений и которых спасительное влияние надеюсь я, при помощи Божией, распространить и на все страны, провидением моему попечению вверенные» (323, 86).

Несмотря на расплывчатость формулировок, в которые было облечено обещание конституции, несмотря на то, что исполнение обещания предполагалось лишь в неопределенном будущем, речь Александра I взволновала общественное мнение в России. С конституцией связывали освобождение крестьян, но если консерваторы опасались чрезмерного либерализма, то представители наиболее радикально настроенных кругов, будущие декабристы, не были склонны обольщаться политическими

иллюзиями, обещания Александра I воспринимали иронически (325, 124–126).

В ироническом ключе интерпретируется речь Александра I и в пушкинском ноэле. При этом Пушкин, используя жанр французской народной поэзии (ноэль — рождественская песенка, в которой с помощью евангельских образов младенца Христа и его матери Марии сатирически раскрывается современная тема), создает стихотворение в духе русской сатирической картинки 1812 года. Но сатира Пушкина, в отличие от графики 1812 года, адресована не Наполеону, а Александру I; не Наполеон, а Александр I объявлен Пушкиным врагом России.

Ура! в Россию скачет
Кочующий деспот.
Спаситель горько плачет,
За ним и весь народ.
(II, 69)

На листах 1812 года — кочующий деспот Наполеон, бесславно возвращающийся из России во Францию. У Пушкина — «... в Россию скачет “кочующий деспот” Александр I».

Мария в хлопотах спасителя страшает:
«Не плачь, дитя, не плачь, сударь:
Вот бука, бука — русский царь!»

Царь входит и вешает...»

(II, 69)

Александр I «входит» в Россию, в условный мир сатирического листа, на сей раз как бы созданного Пушкиным, и по образцу листов 1812 года «вешает»:

«Узнай, народ российский,
Что знает целый мир:
И прусский и австрийский
Я сшил себе мундир...

(II, 69)

Последние две строки объясняются конкретной исторической ситуацией 1818 года, когда Александр I создал с Пруссией и Австрией «Священный союз» для борьбы с революционным движением Европы. Но пушкинские строки могут восприниматься еще и на фоне гравюры «Разговор Наполеона с портным в Варшаве» — Наполеон, у ног которого лежат разорванные планы, говорит портному: «Они теперь мне не нужны; Русские сделали их негодными. / Я еду в Париж; последний мундир мой отняли у меня / Казаки в Ошмянах, и я скакал сюда в одной этой фуфайке; / Возьми же эти планы и к утру сшей мне из оных порядочную пару».

О радуйся, народ: я сыт, здоров и тучен;
Меня газетчик прославлял;
Я пил, и ел, и обещал —
И делом не замучен.

Наполеон часто представляется авторами сатирических листов как лгун — недаром на одной из гравюр он сравнивается с Мюнхаузенем, который говорит: «Исчезла древняя слава моя пред великим сим Героем! / к Стопам его повергаю слабые опыты того искусства / коим некогда прославился Мюнхаузен! Да заменят / в потомстве, Он меня, Бюллетени Его, Книгу мою». Лжет в нозле Пушкина и Александр I, обещавший российскому народу проведение либеральных реформ. В речи царя Пушкин нанизывает цепь обещаний, вызывающих смех:

Послушайте в прибавку,
Что сделаю потом:
Лаврову дам отставку,
А Соца — в желтый дом...
(II, 69)

Разумеется, устранение от должностей директора исполнительного департамента Министерства полиции И.П. Лаврова и цензора В.И. Соца ничего, по существу, не может изменить в России. Что же касается высказанного затем царем

намерения «Закон постановлю на место вам Горголи», то оно воспринимается в ключе острой политической сатиры: в России — беззаконие, на месте закона — оберполицмейстер И.С. Горголи.

Пушкин строит речь Александра I с учетом требований ораторского искусства. Она завершается «удовлетворительным окончанием», стихами, в которых, по справедливому замечанию Б.В. Томашевского (292, 176), заключена наибольшая политическая острота:

И людям я права людей,
По царской милости моей,
Отдам из доброй воли.
(II, 69)

Но конец речи царя — не конец нозля. Пушкин дискредитирует венценосного оратора, объявляя его обещания сказками; слушая их, дитя — младенец Христос — должен скорее заснуть.

Сюжет пушкинского нозля перекликается с сюжетом гравюры И. Тербенева «Наполеон и его сообщники убаюкивают и забавляют разными игрушками и побасенками Францию, стараясь закрыть от нее настоящее ее положение. Между тем как она, держа в руке граненое разноцветное стекло, видит в / оном красоту свою стократно помноженную, Наполеон прилежно занимается укачиванием люльки, заставляя Бертье / держать ширму; чтоб от

несносных лучей восходящей в виде солнца истины не заболели глазочки у дитяти / и чтоб она никакими неприятными видами не тревожилась». Этот лист был включен в число картинок российской азбуки с надписью:

Ух как устала ты, любезная, от нас;
Ну, баюшки-баю, поспи еще хоть час!

У Пушкина:

А мать ему: «Бай-бай! закрой свои ты глазки;
Уснуть уж время наконец,
Ну, слушай же, как царь-отец
Рассказывает сказки».

(II, 70)

Таким образом, сатирический портрет Александра I, созданный Пушкиным в ноэле, как бы проецируется на сатирический портрет Наполеона, созданный в сатирических листах 1812 года. То же можно сказать и об эпиграмме «Воспитанный под барабаном», где «герой» Александр I, подобно герою листов 1812 года, представлен бегущим от врага, дрожащим от страха. И в эпиграмме на Александра I «К бюсту завоевателя» (1829) также может быть выявлен второй, относящийся к листам 1812 года план:

Напрасно видишь тут ошибку:
Рука искусства навела
На мрамор этих уст улыбку,
А гнев на хладный лоск чела.
Недаром лик сей двуязычен.
Таков и был сей властелин:
К противочувствиям привычен,
В лице и в жизни арлекин.

(III, 206)

В костюме арлекина, выступающего перед ярмарочным балаганом, представлен Наполеон на гравюре И. Тербенева «Карнавал, или Парижское игрище на масленице» — зазывая зрителей, он обращается к народу: «Пожалуйте сюда Господа! здесь показывают самые лучшие / Комедии и Китайские тени».

С сатирическими листами 1812 года соотносится десятая глава «Евгения Онегина» (1830). Об этом мы еще будем говорить. Сейчас заметим лишь, что в романе в стихах Пушкин также переадресует Александру! сатиру графических листов, обращенную к Наполеону. При этом в отличие от портрета Александра I изображение Наполеона дано здесь не в духе сатирических листов, а в традиции романтической поэзии:

Сей муж судьбы, сей странник бранный
Пред кем унизились ц<ари>,

Сей всадник Папою венчанный
Исчезнувший как тень зари.

(VI, 522, 523)

Стилистика сатирических листов 1812 года в пушкинском изображении Наполеона сказывается разве что лишь в стихотворении «Рефутация г-на Беранжера» (1827), где есть такие близкие к картинкам строки:

Ты помнишь ли, как царь ваш от угара
Вдруг одурел, как бубен гол и лыс,
Как на огне московского пожара
Вы жарили московских наших крыс?

(III, 82)

Стихотворение «Рефутация г-на Беранжера», не предназначенное для печати, явилось откликом Пушкина на бонапартистскую песню, ошибочно приписанную им Беранже. Выстроенное как каскад риторических вопросов, повторов («Ты помнишь ли, ах ваше благородье...» «Ты помнишь ли, скажи...»), стихотворение включает мотивы и образы сатирической графики 1812 года: «наш мороз среди родных снегов» (авторы картинок изображали Мороза-Вавилу), «Вы жарили московских наших крыс» (популярный сюжет картинок — французский суп). Наполеон «как бубен гол и лыс» напоминает Наполеона из листа

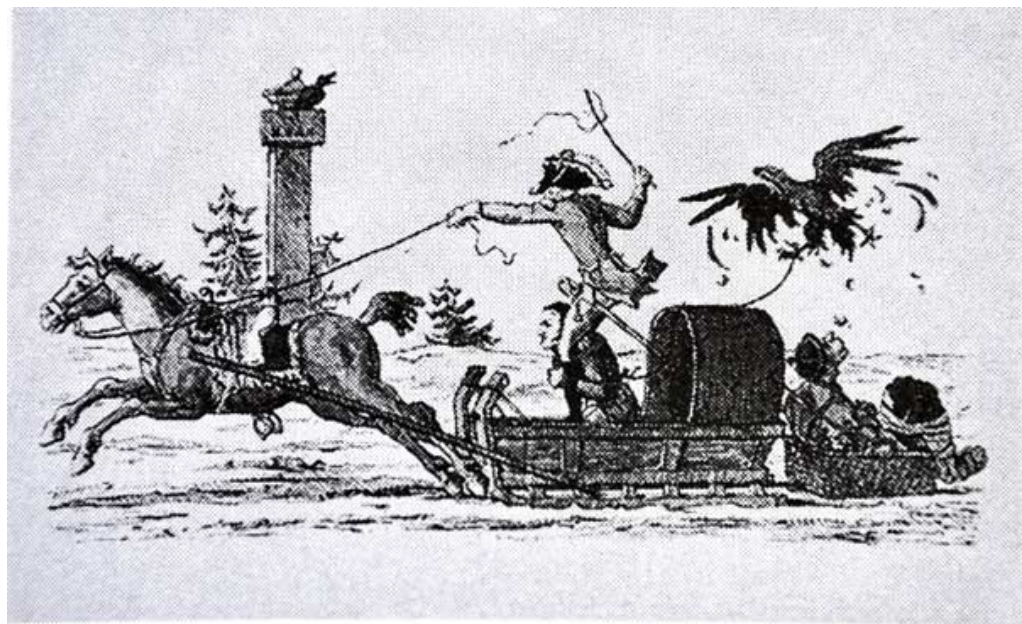
И. Терebeneва «Русская баня», где французского императора парят и бреют русские солдаты.

Однако следует еще раз подчеркнуть, что сюжеты, мотивы и образы сатирических листов 1812 года выявляются преимущественно в политической лирике Пушкина, связанной с сатирическим разоблачением Александра I, с русской жизнью после Отечественной войны.

Приведенные наблюдения позволяют дополнить и углубить наше представление о своеобразном эзоповом языке Пушкина — автора политической лирики, дерзко переосмыслившего художественный мир листов 1812 года, с помощью уже ставших привычными для его читателей графических сюжетов, образов и мотивов сказавшего правду о политической жизни России своего времени. Возможно, что не только политическая острота, но и узнаваемость была одной из причин широкого распространения пушкинских эпиграмм, нозля «Сказки» — они, по свидетельству И.И. Пущина, «езде ходили по рукам, переписывались и читались наизусть». «Не было живого человека, — писал И.И. Пущин, — который не знал бы его стихов» (242, 70).



Русский Сцевола
Гравюра И. Теребенева. 1812



Проезд высокого путешественника от Варшавы до Парижа...
Гравюра И. Терebeneва. 1813



Наполеон и его сообщники убаюкивают
и забавляют разными игрушками и побасенками Францию...
Гравюра И. Тербенева. 1813



Карнавал или Парижское игрище на масленице
Гравюра И. Теребенева. 1813

4. «ЧЕМУ, ЧЕМУ СВИДЕТЕЛИ МЫ БЫЛИ!»

В 1820-е годы, во время южной и Михайловской ссылки, Пушкин вновь обращается к теме 1812 года, к образам Наполеона и Александра I, и это не случайно. 1819–1820 годы — время

бурных исторических событий и в Европе, и в России: неапольская революция, восстание в Пьемонте, революция в Португалии, испанская революция, греческое восстание, восстание Чугуевских военных поселений, восстание Семеновского полка... Декабристами ведется подготовка военного выступления... Для Пушкина это не просто исторические факты, это — жизнь его поколения, это — его собственная жизнь: как известно, он встречался с декабристами в Кишиневе, Каменке, Одессе, виделся с предводителем греческого восстания А. Ипсиланти, хотел принять участие в освободительной войне греков против турок — по словам П.А. Вяземского, «он жил и раскалялся в этой жгучей и вулканической атмосфере». Для того чтобы осмыслить историю, которая совершалась рядом с ним, в сегодняшнем дне 1820-х годов, и к которой он был причастен, Пушкин размышляет о событиях пусть не очень далекого, но все же уже прошлого — о войне 1812 года, о Наполеоне и Александре I, об их роли в исторических судьбах Европы и России. В 1820-е годы это размышления поэта-романтика. Они нашли отражение в лирике, созданной во время южной ссылки, — стихотворениях «Наполеон» (1821), «Зачем ты послан был и кто тебя послал?» (1824), «Недвижный страж дремал на царственном пороге» (1824), а также в стихотворении «К морю» (1824), написанном в Михайловском, — здесь события 1812 года, Наполеон и Александр

I по сравнению с лицейскими стихотворениями представлены и в иных оценках, и в ином стилистическом выражении.

В статье Ю.В. Стенника «Традиции торжественной оды XVIII века в лирике Пушкина периода южной ссылки («Наполеон»)» дан подробный анализ стихотворения «Наполеон», выявлено сочетание в нем романтической традиции и традиции классицистической оды, обусловленное двумя аспектами пушкинской оценки Наполеона. «"Герой и тиран" одновременно — таковы аспекты оценки, — пишет исследователь. — С точки зрения понимания художественной структуры произведения данные два аспекта личности Наполеона и обуславливают возможность одновременного сочетания романтической (идущей от Байрона) и одической (национальной в своих истоках) поэтических систем. Наполеон — “могучий баловень побед”, “великий человек”, “изгнанник вселенной”, окружен героическим ореолом. И здесь ключ для понимания роли романтической поэтики, в которой выдерживается эта сторона его личности. Но Наполеон — “надменный” завоеватель, уничтоживший свободу Франции, пошедший войной на Россию, — “тиран”. И в решении темы Наполеона с подобной позиции поэтическая доминанта определяется жанровым каноном русской торжественной оды» (280, 111).

К приведенным наблюдениям, которые справедливы не только в отношении к стихотворению «Наполеон», но и к

стихотворениям «Зачем ты послан был и кто тебя послал?», «Недвижный страж дремал на царственном пороге», хотелось бы добавить, что в названных стихотворениях 20-х годов дает о себе знать и традиция русской ораторской прозы 1812 года. Лик Наполеона — «тирана», «хладнокровного кровопийцы», «царя», исчезнувшего «как сон, как тень зари», написан красками ораторской палитры 1812 года. Лексика стихотворений («Свобода», «цепи», «колосс», «росс», «самовластье» и др.), метафорический стиль («царства упали / При громах власти роковой», «Ступил на грудь ее (Европы — *Н.М.*) колосс» и др.), ораторская патетическая интонация, которая передается с помощью обращений, восклицаний, риторических вопросов, призывов, заклинаний («Надменный! кто тебя подвигнул? / Кто обуял твой дивный ум?» «Россия, бранная царица, / Воспомни древние права! / Померкни солнце Австерлица! Пылай, великая Москва!» и др.), — все это находит аналогии в ораторских текстах Отечественной войны, чему можно было бы привести множество примеров. Укажем лишь на один из них. В стихотворении «Наполеон» Пушкин пишет:

Давно ль орлы твои летали
Над обесславленной землей?
Давно ли царства упали
При громах силы роковой...

(II, 213)

Комментируя эти строки, Ю.В. Стенник отмечает «воспроизведение типичного для оды приема интонационно-синтаксического параллелизма» (280, 111). Подобный прием часто использовался и в ораторской прозе. Торжество победы над врагом усиливалось воспоминанием о его недавних успехах, и здесь выстраивалась цепь риторических вопросов с зачином «Давно ли?»

Сравним:

«Давно ли поработенные гордынею народы изошряли противу нас убийственное лезвие? давно ли опустошали плодоносные поля наши? давно ли веселились плачем и рыданиями нашими? — Но се — какая измена десницы Вышнего! — се ныне те самые народы обращают оружие свое против нашего и общего всех врага <...>. Давно ли они самые народы, прежде противу нас, а ныне по нас поборающие, давно ли трепетали пред силою властолюбивого завоевателя? давно ли падали пред грозными взорами его? давно ли, яко прах взметаемый ветром, смущались при гласе кровавых велений его? Но се ныне сии поработенные народы расторгают узы постыдного рабства...» (8, 4).

Указанный прием Пушкин использует и в стихотворении «Недвижный страж дремал на царственном пороге», но в нем он пишет не столько о событиях 1812 года, о победе России над наполеоновской Францией, сколько о последующих затем

европейских революционных движениях, задушенных Священным союзом к 1823 году:

3

«Свершилось! молвил он. Давно ль народы мира
Паденье славили великого кумира,

.....
.....
.....
.....

4

Давно ли ветхая Европа свирепела?
Надеждой новою Германия кипела,
Шаталась Австрия, Неаполь восставал,
За Пиренеями давно ль судьбой народа
Уж правила Свобода,
И Самовластие лишь север укрывал?

5

Давно ль — и где же вы, зиждители
Свободы?
Ну что ж? витийствуйте, ищите прав
Природы,
Волнуйте, мудрецы, безумную толпу —

Вот Кесарь — где же Брут? О грозные
вители.

Цалуйте жезл России
И вас поправшую железную стопу».
(II, 310–311)

Этот риторический монолог в стихотворении произносит Александр I, вернувшийся в Россию с Веронского конгресса в феврале 1823 года. Прием, в ораторской прозе 1812 года так или иначе связанный с Наполеоном и его армией, Пушкин использует применительно к Александру I. Пушкин отказывается от отмеченного нами ранее в его лицейской лирике противопоставления Наполеона и Александра I, противопоставления, характерного для ораторской прозы. И Наполеон, и Александр I — оба представлены как тираны. Но если Наполеон, «мятежной вольности наследник и убийца», не только тиран, но и герой, завещавший миру вольность, то Александр I — «владыка Севера», который принес миру неволю вместо свободы, о которой говорили ораторы 1812 года. И если в лицейском стихотворении были славословия Александру I — «Хвала, наш храбрый царь, хвала, благодаренье», то в лирике 1820-х годов не Александра I, а Наполеона прославляет Пушкин:

Хвала! он русскому народу
Высокий жребий указал,

И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал.

(II, 216)

В поэтическом творчестве Пушкина 1830-х годов, обогащенном открытием реализма, принципами историзма и народности, тема 1812 года раскрывается в различных аспектах: историческом («Евгений Онегин» — 7, 10 главы, «Чем чаще празднует Лицей», «Была пора: наш праздник молодой»), политическом («Перед гробницею святой», «Клеветникам России», «Бородинская годовщина»), философском, нравственно-психологическом («Герой», «Полководец»). Но так или иначе события Отечественной войны, ее герои, участники и свидетели включаются Пушкиным в его размышления о мировой истории, об истории России, о прошлом, настоящем и будущем своего народа и своего поколения:

Давно ль; друзья... но двадцать лет
Тому прошло; и что же вижу?
Того царя в живых уж нет;
Мы жгли Москву; был плен Парижу;
Угас в тюрьме Наполеон;
Воскресла греков древних слава;
С престола пал другой Бурбон;
Отбунтовала вновь Варшава, —

(III, 879–880)

писал Пушкин в черновой редакции стихотворения 1831 года «Чем чаще празднует Лицей», посвященного лицейской годовщине.

Стихотворения, также написанные в 1831 году, — «Перед гробницею святой», «Клеветникам России», «Бородинская годовщина» — общественно-политическое выступление Пушкина, связанное с Польским восстанием. Вместе с тем их содержание не сводится к русско-польским отношениям. Пушкин пишет о международной политике, о судьбах Европы и России, об уроках истории и сегодняшнем дне; с современностью связывает он события 1812 года.

В стихотворении «Перед гробницею святой», написанном в июне 1831 года, когда исход Польского восстания был еще неясен, Пушкин обращается к образу великого полководца России Кутузову — «смирителя всех ее врагов»:

В твоём гробу восторг живет!
Он русской глас нам издает;
Он нам твердит о той године,
Когда народной веры глас
Воззвал к святой твоей седине;
«Иди, спасай!» Ты встал — и спас...

Внемли ж и днесь наш верный глас,
Встань и спасай царя и нас,

О, старец грозный! На мгновенье
Явись у двери гробовой,
Явись, вдохни восторг и рвенье
Полкам, оставленным тобой!
(III, 267–268)

В стихотворении «Клеветникам России» Пушкин вспоминает об историческом подвиге русского народа в 1812 году:

...в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир...
(III, 270)

В стихотворении «Бородинская годовщина» вновь пишет о победе России над наполеоновской армией:

Великий день Бородина
Мы братской тризной поминая,
Твердили: «Шли же племена,
Бедой России угрожая;
Не вся ль Европа тут была?
А чья звезда ее вела!..
Но стали ж мы пятою твердой

И грудью приняли напор
Племен, послушных воле гордой,
И равен был неравный спор.

(III, 273)

Стихотворения 1831 года риторически организованы. «Начало стихотворения «Клеветникам России» — «О чем шумите вы, народные витии?» — задает ему определенный риторический стиль, находящий свое выражение и в лексике, и в интонации, — замечает Эрки Пеуранен. — Оба стихотворения (и «Клеветникам России», и «Бородинская годовщина» — *Н.М.*) построены как ораторские выступления, рассчитанные на произнесение, и все фразы, в большинстве случаев короткие, как бы учитывают настроение и возможные возражения слушающих» (231, 70–71). Наблюдения исследователя можно отнести и к стихотворению «Перед гробницею святой». При этом в трех названных стихотворениях Пушкин ориентируется на различные ораторские жанры. Относительно стихотворения «Перед гробницею святой» можно говорить о традициях надгробного слова, похвального слова в память великого человека. Стихотворение «Клеветникам России», поводом к которому послужили речи во французской палате депутатов, призывающие к вооруженному вмешательству в русско-польские военные действия, — политическая речь. Стихотворение «Бородинская годовщина» включает в себя поминальное слово о бородинской брани, политическую речь —

отповедь «клеветникам России», торжественную речь, прославляющую победу русского оружия. В художественную ткань стихотворения Пушкин органично включает отдельные образы ораторской прозы 1812 года. Так, в стихотворении «Перед гробницею святой» образ «В твоём гробу восторг живет! Он русский глас нам издает», возможно, восходит к «Слову, говоренному при гробе князя Смоленского Архимандритом Филаретом в день погребения 13 июня 1813 г. в Казанском соборе», где сказано, что и после смерти Кутузова отзывается в сердцах россиян его глас (79, 263). Призыв Пушкина к великому русскому полководцу:

Явись, вдохни восторг и рвенье
Полкам, оставленным тобой!
(III, 268)

перекликается с обращением архимандрита Филарета: «Россияне! вы все единодушно желаете, чтобы дух, данный Смоленскому, не переставал ходить в полках наших и почивать на вождях наших» (79, 290).

В научной литературе отмечена общеевропейская поэтическая традиция, связанная с синтаксической формулой «от — до» (235). Эта формула нашла отражение в одах М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина.

От Иберов до вод Курильских,
От вечных льдов до токов Нильских,
По всем народам и странам
Ваш слух приятный протекает,
Языки многи услаждает,
Как благовонный фимиам, —

писал М.В. Ломоносов в «Оде на день брачного сочетания их императорских высочеств государя великого князя Петра Феодоровича и государыни великия княгини Екатерины Алексеевны, 1745 года» (199, 108–109).

«Слух пройдет обо мне от Белых вод до Черных», — писал Г.Р. Державин в стихотворении «Памятник».

Использовал эту поэтическую формулу и Н.М. Карамзин («На торжественное коронование его императорского величества Александра I, самодержца всероссийского»):

Россия, мира половина,
От врат зимы, Камчатских льдов,
До красных Невских берегов,
До стран Колхиды и Эвксина,
Во всей обширности своей
Сияет... счастьем людей!

(186, 267)

Пушкин развернул формулу «от — до» в стихотворении «Клеветникам России»:

Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижимого Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..
(III, 270)

Ранее подобный прием встречается в стихотворении Пушкина 1824 года «Недвижный страж дремал на царственном пороге»:

...взор его носился
От тибровых валов до Вислы и Невы,
От сарско-сельских лип до башен Гибралтара...
(II, 310)

Не исключено, однако, что в стихотворении «Клеветникам России» образ русской земли, ее бескрайних просторов, встающих против неприятеля, может быть связан не только с поэтической, но и с ораторской традицией, с ораторскими текстами 1812 года:

«Вняв гласу цареви и Отечества, зовущему на защиту пределов своих, верные сыны России от берегов Иртыша и Ледяного моря, от гор Кавказских и степей Очаковских неустрашимо потекли разить супостатов» («Слово на всерадостнейшее торжественное о заключении всеобщего в Европе мира празднование в Калуге июня 27 1814 года, говоренное по прочтении Высочайшего Манифеста в Калужском соборе учителем поэзии А. Тихомировым»). (76, 139).

В стихотворениях «Герой» (1830) и «Полководец» (1835) тема 1812 года (образы Наполеона, Барклая-де-Толли, события Отечественной войны) также раскрывается в соотношении с современностью, но в данном случае ей придается не только публицистическое звучание (хотя и оно несомненно присутствует), но еще и глубокий философский, нравственно-психологический смысл*.

* В научной литературе сложились две тенденции истолкования «Полководца». Одна из них связана прежде всего с осмыслением историко-публицистического содержания стихотворения. Назовем здесь работы Н.О. Лернера (195), В.А. Мануйлова и Л.Б. Модзалевского (208), Г.М. Коки (187). Исследователи другой тенденции — Н.В. Измайлов (182), Б.П. Городецкий (155) — преимущественное внимание уделяют философскому содержанию «Полководца». Обзор литературы, посвященной этому стихотворению, дан в статье Н.Н. Петруниной «Полководец» (228, 278–280).

И для публицистического раскрытия темы, и для выражения ее философского, глубоко личного содержания Пушкин использует форму ораторской речи. В этом плане стихотворение «Герой» будет рассмотрено особо — как нам представляется, можно говорить о его ораторском источнике. Что же касается стихотворения «Полководец», то в посвященной ему статье Н. Н. Петруниной отмечена и его риторическая организация. Рассматривая черновой вариант, в котором заключительную сентенцию «О люди! Жалкий род, достойный слез и смеха...» произносил Барклай-де-Толли, и произведенную Пушкиным замену, когда это суждение высказывал уже не герой, а автор стихотворения, и тем самым концовке был придан смысл историко-философского обобщения, Н.Н. Петрунина пишет: «В «Полководце», рассчитанном, подобно монологу классической трагедии, на произнесение и восприятие на слух (когда ослабляется значение графических и усиливается роль логических проявлений речевой структуры), остатки исходной конструкции должны были отрицательно сказаться на восприятии концовки и смысла стихотворения в целом» (228, 296). Заметим, что в стихотворении «Полководец» нет прямых заимствований из ораторской прозы 1812 года, есть лишь ее ораторский пафос.

Мотивы и образы ораторской прозы 1812 года дают о себе знать в стихотворении 1836 года «Была пора: наш праздник молодой», написанном на тему лицейской годовщины. В нем

Пушкин осмыслял жизнь своего поколения в контексте века, полного бурных исторических событий:

Припомните, о други, с той поры,
Когда наш круг судьбы соединили,
Чему, чему свидетели мы были!
Игралища таинственной игры,
Метались смущенные народы;
И высились и падали цари;
И кровь людей то Славы, то Свободы,
То Гордости багрила алтари.

(III, 432)

Стихотворение «Была пора: наш праздник молодой» было предназначено для чтения перед однокашниками на двадцатипятилетию Лицея и, вероятно, изначально мыслилось Пушкиным как ораторское выступление. Это сказалось в его построении. «Параллельные двухсторонние зачины каждой строфы, — писал А.Л. Слонимский, — придают речи мужественно-ораторский характер:

Была пора: наш праздник молодой...
Теперь не то: разгульный праздник наш...
Всему пора: уж двадцать пятый раз...
Припомните, о други, с той поры...
Вы помните: когда возник лицей...

Вы помните: текла за ратью рать...
Вы помните, как наш Агамемнон...
И нет его — и Русь оставил он...».

(272, 136)

Обратим внимание на то, что Пушкин использует здесь ораторский прием единоначатия.

Припомните, о други, с той поры...
Вы помните: когда возник лицей...
Вы помните: текла за ратью рать...
Вы помните, как наш Агамемнон...
И нет его — и Русь оставил он...».

(272, 136)

Рассказывая о событиях Отечественной войны, о победе русского оружия, о взятии Парижа, Пушкин обращается к ораторской традиции 1812 года. Я.Л. Левкович отмечено, что в стихотворении «Была пора: наш праздник молодой», в той его части, где речь идет об Отечественной войне, об Александре I, представленном как «народов друг, спаситель их свободы», есть реминисценции из лицейского стихотворения Пушкина «Александр», которое, в свою очередь, как было нами показано выше, соткано из мотивов и образов ораторской прозы 1812 года. «Однако, — пишет Я.Л. Левкович, — то, что в 1815 г. было

эмоциональным восприятием событий, в 1836 г. стало отстоявшимся мировоззрением. Значение Отечественной войны для судеб Европы и ее политической жизни стало историческим фактом. Строфы о 1812 г. и Александре I не только воспроизводят патриотические чувства лицеистов, но выражают одновременно ретроспективный взгляд поэта на Отечественную войну» (192, 100–101). Думается, что задачей своего рода реконструкции и стиля, и оценок, присущих времени Отечественной войны — теперь уже историческому прошлому, представленному как воспоминание, может быть объяснено использование в стихотворении «Была пора: наш праздник молодой» ораторской традиции 1812 года.

Сохранился протокол собрания лицеистов 19 октября 1836 года, написанный рукою Пушкина. Он позволяет представить слушателей, перед которыми выступал Пушкин с чтением стихотворения «Была пора: наш праздник молодой», ту атмосферу, в которой это стихотворение воспринималось.

«Господа лицейские» — П.М. Юдин, П.Н. Мясоедов, П.Ф. Гревениц, А.И. Мартынов, М.Л. Яковлев, М.А. Корф, А.Д. Илличевский, С.Д. Комовский, Ф.Х. Стевен, К.К. Данзас — «собрались в доме у Яковлева и пировали следующим образом:

1) Обедали вкусно и шумно.

2) Выпили три здравия (по заморскому toasts):

а) за двадцатипятилетие Лицея,

- в) за благоденствие Лицея,
- с) за здоровье отсутствующих.

3) Читали письма, писанные некогда отсутствующим братом Кюхельбекером к одному из товарищей.

4) Читали старинные протоколы, песни, и проч. бумаги, хранящиеся в Архиве Лицейском у старосты Яковлева.

5) Поминали Лицейскую старину».

Продолжил протокол М. Л. Яковлев:

6) Пели национальные песни.

7) Пушкин начал читать стихи на 25-тилетие Лицея, но всех стихов не припомнил и, кроме того, отозвался, что он их не dokonчил, но обещал докончить, списать и приобщить в оригинале к сегодняшнему протоколу.

Примечание. Собрались все в половине 5-го часа, разошлись в половине десятого» (254, 737).

П.В. Анненков записал со слов одного из участников этого традиционного лицейского собрания:

«Пушкин писал к этому дню все свои пьесы, известные под заглавиями “19 октября”».

По обыкновению, и к 1836 году он приготавливал лирическую песнь, но не успел ее докончить. В день праздника он извинился перед товарищами, что прочтет им песню, не вполне доделанную, развернул лист бумаги, помолчал немного и только что начал, при всеобщей тишине, свою удивительную строфу:

Была пора: наш праздник молодой
Сиял, шумел и розами венчался, —
как слезы покатались из глаз его. Он положил бумагу на стол и отошел в угол комнаты, на диван... Другой товарищ уже прочел за него последнюю «лицейскую годовщину» « (99, 378).

Так закончилось последнее выступление Пушкина в роли оратора.

II. ЛИРИКА ПУШКИНА И ЦЕРКОВНОЕ КРАСНОРЕЧИЕ

«Есть книга, коей каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли, применено ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям мира; из коей нельзя повторить ни единого выражения, которого не знали бы наизусть, которое не было бы уже пословицею народов; она не заключает уже для нас ничего неизвестного; но книга сия называется Евангелие, — и такова ее вечно новая прелесть, что если мы, пресыщенные миром или удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не в силах противиться ее сладостному увлечению и погружаемся духом в ее божественное красноречие», — писал Пушкин в статье 1836 года о сочинении Сильвио Пеллико «Об обязанностях человека» (XII, 99).

Библия, как и Евангелие, была предметом постоянного интереса Пушкина-мыслителя и художника. Он обращался к ней как к одному из «вечных источников» «поэзии у всех народов». Будучи в Одессе, Пушкин сообщал в 1824 году П.А. Вяземскому о чтении Шекспира и Библии. В этом же 1824 году он просил из Михайловского брата Льва прислать ему Библию, сокрушался о том, что доставка ее задерживается: «Михайло привез мне все благополучно, а Библии нет. Библия для христианина то же, что история для народа. Этой фразой (наоборот) начиналось прежде предисловие «Истории» Карамзина. При мне он ее и переменял» (XIII, 127). Сохранилось свидетельство о том, что в 1832 году Пушкин собирался переводить Книгу Иова на русский язык. В 1834 году Пушкин писал жене из Болдина: «Читаю Вальтер Скотта и Библию» (XV, 193). Пожалуй, в творчестве Пушкина больше всего цитат и реминисценций из Библии.

С библейскими мотивами и образами, с библейским стилем, который В.В. Виноградов справедливо называет ораторским, во многом связаны те пушкинские произведения, в которых так или иначе нашла отражение традиция церковного красноречия. Эта традиция давала о себе знать на протяжении всего творческого развития Пушкина, но проявлялась она по-разному. Впрочем, этот вывод, вероятно, уместнее было бы сделать в конце главы. Сначала же обратимся к лирике молодого Пушкина.



Митрополит Амвросий
Гравюра К. Силинга с ориг. Т. Яненко. 1806

Страсти наши, яко недостойныя славы сея хотящей
явиться в нас, не внидут с нами в сие жилище; но борьба
наша с ними на земли и преодоление их составляет
некоторым образом достоинство наше и путь к небесам.
*Собрание поучительных слов, в разное время
проповеданных Амвросием, митрополитом Новгородским
и Санкт-Петербургским. 1816.*

1. «ХРИСТОС ВОСКРЕС, ПИТОМЕЦ ФЕБА!»

Остроумие — одно из свойств художнической натуры Пушкина, которое сказалось и в пушкинской поэзии. В молодые годы поэта в сферу его остроумия попала и Библия.

В.В. Виноградов в книге «Язык Пушкина» отметил ироническое, пародическое и каламбурное переложение библейских образов и мотивов в лирике 1810-начала 1820-х годов (137, 85–93). Так, например, в дружеском послании, адресованном А.И. Тургеневу (1817), Пушкин пишет:

Один лишь ты, любовник страстный
И Соломирской, и креста,
То ночью прыгаешь с прекрасной,
То проповедуешь Христа.

(II, 40)

К стиху «И Соломирской, и креста» Пушкин дает каламбурное примечание: «Креста, сиречь не Анненского и не Владимирского — а *честного и животворящего*» (II, 40).

В послании к Ф.Ф. Вигелю (1823) Пушкин играет библейскими образами и мотивами:

Проклятый город Кишинев!
Тебя бранить язык устанет.
Когда-нибудь на грешный кров

Твоих запачканных домов
Небесный гром конечно грянет,
И — не найду твоих следов.
Падут, погибнут пламена,
И пестрый дом Варфоломея,
И лавки грязные жидов:
Так, если верить Моисею,
Погиб несчастливый Содом.
(II, 291)

В Библии так описывается гибель Содома и Гоморры — городов, жители которых «были злы и весьма грешны перед Господом»:

«И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба. И низпроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и все произрастания земли. <...> И встал Авраам рано утром и пошел на место, где стоял пред лицом Господа. И посмотрел к Содому и Гоморре, и на все пространство окрестности, и увидел: вот, дым поднимается с земли, как дым из печи» (Быт. 18, 24–28).

В стихотворении Пушкина сочетание высокого библейского стиля с низким разговорным создает комический эффект. Патетически призывая «гром небесный» на «проклятый город Кишинев», Пушкин далее иронически противопоставляет Кишинеvu Содом, исчисляя достоинства «Парижа Ветхого завета»:

Но с этим милым городком
Я Кишинев равнять не смею,
Я слишком с Библией знаком
И к лести вовсе не привычен.
Содом, ты знаешь, был отличен
Не только вежливым грехом,
Но просвещением, пирами,
Гостеприимными домами
И красотой не строгих дев.
Как жаль, что ранними громами
Его сразил Еговы гнев.

(II, 291)

В.В. Виноградов отметил, что церковнобиблейские образы в послании к Ф.Ф. Вигелю каламбурно и контрастно связаны с «содомским грехом самого адресата. Образы библейской легенды о гибели Содома и Гоморры по инерции вдвигаются и в прозаический стиль письма: “Я пью, как Лот Содомский, и жалею, что не имею с собой ни одной дочки” (Переписка I, 82)» (137, 92).

Нет необходимости умножать подобные примеры пародийных применений библейских образов и мотивов в лирике Пушкина — они приведены в книге В.В. Виноградова. Обратим внимание на истоки таких применений. В.В. Виноградов полагает, что они связаны с французской литературной традицией XVIII

века, с мировоззрением русского вольтерьянца. Отмечает исследователь и традицию арзамасского стиля, пародирующего библейские тексты, традицию, которая дает о себе знать не только в стихотворениях Пушкина конца 1810 — первой половины 1820-х годов, но и в его письмах. Так, в письме к арзамасцу А.И. Тургеневу от 7 мая 1821 года Пушкин пишет: «В руце твои предаюся, отче! Вы, который сближены с жителями Каменного острова, не можете ли вы меня вытребовать на несколько дней (однако ж не более) с моего острова Пафмоса? Я привезу вам за то сочинение во вкусе Апокалипсиса и посвящу вам, вам, христолюбивому пастырю поэтического стада» (XIII, 29). Петербургский Каменный остров пародийно сближен с апокалиптическим Патмосом; обещанное сочинение объявляется во вкусе Апокалипсиса, его сочинитель Пушкин как бы иронически примеряет маску пророка Иоанна Богослова. Новозаветное выражение, включенное в письмо к А.И. Тургеневу, — «В руце твои предаюся, отче!», — есть и в письме Пушкина к арзамасцу В.А. Жуковскому от 17 августа 1825 года — «Отче, в руце твои предаю дух мой» (XIII, 211). В апреле 1824 года Пушкин пишет арзамасцу П.А. Вяземскому: «Повторяю тебе перед Евангелием и святым причатием — что Дмитриев <...> не должен иметь более весу, чем Херасков...» (XIII, 91) (см. также письма Пушкина к А.А. Дельвигу от 25 марта 1821 года,

П.А. Вяземскому от 14 октября 1823 года, А.И. Тургеневу от 14 июля 1824 года и др.).

Заметим, что в письмах Пушкина пародийное переосмысление библейских текстов наиболее часто встречается там, где речь идет о литературе. Арзамасский стиль, пародирующий библейские тексты, также связан преимущественно с литературными темами. Поэтому, на наш взгляд, небезынтересно и стихотворения Пушкина, в которых пародируются библейские мотивы и образы и так или иначе затрагиваются литературные вопросы, рассмотреть прежде всего в контексте арзамасских речей:

Христос воскрес, питомец Феба!
Дай Бог, чтоб милостию неба
Рассудок на Руси воскрес;
Он что-то, кажется, исчез.
Дай Бог, чтобы во всей вселенной
Воскресли мир и тишина,
Чтоб в Академии почтенной
Воскресли члены ото сна;
Чтоб в наши грешны времена
Воскресла предков добродетель;
Чтобы Шихматовым назло
Воскреснул новый Буало —
Расколов, глупости свидетель;
А с ним побольше серебра
И золота et cetera.

Но да не будет воскресенья
Усопшей прозы и стихов.
Да не воскреснут от забвенья
Покойный господин Бобров,
Хвалы газетчика достойной,
И Николев, поэт покойный,
И беспокойный граф Хвостов,
И все, которые на свете
Писали слишком мудрено,
То есть и хладно и темно,
Что очень стыдно и грешно!
(I, 181)

Это стихотворение, написанное в апреле 1816 года, обращено к дядюшке В.Л. Пушкину, принятому в Арзамас в марте этого же года. Несомненно, Пушкин знал о торжественном ритуале, пародирующем обряд приема в масонскую ложу, который был специально придуман для В.Л. Пушкина, и о забавных речах, которые произносились в честь новоявленного члена Арзамаса. Поэтому, думается, не случайно поэтический текст Пушкина, адресованный дяде, ориентирован на поэтику арзамасских речей.

Арзамасцы, «отпевая» живых покойников — членов Беседы любителей русского слова, пародировали надгробные речи, варьировали мотивы «успения», «воскресенья», «забвенья», «вечного сна» применительно к творчеству литературных

противников. Так, например, в речи Д.В. Дашкова, произнесенной на втором ординарном заседании Арзамаса 29 октября 1815 года, говорилось о том, что «беседчики» соорудили «храм, единственный в летописях мира; — священному забвению — и поспешили затвориться в оном», на вратах храма — «таинственная надпись: Сон, смерть и небытие» — «здесь навсегда погребены усопшие чада Беседы и сыны чад ее с усопшими их творениями» (18, 91–92). В надгробной речи А.О. Буниной, сказанной С.С. Уваровым на пятом ординарном заседании 25 ноября 1815 года, журнал «Сын Отечества» был назван «патриотическим кладбищем», на котором «смирненно» покоились некоторые торжественные оды и послания поэтессы (18, 122). В. Л. Пушкин, во вступительной речи в Арзамасе «отпевая» С.А. Ширинского-Шихматова, представил пародийное описание похоронного обряда, сделав «беседчиков» участниками этого обряда, а их произведения — его атрибутами:

«Обратимся, слушатели, к плачевному сему зрелищу. Следуйте за мною в мрачную храмину, обитую Академическими сочинениями, горящие свечи, обернутые в письма скимника» (соч. Ф.П. Львова — *Н.М.*), освещают воздвигнутый усопшему катафалк; «Рассуждение о старом и новом слоге» (соч. А.С. Шишкова — *Н.М.*) служит ему изголовьем; «Рассуждение об одах» («Рассуждение о лирической поэзии или об оде», соч. Г.Р. Державина — *Н.М.*) в деснице его; «Бдения Тассовы» (перевод

с ит. А.С. Шишкова — *Н.М.*), похвальные слова и переводы «Андромахи», «Ифигении» (трагедии Расина, перевод с фр. Д.И. Хвостова — *Н.М.*), «Гамлета» («Гамлет» переделан С.И. Висковатовым — *Н.М.*) и «Китайской сироты» (трагедия Вольтера, перевод с фр. А.А. Шаховского — *Н.М.*) лежат у подножия гроба. Патриарх Халдеев (А.С. Шишков — *Н.М.*) изрыгает корни слов в ужасной горести своей. Он, уныло преклонив седо-желтую главу, машет над лежащим во гробе «Известиями Академическими» и кадит в него «Прибавлением к прибавлениям» («Прибавление к рассуждению о старом и новом слоге русского языка» соч. А.С. Шишкова — *Н.М.*). Он не чувствует, что тем лишь умножается печаль, скука и угрюмость друзей, хладный труп окружающих. Плодовитый творец бесчисленных и бессмысленных од, палач Депрео и Расина (Д.И. Хвостов, переведший «Науку о стихотворстве» Буало-Депрео — *Н.М.*) стоит смиренно перед гробом и, осыпая умершего грязью и табаком, бормочет стихи в похвалу его. <...> Секретарь Беседы (П.И. Соколов — *Н.М.*), ничего никогда не сочинявший и едва знающий грамоте, беснуясь, топает ногами и стучит крючковатую тростью. Толсточревый сочинитель Липецких вод (А.А. Шаховской — *Н.М.*) кропит ими в умершего и тщится согреть его овчинными шубами своими (намек на поэму А.А. Шаховского «Расхищенные шубы» — *Н.М.*). Но все тщетно! Он лежит бездыханен. <...> Стихотворения песнопевца, в которых

столь мало глаголов и столь много пустоглаголанья, останутся навсегда в подвалах Глазунова и Заикина (петербургские книжные лавки — *Н.М.*), останутся на снадение стихожадным крысам, и даже сам патриарх Халдейский забудет о них» (18, 151).

В протоколах Арзамаса летосчисление ведется от Липецкого потопа: библейский образ всемирного потопы пародийно проецировался на литературную ситуацию — появление в 1815 году комедии А.А. Шаховского «Урок кокеткам, или Липецкие воды», направленной против карамзинистов и имевшей шумный успех у публики, вызвало, как известно, в свою очередь поток критических статей и эпиграмм. Арзамасским летосчислением «от липецкого потопы» помечено написанное арзамасским наречием письмо Пушкина, которое адресовано петербургским арзамасцам из Кишинева в 1820 году. Позже, в 1825 году, в арзамасском ключе Пушкин пародийно использует библейский сюжет всемирного потопы в стихотворении «Напрасно ахнула Европа»; поводом к стихотворению послужило петербургское наводнение 1824 года:

Напрасно ахнула Европа,
Не унывайте, не беда!
От петербургского потопы
Спаслась Полярная Звезда.
Бестужев, твой ковчег на бреге!
Парнаса блещут высоты;

И в благотельном ковчеге
Спаслись и люди и скоты.

(II, 386)

Библейские образы потопа, ковчеге, высот, берега, принявшего спасшихся от потопа в ковчеге людей и животных, каламбурно-эпиграмматически освещают журнал А.А. Бестужева «Полярная звезда» и его авторов, двусмысленно-иронически соотнесенных не только с людьми, но и со скотами.

Библейские мотивы и образы подвергаются Пушкиным переосмыслению и в стихотворениях политической тематики. В послании декабристу В.Л. Давыдову 1821 года библейские символы — эвхаристия, спасенья чаша, воскресенье — наполнены политическим смыслом:

Вот эвхаристия другая,
Когда и ты, и милый брат,
Перед камином надевая
Демократический халат.
Спасенья чашу наполняли
Беспенной, мерзлую струей
И за здоровье *тех* и *той*
До дна, до капли выпивали!..
Но *те* в Неаполе шалят,
А *та* едва ли там воскреснет...
Народы тишины хотят,

И долго их ярем не треснет...

(II, 179)

«Те» — итальянские карбонарии, вставшие во главе революционного восстания в Неаполе в июле 1820 года. В марте 1821 года восстание было подавлено. «Та» — политическая свобода.

Ужель надежды луч исчез?

Но нет! — мы счастьем насладимся,

Кровавой чашей причастимся —

И я скажу: «Христос воскрес»

(II, 179)

— так завершил Пушкин это послание, с помощью библейской символики выразив надежду на торжество революции. В то же время — и это отмечалось в исследовательской литературе (292, 535) — в стихах «Народы тишины хотят / И долго их ярмо не треснет» заключена одна из тем иного по настроению стихотворения «Свободы сеятель пустынный», в котором Пушкин также обращается к символике церковных текстов.

Стихотворение «Свободы сеятель пустынный» носит политический и вместе с тем философский характер. Являясь откликом Пушкина на политическую ситуацию 1823 года — поражение испанской революции, торжество реакции в Европе,

оно раскрывает тему трагического одиночества поэта-проповедника свободы, слово которого не доходит до порабощенных народов, не пробуждает их от сна.

Эпиграф к стихотворению «Изыде сеятель сеяти семена своя» Пушкин взял из Евангелия от Матфея (13, 3), где изложена притча о сеятеле. Назвав в письме к А.И. Тургеневу от 1 декабря 1823 года это стихотворение «подражанием басне умеренного демократа Иисуса Христа», Пушкин построил свой поэтический текст во многом полемически заостренно по отношению к евангельскому тексту. Евангельский сеятель — проповедник нравственных истин христианской религии. Пушкинский сеятель — проповедник свободы. В проповеди свободы заключен для поэта высокий нравственный смысл. Он передается в стихотворении с помощью идеализации образа сеятеля: сеятель бросает «живительное семя» в «порабощенные бразды» «рукою чистой и безвинной», отдавая этому деянию «время, благие мысли и труды». Но если евангельский посев, погибнув при дороге, на каменистых местах, в тернии, на доброй земле все же дает всходы, то есть слово Божие все же достигает слышащего и разумеющего это слово, то «порабощенные бразды», поглотив «живительное семя» свободы, всходов не дают.

Но потерял я только время,

Благие мысли и труды...

(II, 302)

«Свободы сеятель пустынный» (в данном случае существенна ассоциация эпитета «пустынный» с библейским выражением «глас вопиющего в пустыне») «вышел рано, до звезды», то есть до восхода Вифлеемской звезды, символизирующей рождение Спасителя. Так Пушкин аллегорически воплощает тему бесплодности и преждевременности проповеди свободы в современной ему действительности. Но этим не исчерпывается содержание стихотворения. «Лирическое я принимает позу гневного оратора, — пишет В.В. Виноградов. — Звучит патетическое обращение к «мирным народам», т. е. к самим «порабощенным браздам». Открывается адресат стихотворения. Лирический монолог превращается в ораторскую речь. Интонация горестного лирического раздумья сменяется тоном едкого упрека. Атмосфера сарказма, жгучей иронии сгущается оттого, что в лексический строй притчи (теперь как бы отделяющейся от церковного языка) вовлекается новый евангельский символ — пасущихся стад, в образе которых Евангелие представляет народы, человечество (например, Матф. 25, 32–34). «Притча о сеятеле сменяется обличением мирно пасущихся стад» (137, 114):

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?

Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.

(II, 302)

(Заметим, что тот же мотив в отрывке «Мое беспечное незнание».)

«Таким образом, — заключает В.В. Виноградов, — евангельские образы риторически перевернуты. В них звучит не только и не столько разочарование «умеренного демократа», сколько едкая ирония революционера, не сумевшего поднять рабов на борьбу за свободу и теперь саркастически рисующего «мирным народам» перспективы их жизни на положении рабочего скота» (137, 114).

Итак, библейские мотивы и образы находят переосмысление в лирике Пушкина 1810 — начала 1820-х гг. В стихотворениях, так или иначе отражающих литературную тематику, вопросы литературной борьбы, каламбурная, пародическая игра библейскими мотивами и образами в значительной степени связана с арзамасским красноречием. Пушкин обращается к библейским текстам и для заостренного выражения определенного политического содержания, подсказанного современностью. Кроме того, уже в этот период Пушкин открывает для себя возможность воплощения философской тематики с помощью библейских образов и мотивов,

воплощения темы поэта-проповедника, которая будет раскрываться им на протяжении всего творчества.

2. «ГЛАГОЛОМ ЖГИ СЕРДЦА ЛЮДЕЙ!»

Образ поэта-пророка в лирике Пушкина нашел наиболее яркое воплощение в стихотворении «Пророк» (1826). В исследовательской литературе неоднократно отмечалась связь пушкинского образа с поэтической традицией, идущей от Г.Р. Державина, продолженной поэтами-декабристами, широко использовавшими библейский образ пророка для утверждения политической миссии поэзии, высокого гражданского назначения поэта — смелого обличителя общественного зла (116, 300; 164, 315-316; 281, 311–313). Со стихотворением Пушкина «Пророк» сопоставлялись стихотворения Ф.Н. Глинки «Призвание Исайи» (1822), В.К. Кюхельбекера «Пророчество» (1822), выявлялись их отдельные текстовые совпадения и параллели; при этом указывалось на своеобразие пушкинской трактовки образа поэта-пророка. Пушкин сосредоточил свое внимание не только на общественном назначении поэта, но и на его художественном видении мира. На наш взгляд, в данном случае следует обратиться прежде всего к библейскому источнику пушкинского стихотворения, ибо не только поэтическую, но и в первую очередь

библейскую традицию творчески преобразует Пушкин, используя выразительные возможности библейского стиля.

В Книге пророка Исаяи говорится:

«В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз Его наполняли весь храм. Вокруг Его стояли Серафимы: у каждого из них по шести крыл; двумя закрывал каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И зывали они друг к другу, и говорили: свят, свят, свят, Господь Саваоф! и вся земля полна славы Его! И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями: И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, — и глаза мои видели Царя, господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника. И коснулся уст моих, и сказал: вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто пойдет для Нас? И я сказал: вот я, пошли меня. И сказал Он: пойди и скажи этому народу: слухом услышите, и не уразумеете, и очами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтоб я исцелил их. И сказал я: надолго ли, Господи? Он сказал: доколе не

опустеют города, и останутся без жителей, и дома без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет. И удалит Господь людей, и великое это запустение будет на этой земле. И если еще останется десятая часть на ней, и возвратится, и она опять будет разорена: но как от теревинфа и как от дуба, когда они и срублены, остается корень их, так святое семя будет корнем ея» (Ис. 6, 1–13).

«В “Пророке” тема развита из нескольких библейских стихов, в которых, впрочем, совпадает с пушкинским стихотворением только внешний образ ангела с горящим углем, найденным им в книге пророка Исайи» (293, 501), — писал Б.В. Томашевский. Среди «подробностей, прямо перешедших в пушкинское стихотворение», Н.Л. Степанов также отмечает лишь явление шестикрылого Серафима, «уголь горящ» в его руке, прикосновение им к устам пророка (281, 320). Между тем представляется, что связь пушкинского стихотворения с мотивами и образами приведенного библейского текста более широка и многопланова.

В Библии пророк Исайя должен идти к народу, уши которого не слышат, сомкнутые очи не видят. В стихотворении Пушкина таким невидящим и неслышащим предстает человек до превращения его в пророка: преобразуя природу человека, посланник Бога — шестикрылый Серафим — наделяет его тонким слухом, зорким зрением («отверзлись вещие зеницы» — т. е. открылись сомкнутые прежде глаза). Пушкин как бы

отталкивается от мотивов, заявленных в библейском тексте, связывает их не с народом, а с пророком и далее разворачивает их в ряд поэтических образов: наделенный новым слухом пророк внимлет... «неба содроганье, / И горний ангелов полет, / И гад морских подводный ход, / И дольней лозы прозябанье»; наделенный новым зрением, он видит подобно орлице.

В Библии Серафим, прикоснувшись к устам Исаяи пылающим углем, очищает его от греха. Мотив нравственного очищения есть и в стихотворении Пушкина: «И вырвал грешный мой язык», / И празднословный, и лукавый».

Пушкин соединяет в своем стихотворении несвязанные между собой в Библии образы пылающего угля и сердца: вместо сердца Серафим вдвигает в грудь пророку «уголь, пылающий огнем», и далее Пушкин еще раз использует этот образ — его пророк, наделенный пылающим сердцем, видящий, слышащий и мудро понимающий мир, призван Богом глаголом жечь сердца людей (в Библии говорится о том, что сердце народа огрубело, сердцем не уразумеют люди слово Бога, не узрят и не услышат):

«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнишь волею моею,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».

(III, 31)

Как и в Библии, в стихотворении Пушкина повествование ведется от лица пророка. Это риторический монолог, густо насыщенный церковнославянизмами: «персты», «десница», «жало мудрыя змеи», «горний ангелов полет», «дольней лозы прозябанье» и др. — с их помощью Пушкин воссоздает лексический строй библейского текста.

Пушкин сохраняет общую композиционную схему библейского рассказа (явление Серафима, некое преобразование пророка, глас Бога, посылающего пророка к людям). Но при этом Пушкин переосмысляет эту схему, наполняет ее иным содержанием, изменяет композиционное соотношение отдельных частей.

В Библии две первые части рассказа — описание престола Господа и окружающих его серафимов, изображение очищения Исайи от греха пылающим углем — примерно равновелики. Третья часть рассказа — обращение Бога к Исайе — отличается наибольшей протяженностью.

В стихотворении Пушкина в четырех первых стихах дана краткая экспозиция повествования: вместо описания — драматическое действие, явление Серафима. Центральную часть стихотворения занимает драматический рассказ о преобразении человека в пророка, о изменении всех его свойств — слуха, зрения, речи, сердца. И заключение такое же краткое и энергичное, как

вступление — слова Бога, обращенные к пророку, призывающие его к выполнению высокой миссии «глаголом жечь сердца людей».

В отличие от библейского текста, Пушкин связывает воедино все части своего стихотворения; мотивы слуха, зрения, речи, сердца, развитые в центральной части, получают, как мы уже отмечали, новое осмысление в заключительных стихах.

В построении «Пророка» Пушкин использовал приемы церковнобиблейского синтаксиса. Подробный анализ этих приемов дан В.В. Виноградовым (137, 132–137). Специальное внимание исследователь уделил функции союза «и»: «Именно он, этот союз, в строгую симметрию образов “Пророка”, в библейски размеренную последовательность его семантического и синтаксического течения вносит эмоциональную напряженность, многообразие лирического волнения» (137, 135).

Н.И. Черняев, анализируя стихотворение «Пророк», соотносил его не с Библией, а с Кораном: «Пророк Пушкина не безымянный и никому не ведомый пророк, а Магомет, которого исповедники Ислама называют просто пророком или последним пророком» (313, 22). В самом деле, с пушкинским стихотворением может быть соотнесено событие в жизни Магомета: на четвертом году его жизни к нему явился архангел Гавриил, вынудив у Магомета сердце, он очистил сердце от скверны и наполнил верой, знанием и пророческим светом (313, 33). Это должно быть учтено при изучении «Пророка» (303, 176). Однако пушкинский пророк —

поэтический образ, художественное обобщение, а не «портрет» того или иного пророка. В данном случае существен не тот или иной «прототип» из Библии или Корана, а те поэтические возможности, которые были связаны не только с конкретным библейским текстом, но и с библейским стилем, и именно их творчески использовал Пушкин в своем стихотворении. Заметим, что с библейским стилем связаны и пушкинские «Подражания Корану», в которых совмещаются коранические и библейские мотивы (303, 119–120).

Стихотворение «Пророк» было подготовлено предшествующей лирикой Пушкина.

Об отзывчивости на разнообразные явления бытия, присущей поэту-пророку, говорится в «Разговоре книгопродавца с поэтом» (1824):

Все волновало нежный ум:
Цветущий луг, луны блистанье,
В часовне ветхой бури шум,
Старушки чудное преданье.

<...:>

В гармонии соперник мой
Был шум лесов, иль вихорь буйный,
Иль иволги напев живой,
Иль ночью моря гул глухой,
Иль шепот речки тихоструйной.

(II, 325)

В «Разговоре книгопродавца с поэтом» романтический образ поэта, свободного и одинокого, противостоящего толпе, «презренной черни», связан с поэтическими атрибутами пророка: вдохновение названо «призраком Бога», слава соединена с мученическим терновым венцом — «и терном славы не увитый».

Идея высокого назначения поэта-пророка, призванного Богом «глаголом жечь сердца людей», была высказана Пушкиным в «Подражаниях Корану» (1824):

Не я ль в день жажды напоил
Тебя пустынными водами?
Не я ль язык твой одарил
Могучей властью над умами?

Мужайся ж, презирай обман,
Стезю правды бодро следуй,
Люби сирот, и мой Коран
Дрожащей твари проповедуй.

(II, 352)

Исследователями отмечалась творческая переработка Пушкиным ХСШ суры Корана, в частности введение мотива «могучей власти» языка пророка «над умами людей» (308, 89; 293, 21).

Образ поэта, исполненного мужества перед лицом смерти, верного до конца своим убеждениям, был создан Пушкиным в элегии «Андрей Шенье» (1825). Пушкин наделил своего героя-поэта пророческим даром — способностью предвидеть будущее. Андрей Шенье предсказывает грядущее торжество «священной свободы» — «богини чистой», близкую гибель заточившего его «мощного злодея», бессмертие в своих творениях:

Я скоро весь умру. Но, тень мою любя,
Храните рукопись, о други, для себя!
Когда гроза пройдет, толпою суеверной
Сбирайтесь иногда читать мой свиток верный,
И, долго слушая, скажите: это он;
Вот речь его. А я, забыв могильный сон,
Взойду невидимо и сяду между вами,
И сам заслушаюсь, и вашими слезами
Упьюсь...

(II, 399–400)

К образу поэта-пророка, во многом автобиографическому (этому вопросу посвящена статья Н.В. Фридмана — 308), Пушкин обращался в конце 1820 — начале 1830-х годов, в новых исторических условиях развивая и обогащая связанные с этим образом мотивы. Так, мотив «божественного глагола», высокого

предназначения поэта-пророка дает о себе знать в стихотворениях «Поэт» (1827), «Поэт и толпа» (1828), «Поэту» (1830):

Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта вострепнется,
Как пробудившийся орел.
(«Поэт», III, 65)

Нет, если ты небес избранник,
Свой дар, божественный посланник,
Во благо нам употребляй:
Сердца собратьев исправляй.
(«Поэт и толпа», III, 142)

И ты доволен им, божественный
художник?
(«Поэту», вариант III, 828)

Пушкин пишет о «благородном подвиге» поэта, мужественно и бескорыстно выполняющего свою миссию, о его внутренней свободе, о его трагическом одиночестве в толпе непонимающей его черни.

Примечательно, что к стихотворению «Поэт и толпа» Пушкин хотел первоначально взять эпиграфом слова из Книги Иова: «Послушайте глагол моих» (13, 17). Как полагает

Б.С. Мейлах, этим эпиграфом «поддерживается связь стихотворения “Поэт и толпа” с ключевым образом “Поэта” и “Пророка”» (212, 55). «Известно, какую большую роль Пушкин придавал эпиграфам в качестве своеобразного камертона, направляющего слушателя на определенное восприятие произведения, — пишет далее исследователь. — Эпиграф из Иова в этом отношении знаменателен. Образ многострадального Иова, доблестного мужа и судьи людей, поднят в ветхозаветной поэме до пророческого обличения всемирного зла» (212, 55–56). Эпиграф «проясняет замысел стихотворения не только как “защитительного” перед судом светской черни: поэт гневно обличает враждебную толпу “клеветников”, “рабов”, “глупцов” (в черновике есть и другие эпитеты — “тираны”, “подлецы”, “грабители”)» (212, 56).

Библейский образ пророка, с которым сравнивается поэт, находит своеобразное воплощение в незавершенном послании к переводчику «Илиады» Н.И. Гнедичу «С Гомером долго ты беседовал один» (1832). Мир поэта сопоставлен с библейским миром пророка Моисея. Гомер — бог поэзии (сравним в «Евгении Онегине» — «божественный Омир <»; в стихотворении «На перевод Илиады» — «Слышу божественный звук умолкнувшей эллинской речи >»), с Гомером на «таинственных вершинах» беседует поэт-пророк, его поэтическое творение — «скрижали», данные Богом. Сюжет первой части стихотворения следует за библейским

рассказом; пророк Моисей спустился с горы Синай со скрижалями, которые «были дело Божие», услышал голоса поющего народа, увидел созданного народом золотого тельца, вокруг которого плясали и пели, которому поклонялись:

С Гомером долго ты беседовал один,
Тебя мы долго ожидали,
И светел ты сошел с таинственных вершин,
И вынес нам свои скрижали.
И что ж? ты нас обрел в пустыне под шатром
В безумстве суетного пира,
Поющих буйну песнь и скачущих кругом
От нас созданного кумира.

(III, 286)

Далее Пушкин неожиданно отказывается от аналогии своего поэтического сюжета с библейским сюжетом. Если библейский пророк проклинает людей, разбивая в гневе свои скрижали, то пушкинский поэт-пророк иной:

Смутились мы, твоих чуждался лучей,
В порыве гнева и печали
Ты проклял ли, пророк, бессмысленных детей,
Разбил ли ты свои скрижали?
О, ты не проклял нас...

(III, 286)

Продолжая заявленный в стихотворении «Пророк» мотив отзывчивости поэта на все явления бытия, Пушкин в стихотворении «С Гомером долго ты беседовал один» освещает эту отзывчивость поэта-пророка всеобъемлющей любовью к миру, бесконечно разнообразному в своих проявлениях:

...Ты любишь с высоты
Скрываться в тень долины малой.
Ты любишь гром небес, но также внемлешь ты
Жужжанью пчел над розой алой.
(III, 286)

Стихотворение «С Гомером долго ты беседовал один» многопланово. В нем заключен глубокий вневременной философский смысл. Вместе с тем оно связано и с конкретной исторической ситуацией, сложившейся после 14 декабря 1825 года (окончанием перевода «Илиады» Н.И. Гнедич считал 15 октября 1826 года), имеет еще и определенные политические аллюзии; применением к Н.И. Гнедичу образа пророка определяется его заметная роль в общественно-литературном движении 1820-х годов (212, 213–221). В данном случае, в частности, заслуживает внимания следующее указание Б.С. Мейлаха: «Знаменитая речь Гнедича о назначении поэта (1821) своей направленностью и терминологией перекликается с соответствующими положениями

устава “Союза благоденствия” — о роли слова, литературы и просвещения. Символика этой речи близка той, которую Пушкин использовал в стихотворении “С Гомером долго ты беседовал один”. Речь Гнедича выдержана в тоне поучений библейских пророков. О писателях он говорит: “...да будут они чисты сердцем, как служители божества, или те, которые приближаются к священным алтарям его”. Дело писателя определяется как “подвиг”» (211, 218).

Тема поэта-пророка завершается в лирике Пушкина стихотворением «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» (1836).

Пушкин пророчески предрекает свое бессмертие:

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит —
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

<...>

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал.
Что в мой жестокий век восславил я Свободу
И милость к падшим призывал.

Мотив «веленья Божия», связанный с образом поэта-пророка, завершает стихотворение:

Веленью Божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспаривай глупца.

(III, 424)

В.С. Листовым было высказано предположение о том, что стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» может быть соотнесено с текстом Апокалипсиса: пушкинский образ «нерукотворного памятника» находит свою аналогию в апокалиптическом образе «Нерукотворного столпа» (Откр. 3, 11–12); мотив бессмертия «души в заветной лире» перекликается с мотивом бессмертия Иоанна Богослова (Откр. 1, 11), а топоним «Каменный остров», которым подписано пушкинское стихотворение, соотносится со скалистым островом Патмосом в Эгейском море, куда был изгнан христианский проповедник (198). Разумеется, апокалиптические мотивы, отмеченные исследователем, не противоречат горацянско-державинской традиции, сказавшейся в стихотворении Пушкина, а лишь расширяют его культурно-исторический контекст и тем самым дополняют наши представления о глубине заключенного в нем философского смысла.

3. «МОЙ СВОБОДНЫЙ ГЛАС»

Стихотворение «Пророк» явилось откликом на восстание декабристов, своеобразным манифестом Пушкина. В условиях последекабрьских лет, в годы наступившей реакции он не утратил веру в силу слова, воздействующего на умы и сердца людей. В стихотворениях, адресованных декабристам — «И.И. Пущину» («Мой первый друг, мой друг бесценный») (1826), «19 октября 1827» («Бог помочь вам, друзья мои») (1827), «Во глубине сибирских руд» (1827), и в стихотворениях, так или иначе обращенных к Николаю I — палачу и гонителю «друзей, братьев, товарищей» — «Стансы» («В надежде славы и добра») (1826), «Герой» (1830), «Пир Петра Первого» (1835) Пушкин риторически организует поэтический текст, использует возможности звучащего слова, выступает как оратор, убеждающий разум слушателей, трогающий их чувства, подвигающий их на действие. Конечно, выделить в названных стихотворениях Пушкина тот или иной ораторский жанр в его «чистом» виде не представляется возможным. В них есть лишь ориентация на определенные ораторские жанры, которая сказывается в тематике, мотивах и образах, композиционных и стилевых особенностях стихотворений.

В «Стансах» Пушкин обращается к традиции похвальных слов, адресованных монарху, которые вместе с тем заключали в

себе наставление царю. С такими «Словами» обращался Феофан Прокопович к Петру I, М.В. Ломоносов к Екатерине II. С таким «Словом» обращается Пушкин к Николаю I в начале его царствования. Собственно, похвалы царю в этом стихотворении нет, есть лишь наставление, это стихотворение заключающее:

Семейным сходством будь же горд;
Во всем будь прашуру подобен:
Как он, неутомим и тверд,
И памятью, как он, не злобен.

(III, 40)

Все стихотворение построено как своеобразное изложение политической программы нового царствования. Историческая параллель между началом правления Николая I, казнившего декабристов, и «началом славных дней Петра», омраченном мятежами и казнями, в свете последующих заслуг Петра I перед Россией, о которых напоминает поэт новому царю, обосновывает высказанную в первом стихе стихотворения «надежду славы и добра».

В стихотворении «Герой» условная авторская датировка «29 сентября 1830, Москва» (дата приезда Николая I в холерную Москву) создает второй план, намечает сопоставление Николая I с Наполеоном, посетившим, согласно легенде, чумной госпиталь в Яссах. Слова Поэта: «Оставь герою сердце! Что же / Он будет без него? Тиран...» и заключительная реплика Друга: «Утешься...»

адресованы не только читателю вообще, но и венценосному читателю Николаю I, выражают не только глубокую философскую мысль, но и надежду на освобождение декабристов. Не случайно вскоре после создания стихотворения «Герой» Пушкин писал П.А. Вяземскому: «Каков государь? Молодец! Того и гляди, что наших каторжников простит — дай Бог ему здоровье» (XIV, 122).

Наставление Николаю I есть и в стихотворении «Пир Петра Первого» — этим стихотворением, в котором, по-видимому, не случайно есть отзвуки думы К.Ф. Рылеева «Петр Великий в Острогжске» (305, 365), Пушкин декларативно открывал первую книжку своего журнала «Современник». Наставление выражено в риторической форме. Риторические вопросы «Что пирует царь великий / В Петербурге — городке? — Отчего пальба и клики / И эскадра на реке?» продолжены цепью опять-таки риторических вопросов, в которых предложены возможные варианты ответов:

Озарен ли честью новой
Русской штык иль русской флаг?
Побежден ли швед суровый?
Мира ль просит грозный враг?

Иль в отъятый край у шведа
Прибыл Брантов утлый бот,
И пошел навстречу *деда*
Всею семьею наш юный флот,

И воинственные внуки
Стали в строй пред стариком,
И раздался в честь науки
Песен хор и пушек гром?

Годовщину ли Полтавы
Торжествует государь,
День, как жизнь своей державы
Спас от Карла русский царь?
Родила ль Екатерина?
Именинница ль она,
Чудотворца-исполина
Чернобровая жена?

(III, 408–409)

На все эти вопросы поэт дает лишь один ответ:

Нет! Он с подданным мирится;
Виноватому вину
Отпуская, веселится;
Кружку пенит с ним одну;
И в чело его целует,
Светел сердцем и лицом;
И прощенье торжествует,
Как победу над врагом.

(III, 409)

Так, используя риторические приемы, Пушкин еще раз напоминал Николаю I о необходимости простить декабристов.



Все мы желаем, все мы ищем образования отечественного, не того, которое рождается от гордого умствования и порождает беззаконие, но того, которое ведет к познанию всех наших обязанностей гражданских и духовных. *Речь в Киевском отделении Библейского общества 11 августа 1819 года.*



В. К. Кюхельбекер
Гравюра И. Матюшина. 1888

Древний славянский язык превратился в русский в свободной стране; в городе торговом, демократическом, богатом, любимом, грозном для своих соседей, этот язык усвоил свои смелые формы, инверсии, силу — качества, которые без подлинного чуда не могли бы никогда развиваться в поработенной стране. И никогда этот язык не терял и не потеряет память о свободе, о верховной власти народа, говорящего на нем. *Речь о русской литературе и русском языке, прочитанная в Париже в июне 1821 года.*



Ф. Н. Глинка
Литография К. Бегрова. 1821

Да будет между нами слово *мы* общим соединителем
всех трех личных местоимений! *Речь на годовичном собрании
Вольного общества любителей российской словесности 29
декабря 1824 года.*



Бог создал всех нас равными и, сошедши на землю, избрал апостолов из простого народа, а не из знатных и царей. *Православный катехизис. 1825.*

Установка на ораторскую речь есть и в стихотворениях, обращенных к ссыльным декабристам. Слово, которое посылает поэт в «каторжные норы», осмысливается им как звучащее слово — «мой свободный глас» (первый вариант, оставшийся незачеркнутым, в наиболее авторитетном списке стихотворения «Во глубине сибирских руд», написанном И.И. Пущиным, — «мой призывный глас» — III, 590). Но если стихотворения, обращенные к Николаю I, содержат наставления, поучения, то применительно к посланию «В Сибирь» и к посланию «И.И. Пущину» («Мой первый друг, мой друг бесценный») допустимо, на наш взгляд, высказать предположение, что они написаны с ориентацией на такие жанры, как проповедь, молитва. Об этом в известной мере свидетельствует вкрапленная в поэтический текст стихотворений церковнославянская лексика («святое провиденье», «глас» и др.), грамматические формы архаического типа — восходящее, как отмечено В.В. Виноградовым, к церковнокнижному стилю употребление частицы-союза «да» в императивно-целевой конструкции (137, 121–122):

Молю святое провиденье:
Да голос мой душе твоей
Дарует то же утешенье,
Да озарит он заточенье
Лучом лицейских ясных дней!

(III, 39)

Сравним: «Молитесь же вы так: Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое;

Да приидет царствие Твое; да будет воля Твоя, и на земли, как на небеси...» (Евангелие от Матфея).

Есть у Пушкина и характерное для церковной риторики употребление союза «и» с присоединительно-повествовательным и усилительно-эмоциональным значением (137, 124–125):

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут — и свобода
Вас примет радостно у входа
И братья меч вам отдадут.

(III, 49)

Сравним: «И крестившись, Иисус вышел тотчас из воды; и се отверзлись над Ним небеса, и Иоанн увидел Духа Божия, сходящего, как голубь, и грядущаго на Него;

И се глас с небес глаголющий: сей есть сын Мой возлюбленный, в коем все мое благоволение» (Евангелие от Матфея).

Мотив утешения, присущий жанру проповеди, обращенной к страждущей пастве в години тяжелых испытаний и народных бедствий, открыто заявленный в послании «И.И. Пущину», есть и в послании «В Сибирь». В нем звучит не только утверждение высокой миссии декабристов, их значения для грядущего России, но и утешение страдальцев, вера и надежда на их освобождение. И

то и другое воспринималось современниками. Если «Ответ» (1828) А. Одоевского свидетельствует о том, что декабристов прежде всего воспламенила энергия действия, заключенная в пушкинском слове, то французский перевод стихотворения Пушкина, сделанный в 1858 году Е.П. Ростопчиной* для А. Дюма-отца, посетившего в это время Россию, позволяет говорить о том, что ею воспринимались главным образом мотивы утешения и сострадания — именно они были развиты в выполненном А. Дюма на основе ее текста стихотворном переводе на французский язык послания «В Сибирь» (98, 426). Если А. Одоевский опирался в своем «Ответе» на включенные Пушкиным в текст стихотворения слова-сигналы «оковы», «темницы», «меч», вызывающие тираноборческие ассоциации, то А. Дюма строил свою поэтическую вариацию на тему пушкинского послания на словах-сигналах «терпение», «надежда», «любовь», «братья», раскрывал их в риторической традиции утешающей проповеди:

* Перевод приведен в статье М.П. Алексеева «К тексту стихотворения “Во глубине сибирских руд”» (98, 423.)

Милосердие небес, друзья, неистоимо:

Бог видит ваш труд и сочтет ваши слезы,

<...>

Она (любовь) войдет, благоговейная, в вашу могилу,

И, ведя ее на шум ваших благородных оков,

Моя муза встряхнет своими голубиными крылами
Над вашими мученическими лбами, кровоточащими,
но все гордыми.

Утешающим голосом она скажет вам: «Братья,
Вы меня узнаете? Я пришла к вам, я здесь,
Это уже не обманчивый луч надежды,
Это святая свобода, она приближается, вот она».

(Пер. с фр.)

Как справедливо писал М.П. Алексеев, А. Дюма сумел «придать всему переводу религиозно-дидактический колорит, а декабристов превратить в христианских мучеников» (98, 427). Безусловно, такая интерпретация послания «В Сибирь» не адекватна пушкинскому тексту во всей его многозначности. В данном случае она привлекла наше внимание как свидетельство восприятия лишь того поэтического смысла стихотворения Пушкина, который, возможно, восходит к жанрам церковного красноречия.

Ориентация Пушкина в послании «В Сибирь» на ораторское слово, на жанры церковного красноречия ставит нас перед необходимостью рассмотреть стихотворение не только в контексте поэзии, но и в контексте ораторской прозы пушкинского времени — прежде всего тех ораторских текстов и в первую очередь церковных речей, в которых отразилась тема декабрьского восстания. До сих пор эти речи не привлекали специального

внимания исследователей. Между тем они представляют, на наш взгляд, несомненный интерес — и как документы эпохи, отражающие официальную точку зрения на восстание декабристов, и как тот ораторский фон, на котором стихотворение Пушкина воспринималось его современниками.

Тема 14 декабря, насколько нам известно, не была особой темой церковных проповедников — она затрагивалась, главным образом, в речах по случаю коронации Николая I. Упоминались события декабрьского восстания и в словах, произносимых на день его рождения. Так, в «Речи Благочестивейшему Государю Императору Николаю Павловичу, пред вступлением Его Величества в Успенский Собор для священного Коронования и Миропомазания, говоренной августа 22 дня 1826 г.» митрополит Филарет рассуждал о том, что Николаю I, подобно царю Соломону, досталось очищать от плевел землю, разумея под плевелами мятежников (84, 451). В «Слове в день Возшествия на Всероссийский Престол Его Императорского Величества, Благочестивейшего Великого Государя Императора Николая Павловича», произнесенном в кафедральном соборе 1831 года ноября 20 дня архиепископом Вятским Кириллом, говорилось:

«Сынове России! мы не помрачим светлости настоящего дня, если обновим в уме то буйное шатание недостойных сынов Отечества, которые возмечтали противустать Царственной Власти при самом вступлении на Престол Монарха нашего, если

вспомняем, как они в упоении гордости помышляли в себе: разорвем узы, свергнем с себя иго самодержавной Власти, учредим республиканский образ правления; и рука наша будет господствовать над обширнейшим в свете царством! Ибо Оправданный Господом царствовать над нами поразил их жезлом железным, сокрушил их как сосуды скудельничи...» (41, 117).

Церковные ораторы в проповедях ставили своей задачей наставление слушателей в истинах христианской религии, укрепление их в вере и верности престолу, прославление Николая I и унижение тех, кто дерзнул покуситься на основы самодержавной власти. В значительной мере церковные проповедники опирались и развивали основные положения Высочайшего Манифеста от 13 июля 1826 года, в котором декабристы были объявлены «горстью извергов», «злонамеренными преступниками», умысел которых заразил «сердца развратные и мечтательность дерзновенную» (54, 2351).

В речах, звучащих в церкви, декабристы обвинялись в «гордости, превозношении, презорстве», «хищничестве и вероломстве» (61, 65) и в конечном счете — в предательстве Отечества. «Есть ли в служении Царю и царству явно поставляют личную честь и выгоду, к чему такое стремление приведет удобнее, к пожертвованию ли собою Отечеству, или, напротив, к пожертвованию себе Отечеством!» (84, 304), — вопрошал митрополит Филарет в «Слове в день рождения

Благочестивейшего Государя Императора Николая Павловича всея России, говоренном в Кафедральной церкви Чудова Монастыря, июня в 25 день, 1826 года» — в этом «Слове» первый день царствования Николая I был объявлен «днем спасения царственного благоустройства от разрушительного вихря злобы, который внезапно исторгся было из пропастей безумия» (84, 295).

На фоне подобных обвинений обращенные к декабристам строки из послания «В Сибирь»

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье

(III, 49)

(вариант многих списков — «и душ высокое стремленье» — III, 590) приобретали особый смысл. Слово Пушкина опровергало обвинения церковных ораторов, утверждало величие исторического дела первых русских революционеров, высоту их нравственных помыслов. Острота пушкинского текста должна была, как нам представляется, тем более ощущаться современниками, так как послание «В Сибирь», как было нами отмечено выше, ориентировано на жанры именно церковного красноречия. При этом небезынтересно указать на то, что в стихотворение Пушкина включен оборот проповеди, адресованной Николаю I, — у Пушкина он переадресован декабристам.

Сравним:

Несчастью верная сестра,
Надежда в мрачном подземелье
Разбудит бодрость и веселье...

(III, 49)

(вариант ростопчинского списка — «Возбудит радость и веселье» — III, 439).

«...да процветает радость и веселие во всем его (Николая I — *Н.М.*) достоянии» (41, 26).

И если в проповедях говорилось о том, что Николай I «проливает свет евангельского учения в самые мрачные твердыни узников» (41, 121), то Пушкин в «мрачное подземелье», «сквозь мрачные затворы» посылал надежду, любовь и дружество, в «каторжные норы» посылал свой «свободный глас». Так сопоставление текста послания «В Сибирь» с текстами церковных речей, в которых нашла отражение тема 14 декабря 1825 года, позволяет раскрыть еще один, по-видимому, понятный читателям XIX века, но утраченный нами полемический смысл поэтического слова Пушкина — поэта, гражданина и оратора.

4. «ОСТАВЬ ГЕРОЮ СЕРДЦЕ...»

Творческая история стихотворения «Герой», как известно, связана с реальной ситуацией — приездом Николая I в холерную Москву. На это намекает условная авторская датировка произведения — «29 сентября 1830, Москва». Принимая во внимание эту дату при изучении стихотворения, разумеется, «не нужно бы забывать, — как справедливо писал В.А. Грехнев, — что пушкинский «Герой», как всякое гениальное произведение, живет внутренними художественными законами, самодвижением поэтической идеи, а не «поводом к написанию» (156, 99). Вместе с тем изучение исторических и в первую очередь литературных событий и фактов, так или иначе с поводом к написанию соотносящихся, может расширить наше представление о возникновении и развитии поэтической идеи пушкинского текста, его многозначности. Об этом свидетельствует статья В.С. Листова, который, привлекая материал газеты «Московские ведомости» и бюллетеня «Ведомость о состоянии города Москвы», выдвинул предположение о том, что чтение публикации М.П. Погодина об отъезде Николая I из Москвы 7 октября в «Ведомости...» от 9 октября 1830 года «...могло стать исходной точкой пушкинских размышлений, ведущих в конце концов к строкам “Героя”» (197, 144). О своеобразном диалоге Пушкина с М. П. Погодиным в стихотворении «Герой» и, в частности, о поэтическом отклике

Пушкина в этом стихотворении на публикацию М.П. Погодина, помещенную в бюллетене № 7 от 29 сентября 1830 года, т. е. в день приезда Николая I в Москву, писал ранее И.М. Тойбин (288, 99; 289, 40–41). Думается, однако, что газета «Московские ведомости», которую внимательно читал Пушкин в болдинском заточении — по его словам, это был единственный доходящий до него журнал (письмо Пушкина к М.П. Погодину от октября-ноября 1830 года — XIV, 121), а также бюллетень «Ведомость о состоянии города Москвы» дают основания и для других наблюдений и гипотез.

На страницах бюллетеня № 9 от 1 октября 1830 года, перепечатанного «Московскими ведомостями» № 80 от 4 октября 1830 года, был опубликован текст, который не привлек внимания исследователей. Однако, на наш взгляд, он представляет несомненный интерес в связи с изучением стихотворения «Герой». Приведем этот текст полностью:

«Речь Благочестивейшему Государю Императору Николаю Павловичу пред Высочайшим вшествием в Большой Успенский собор в 29 день сентября 1830 года, говоренная Синодальным Членом Филаретом, Митрополитом Московским.

Благочестивейший Государь!

Цари обыкновенные любят являться Царями славы, чтобы окружать себя блеском торжественности, чтобы принимать почести. Ты являешься ныне среди нас, как Царь подвигов, чтобы

опасности с народом Твоим разделять, чтобы трудности препобеждать*. Такое Царское дело выше славы человеческой, поелику основано на добродетели Христианской. Царь Небесный провидит сию жертву сердца Твоего, и милосердно хранит Тебя, и долготерпеливо щадит нас. С крестом сретаем Тебя, Государь, да идет с Тобою воскресение и жизнь» (83, 3559).

* «Сие относится к мерам предосторожности против распространения возникшей болезни» (83, 3559). — Примеч. в МВ.

Нельзя не заметить в речи митрополита Филарета мотивы, перекликающиеся с пушкинским текстом. Здесь и слава, и превышающий человеческую славу подвиг государя, разделившего смертельную опасность со своим народом, и сердце государя, на это его подвигнувшее, и воздаяние неба за содеянное, и утешение страждущим.

Любопытно, что мысли, высказанные в речи митрополита Филарета в связи с приездом Николая I в холерный город, были близки и мыслям П.А. Вяземского, который писал 6 октября 1830 года в записной книжке:

«Приезд государя в Москву есть точно прекраснейшая черта. Тут не только небоязнь смерти, но есть и вдохновение, и преданность, и какое-то христианское и царское рыцарство, которое очень к лицу владыке. Странное дело, мы встретились мыслями с Филаретом в речи его государю. На днях, в письме к

Муханову, я говорил, что из этой мысли можно было бы написать прекрасную статью журнальную. Мы видали царей и в сражении. Моро был убит при Александре, это хорошо, но тут есть военная слава, есть *point d'honneur* (дело чести, фр. — *Н.М.*), нося военный мундир и не скидывая его никогда, показать себя иногда военным лицом. Здесь нет никакого упоения, нет славолюбия, нет обязанности: выезд царя из города, объятого заразой, был бы, напротив, естествен и не подлежал бы осуждению. Следовательно, приезд царя в таковой город есть точно подвиг героический. Тут уже не близ царя близ смерти, а близ народа близ смерти» (149, 196).

П.А. Вяземский, насколько нам известно, так и не написал журнальной статьи на тему, заявленную в речи митрополита Филарета. Пушкин написал стихотворение «Герой», и не исключено, что чтение речи митрополита Филарета могло дать толчок творческой мысли Пушкина.

В стихотворении «Герой» поэт, следуя в значительной мере композиции речи митрополита Филарета, проецируя событие московской жизни — приезд Николая I в холерный город — на предание о Наполеоне, посетившем чумной госпиталь в Яссах, развивает, как бы раскрывает в живописных картинах и образах то, что лишь пунктиром намечено церковным оратором, во многом обогащает и переосмысляет исходный ораторский текст, переводит его в план философской поэзии. Так, например, если в речи

митрополита Филарета — лишь констатация появления царя среди народа в минуту опасности и оценка этого факта как подвига, то у Пушкина факт (независимо от того, принадлежит ли он подлинной истории или легенде) живописуется, становится картиной, сами подробности которой, отдельные детали свидетельствуют о высоком подвиге героя:

Не та картина предо мною!
Одров я вижу длинный строй,
Лежит на каждом труп живой,
Клейменный мощною чумою,
Царицею болезней... он,
Не бранной смертью окружен,
Нахмурясь, ходит меж одрами
И хладно руку жмет чуме,
И в погибающем уме
Рождает бодрость...

(III, 252)

Если у митрополита Филарета заявлен мотив сердца государя (его подвиг назван «жертвой сердца»), то у Пушкина этот мотив наполняется принципиально иным философским и политическим смыслом:

Оставь герою сердце... Что же
Он будет без него? Тиран...

(III, 253)

Рассматривая стихотворение «Герой» в соотношении с речью митрополита Филарета, следует обратить внимание на то, что Пушкин в этом стихотворении использует выразительные возможности ораторского искусства. Уже сама форма диалога, избранная в «Герое», предполагает установку на устную речь, и речь эта риторически организована Пушкиным, построена на ораторских приемах (риторические вопросы, восклицания, исчисление, единоначатие и др.). При этом показательно, что пушкинский текст отмечен еще и именно церковной риторикой (церковнославянская лексика — чело, одр и др., библейский образ огненного языка — символическое изображение славы, библейский эпиграф «Что есть истина?», мотив страшного суда). Не случайно Пушкин назвал «Героя» своей Апокалипсической песнью. «Посылаю вам из моего Пафмоса Апокалипсическую песнь», — писал он М.П. Погодину в начале ноября 1830 года из Болдина в Москву (XIV, 122).

Итак, стихотворение «Герой» может быть гипотетически представлено как своеобразный отклик Пушкина на речь митрополита Филарета, как один из голосов в диалоге первого поэта России с первым духовным оратором. Это предположение тем более правомерно, что подобный диалог уже имел место незадолго до болдинской осени 1830 года, во время которой был написан «Герой».



...имя человека является и скрывается, помнится и забывается, по роду и достоинству дел его. <...> Да помыслят по сему человеки, более пристрастные к чести и славе своего имени, нежели ревностные к делам достойным чести и славы; да помыслят, что будет и с их именем? Есть ли они стараются только как-нибудь распространить и возвысить имя свое на земли, между человеками, а не

делают ничего такого, по чему бы их узнали, то чего можно им ожидать для своего имени, разве что оно умрет со смертными, исчезнет в земном воздухе, или наконец промелькнет, может быть, некогда пред ними сквозь пламя преисподнее, для увеличения наказания их неукротенного самолюбия и ложного славолюбия? *Слово в неделю двадцать вторую по Пятидесятнице, при продолжении молитв о избавлении от заразительных болезни, в Троицкой Церкви Странноприемного Графа Шереметева дома, по случаю возобновления оных, говоренное Октября 26 дня, 1830 года.*

Как известно, на публикацию в «Северных цветах на 1830 год» стихотворения Пушкина «Дар напрасный, дар случайный» Филарет откликнулся своим стихотворением, в котором, почти буквально следуя за текстом Пушкина, придал ему иной религиозно-моралистический смысл.

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?

(III, 104)

— писал Пушкин (стихи помечены 26 мая 1828 года — днем его рождения).

Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога мне дана,
Не без воли Бога тайной,

— возражал митрополит Филарет Пушкину. «Стихи христианина, русского епископа в ответ на скептические куплеты! — это, право, большая удача», — писал иронически Пушкин в первой половине января 1830 года Е.М. Хитрово, которая передала ему послание митрополита Филарета (XIV, 398). Однако, по словам П.А. Вяземского, поэт «был задран стихами его преосвященства» (219, 192) и ответил ему стихотворением «В часы забав иль праздной скуки» — оно было опубликовано в «Литературной газете» 1830 года, № 12, 25 февраля с авторской пометкой «19 января 1830, Спб.», возможно, как и в стихотворении «Герой», имеющей особый, пока нераскрытый нами смысл. В стихотворении «В часы забав иль праздной скуки» Пушкин комплиментарен по отношению к церковному проповеднику, ораторское искусство которого он, как и его современники, высоко ценил: «...твой голос величавый / Меня внезапно поражал. <...> Твоих речей благоуханных / Отраден чистый был елей. <...> Твоим огнем душа палима, / Отвергла мрак земных сует, / И внемлет арфе Серафима / В священном ужасе поэт» (III, 212). Принципиально иной характер имеет стихотворение «Герой», насыщенное глубоким философским смыслом, выходящее за рамки предполагаемого нами повода к его написанию. И не исключено, что Пушкин, сознавая это, не считал возможным продолжать

диалог с митрополитом Филаретом, напечатал свое стихотворение без имени автора, как бы оставляя тем самым последнее слово за поэтом.

Речь митрополита Филарета на приезд Николая I в холерную Москву продолжала оставаться в творческом сознании Пушкина и после публикации «Героя».

В 1835 году в Москве была издана книга «Слова и речи, во время управления Московскою паствою говоренные, и житие преподобного Сергия Радонежского и всея России чудотворца из достоверных источников почерпнутое, Синодальным членом Филаретом, Митрополитом Московским». В нее включена и изучаемая нами речь. Книга митрополита Филарета была в библиотеке Пушкина. Она названа в разделе «Новые русские книги» во втором томе пушкинского «Современника» (217, 314).

В первом томе «Современника» была напечатана статья Пушкина о «Собрании сочинений Георгия Конисского, архиепископа Белорусского». В ней Пушкин писал и о запомнившейся ему речи митрополита Филарета как об образце истинного красноречия, и о том событии, которому посвящена речь и с которым связано стихотворение «Герой».

«Георгий Конисский известен у нас краткой речью, которую произнес он в Мстиславле императрице Екатерине во время ее путешествия в 1787 году: «Оставим астрономам...» и проч. Речь сия, прославленная во всех наших реториках, не что

иное, как остроумное приветствие, и заключает игру выражений, может быть, слишком затейливую: по нашему мнению, приветствие, коим высокопреосвященный Филарет встретил государя императора, приехавшего в Москву в конце 1830 года, в своей умильной простоте заключает гораздо более истинного красноречия. Впрочем, различие обстоятельств изъясняет и различие чувств, выражаемых обоими ораторами. Императрица путешествовала, окруженная всею пышностью двора своего, встречаемая всюду торжествами и празднествами; государь посетил Москву, опустошаемую заразой, пораженную скорбью и ужасом» (XII, 12).

5. «ВОТ СЧАСТЬЕ, ВОТ ПРАВА...»

В стихотворениях конца 1820–1830-х годов Пушкин обращается к коренным вопросам бытия — жизни и смерти, временного и вечного, высказывает свое стремление к таким ценностям, как внутренняя свобода и независимость, чистота совести, и здесь его лирика обнаруживает связь с библейским стилем. В церковных текстах Пушкин находил созвучные своим размышлениям образы и мотивы, которые под его пером обретали новое поэтическое звучание; церковная риторика осмыслялась как средство поэтического выражения.

«В своей поздней лирике, — пишет Л.Я. Гинзбург, — Пушкин создает напряженное взаимодействие между вечными символами и вещами, как бы впервые увиденными, только что пришедшими из действительности. <...> Поздняя лирика Пушкина — сочетание философского, социально-исторического обобщения с конкретизацией, индивидуализацией явлений предметного и духовного мира» (153, 243–245).

На наш взгляд, приведенные суждения Л.Я. Гинзбург могут быть соотнесены в первую очередь с теми стихотворениями Пушкина последних лет, которые так или иначе связаны с церковной литературой — Библией, Псалтирью, молитвенными текстами или же с произведениями, восходящими к церковной литературе своими истоками. Вечные символы церковных текстов, заключенные в них обобщения в стихотворениях Пушкина сочетаются с предметами и явлениями действительности, представленными в их конкретности, неповторимой индивидуальности. Будучи же включенными в многообразный предметный и духовный мир пушкинской поэзии действительности, они раскрываются в своей многозначности, служат для выражения авторской идеи, приобретая при этом порой новый философский и художественный смысл. В этом отношении особенно интересны такие произведения поздней лирики Пушкина, как «Брожу ли я вдоль улиц шумных» (1829), «Странник» (1835), стихотворения из так называемого

«каменноостровского цикла» (1836) — «Отцы пустынноики и жены непорочны», «Подражание итальянскому», «Мирская власть», а также тяготеющие к этому циклу стихотворения 1836 года — «Напрасно я бегу к сионским высотам», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Рассмотрим некоторые из них.

В стихотворении «Брожу ли я вдоль улиц шумных» Пушкин обращается к традиционной для церковной литературы теме быстротечности жизни и неизбежности смерти. Эта тема в многочисленных вариантах представлена как в Библии, так и в проповедях, поучениях, надгробных словах, тексты которых, в свою очередь, включали цитаты из Библии. Один из памятников церковного красноречия, который может быть привлечен для сопоставления с пушкинским стихотворением — «Слово, произнесенное в Москве в приходской церкви положения Ризы Господней 9-го ноября 1835 года, при погребении скончавшегося 6-го того же ноября Коммерции Советника и разных орденов Кавалера Михаила Ивановича Титова, архимандритом Донского монастыря Феофаном, в присутствии Преосвященнейшего Исидора, Епископа Дмитровского, совершавшего в сей день в оном храме литургию».

Брожу ли я вдоль улиц шумных,
Вхожу ль во многолюдный храм,
Сию ль меж юношей безумных,
Я предаюсь моим мечтам.

Я говорю: промчатся годы,
И сколько здесь ни видно нас,
Мы все сойдем под вечны своды —
И чей-нибудь уж близок час.

Гляжу ль на дуб уединенный,
Я мыслю: патриарх лесов
Переживет мой век забвенный,
Как пережил он век отцов.

Младенца ль милого ласкаю,
Уже я думаю: прости!
Тебе я место уступаю:
Мне время тлеть, тебе цвести.

День каждый, каждую минуту
Привык я думой провожать,
Грядущей смерти годовщину
Меж их стараясь угадать...

(III, 194)

«Итак, представление смерти и размышление о ней есть первое оружие против ужасов ея. И потому сколько враг нашего спасения диавол старается удалить от нас и изтребить мысль о смерти, сколько напротив мы должны вспоминать и представлять

себе оную. Смотришь ли на землю, о человек! вспомни слова самого Бога: земля еси и в землю отыдеши (Быт. 3.20); взираешь ли на струи реки текущей; вспомни слова премудрой жены Феокоитяныни; смертью умрем, и яко вода нисходящая на землю, яже не собирается; взираешь ли на воздух; реки со Иовом: помяни убо, яко дух, т. е. ветр, или воздух, живот мой (Иов. 4ч.). Видишь ли птиц летающих по воздуху; вспомни изречение Премудрого: яко же птицы прелетающие по аеру ни едино обретается знамение пути: Тако и мы рождены оскудохом, и добродетели ни единого знамени можем показати (Премуд. 5.11.13). Смотришь ли на бегущие облака; вспомни слова Апостола: кая бо жизнь ваша? пара бо есть, яже вmale является, потом же исчезает (Иак. 4.14). Воззришь ли на небо; луна своим ущербом и исходом напоминает тебе о постепенном умалении лет, дней и сил твоих; взираешь ли на прекрасное и благотворное светило дня, вспомни слова Пророка; Солнце позна запад свой (Псал. 103, 19); познаешь скоро и ты свой. И сколько представится тебе подобий смерти при ежедневном твоём размышлении о смерти!» (78, 12–13).

Думается, что в данном случае можно говорить об аналогии пушкинского текста и приведенного выше текста надгробного слова, произнесенного архимандритом Феофаном. Обращает на себя внимание близость образного раскрытия темы, мотива напоминания о смерти в тех или иных явлениях жизни; сходной является и композиция, характерное риторическое построение

повествования. При этом следует заметить, что текст надгробного слова архимандрита Феофана не является источником текста Пушкина — это невозможно уже потому, что привлеченное нами для сопоставительного анализа надгробное слово было написано и произнесено в 1835 году.

Выявленная аналогия, на наш взгляд, свидетельствует о связи стихотворения Пушкина не с конкретным церковным текстом, а с церковной традицией в целом. В данном случае обратим внимание и на некоторую архаизацию стиля, вкрапленную в текст пушкинского стихотворения церковнославянскую лексику (храм, патриарх и др.). Вместе с тем Пушкин, разрабатывая традиционную для церковных проповедников тему смерти, творчески переосмысляет традицию.

Обобщенные образы церковного красноречия Пушкин переводит в план глубокого личного чувства, выношенной личной мысли. Рассуждения проповедника, обращенные к человеку вообще, заменяются при сохранении их общечеловеческого смысла переживанием, мыслью лирического «я». При этом, как заметил В.А. Грехнев, «элегическая мысль здесь нераздельно слита с действием лирического субъекта, она и возникает как его психологическое продолжение» (157, 157). И это действие, в отличие от действия, о котором говорится в надгробном слове, не абстрактно, а конкретно, связано с реалиями, окрашенными в стихотворении восприятием лирического субъекта; именно для

него улицы — «шумные», храм — «многолюдный», дуб — «уединенный», младенец «милый». Так риторическая схема наполняется живыми впечатлениями бытия, становится поэтически воссозданной картиной окружающей действительности.

Стремлением Пушкина насытить думу о смерти живой жизнью можно объяснить и его отказ от двух первоначальных вариантов первой строфы:

Куда б мой <рок>? <?> мятежный
Не мчал по земной —
Но мысль о смерти неизбежной
Всегда б<лизка> <?> всегда со мной.

(III, 784)

Кружусь ли я в толпе мятежной
Вкушаю ль сладостный покой —
Но мысль о смерти неизбежной
Всегда близка, всегда со мной.

(III, 789)

Последние два стиха, повторяющиеся и в том, и в другом вариантах, — изначально заявленный тезис, который затем должен быть подтвержден рядом доказательств. Пушкин отказывается от подобного построения: в его стихотворении мысль о смерти возникает как результат действий, связанных с ними переживаний, конкретных наблюдений и ассоциаций. Такой поэтический ход

рассуждения готовит подспудно утверждение не только трагической неизбежности смерти, но и вечного обновления жизни.

Риторическое рассуждение надгробного слова архимандрита Феофана сводится к проповеди христианских добродетелей, предостережению от греха:

«Таким образом потщимся ежедневно размышлять о смерти. Размышление сие хотя неприятно для плоти и крови нашей, но весьма полезно и спасительно для духа нашего, ибо оно удерживает от поползновения к греху. <...> Итак памятование смерти, предохраняя нас от всякого греха, чрез то самое изгоняет из сердца нашего всякий страх смерти, ибо смерть грешников люта; и напротив того честна пред Господом смерть преподобных Его (Псал. 33, 22)» (78, №4–15).

Стихотворение Пушкина имеет иной философский смысл. Известные читателю его времени традиционные рассуждения церковных проповедников являются лишь отправной точкой для поэтического выражения иной, более широкой философской мысли:

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.

(III, 195)

Таким образом, Пушкин, ориентируясь в стихотворении «Брожу ли я вдоль улиц шумных» на церковную традицию, в конечном счете преобразовал мотивы и образы церковной прозы, подчинил риторическую композиционную форму оригинальной авторской мысли о жизни и смерти, мысли, исполненной мужественного оптимизма и высокой поэзии.

В отличие от стихотворения «Брожу ли я вдоль улиц шумных», по отношению к которому трудно указать на какой-либо определенный источник, стихотворение «Странник», как известно, представляет собой пушкинское переложение отрывка из повести английского писателя-проповедника XVII века Джона Беньяна «The Pilgrim's Progress from the World to that which Is To Come» (1678). В специальной работе Д.Д. Благого, посвященной «Страннику», приведены английский текст этого литературного источника, текст его русского перевода 1819 года, которым также пользовался Пушкин, представлен анализ творческой работы Пушкина над произведением Беньяна. «В “Страннике” Пушкин безусловно ослабляет ярко выраженную религиозно-христианскую орнаментику подлинника, — пишет Д.Д. Благой. — Он вовсе отбрасывает обильные ссылки автора на тексты священного писания, устраняет имя пилигрима Христианин (Christian), заменяет, как я уже указывал, Евангелиста на просто юношу; наконец, слово “пилигрим”, означавшее человека, идущего на поклонение святым местам, также заменяет более нейтральным —

“странник”. Снял Пушкин также прямолинейно-христианский аллегоризм Бенъяна. Но вместе с тем поэт, который, считая, что подстрочный перевод никогда не может быть верен, был и решительным противником “исправительных переводов” (XII, 144, 137), сохранил окрашенную в религиозные тона символику автора, его особый настрой, ту, говоря словами самого Пушкина, “народную одежду” (XII, 137) — национальный и исторический колорит — его повести, которая делает ее характернейшим произведением английского XVII века...» (118, 58–59). В данном случае хотелось бы подчеркнуть, что Пушкин не только и не столько передает национальный и исторический колорит источника, сколько прежде всего его библейский колорит. Сняв многочисленные ссылки Бенъяна на Библию, устранив аллегорические фигуры Христианина и Благовестителя, Пушкин в то же время ориентировался на то символическое обобщение, которое заключено в библейских образах и мотивах, придавая этому обобщению свой оригинальный поэтический смысл.

Мотив нравственного потрясения катастрофическим миром, ужаса и отчаянья перед неизбежной гибелью без каких-либо внешних к тому причин (в этом одно из отличий Пушкина от Бенъяна, герой которого извещен о грядущем истреблении города) раскрыт Пушкиным в русле библейской традиции; по сравнению с Бенъяном пушкинский текст в большей степени воспроизводит напряженный библейский стиль. Сравним:

«Ах, любезная жена, и вы, возлюбленные мои дети! сколько несчастлив я и жалости достоин! Я погибаю, и тяжкое бремя мое причиною гибели моей. Сверх того, извещен я верно, что город, обитаемый нами, истреблен будет огнем небесным и что как я, так и вы общей гибели сей будем подвержены, есть ли не найдем иного убежища. Но я не знаю еще по сие время, где его искать?» (118, 73).

О горе, горе нам! Вы, дети, ты жена!
Сказал я. — ведайте: моя душа полна
Тоской и ужасом; мучительное бремя
Тягчит меня. Идет! уж близко, близко время:
Наш город пламени и ветрам обречен;
Он в угли и золу вдруг будет обращен,
И мы погибнем все, коль не успеем вскоре
Обрести убежище; а где? о горе, горе.

(III, 391–392)

«Речь идет уже не о частной катастрофе в неизменяемом ритме бытия, вся жизнь человека среди людей и народов есть непрекращающаяся катастрофа, — пишет С.С. Аверинцев в статье “Спасение”, — Адепт библейской веры не просто обращается к Богу, но “взывает”, вопиет к нему из “глубин”, <...> из провалов своего бедственного бытия или из бездны своей потрясенной души; преобладающая интонация кн. Псалмов и пророческих книг есть интонация вопля» (91, 107). Эрки Пеуранен справедливо

полагает, что определение «интонация вопля» вполне соответствует приведенному отрывку из пушкинского стихотворения: «Повторяющиеся здесь в начале и в конце восклицания “О горе, горе”, лихорадочное обращение “Вы, дети, ты, жена!”, короткие фразы и редкая для Пушкина полнота ударных слогов — все это создает впечатление предельной эмоциональной напряженности» (231, 186). Заметим, что в перечисленных здесь приемах, создающих это впечатление, сказывается продуманность риторической организации текста. Впечатление усиливается и благодаря конкретным деталям, с помощью которых Пушкин рисует последствия катастрофы: город будет обращен в угли и золу. Мотив душевного спасения также раскрывается Пушкиным с помощью библейских образов: это «некий свет», «тесные врата». Высокий библейский стиль всего стихотворения в целом, создающие торжественную приподнятость повествования церковнославянизмы («вериги», «перст», «врата», «око» и др.) соседствует с просторечием; символические библейские образы, включенные в контекст обыденной жизни, окруженные бытовыми подробностями, приобретают особую художественную остроту и убедительность.

«Каменноостровскому» лирическому циклу Пушкина, а также примыкающим к этому циклу стихотворениям посвящены специальные исследования (181, 291, 250, 182, 183, 229, 256, 178, 279, 302, 303 и др.). В них рассматриваются состав, тематика и

проблематика, композиция и поэтика цикла. Уделяется внимание и сказавшейся в стихотворениях библейской традиции, риторическому построению пушкинских текстов.

Стихотворение «Отцы пустынноики и жены непорочны», точнее — заключительную его часть Г.Д. Владимирский относит к разряду «переводов-переделок», понимая под «переводом-переделкой» «ассимиляцию в оригинальном творчестве основных или второстепенных мотивов оригинала, с подчинением их целиком индивидуальности переводчика» (145, 317). «При переделке — переводе, — замечает исследователь, — возможна даже значительная близость к оригиналу» (145, 317). В самом деле, пушкинский текст в значительной степени близок к тексту перелагаемой поэтом молитвы Ефрема Сирина, читавшейся в церкви в среду и пятницу Великого поста. Сравним:

«Господи и Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначала не даждь ми. Дух же целомудрия, смирения, терпения и любви даруй ми, рабу твоему! Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения, и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь».

Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначала, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,

И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.

(III, 421)

Однако при всей близости пушкинского текста к молитве Ефрема Сирина, являющейся замечательным памятником культуры, пушкинский текст несет на себе следы творческой работы с источником, имеет иной характер. «Приглушая патетику оригинала, — пишет А.Д. Григорьева, — Пушкин заменяет некоторые архаические элементы современными (*даждь* на *дай*, местоимение *ми* на *мне* или на их метонимические заменители — *душе моей, мне в сердце*, ходовые в широком обращении), чем углубляет интимную окрашенность текста. Он снимает приложение *ми, рабу твоему*, в молитве мотивированное резко контрастным противопоставлением всесильного Владыки-Бога и ничтожного его раба-человека, элементом самоуничтожения. Пушкин, заменяя *даруй ми* на *мне в сердце оживи*, не только усиливает лиризм обращения, но и утверждает свое человеческое достоинство (качества эти заложены в природе человека и нуждаются только в их «оживлении») (159, 184). Отмечает А.Д. Григорьева и другие изменения, которые вносит Пушкин в текст молитвы (вместо «дух праздности, уныния» — «дух праздности унылой», вместо «любоначалия» — «любоначалия, змеи сокрытой сей»), указывая на традиционность в церковной книжности использованного Пушкиным образа змеи как символа

злого начала, на оказавшуюся в тексте пушкинскую оценку праздности, которая отрицается лишь в том случае, если она не связана с внутренней творческой работой, рождает лишь скуку, уныние. Таким образом, Пушкин, включив в текст своего стихотворения молитву Ефрема Сирина, творчески ее переработал для выражения своих нравственных устремлений, своих представлений о нравственных ценностях. Здесь уместно напомнить (это не раз отмечалось исследователями), что к молитве Ефрема Сирина Пушкин обращался и ранее, до создания стихотворения «Отцы пустыnnики и жены непорочны». 23 марта 1821 года в письме к А.А. Дельвигу, передавая пожелания В.К. Кюхельбекеру, уехавшему в Париж, Пушкин использовал слова Сирина: «Желаю ему (В.К. Кюхельбекеру — *Н.М.*) в Париже дух целомудрия, в канцелярии Нарышкина дух смиренномудрия и терпения, об духе любви я не беспокоюсь, в этом нуждаться не будет, о празднословии молчу — дальний друг не может быть излишне болтлив» (XIII, 25). Если в 1821 году Пушкин пародировал молитву, то в 1836 году он открыл в ней глубокий нравственный смысл, нашел созвучие своим мыслям и чувствам, возможность выражения своих переживаний.

Тема стихотворения «Подражание итальянскому» — тема предательства в лирике Пушкина получила свое выражение еще в 1824 году в стихотворении «Коварность»:

Но если цепь ему накинул ты
И сонного врагу предал со смехом,

И он прочел в немой душе твоей
Все тайное своим печальным взором, —
Тогда ступай, не трать пустых речей —
Ты осужден последним приговором.

(II, 336)

В 1836 году Пушкин вновь пишет о предательстве, для раскрытия этой темы через «Сонет об Иуде» итальянского поэта Франческо Джанни обращается к евангельскому сюжету, к образу Иуды: «Тогда Иуда, предавший Его, увидел, что Он осужден, и, раскаявшись, возвратил тридцать серебрянников первосвященникам и старейшинам, говоря: согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему: Что нам до того? смотри сам. И, бросив серебрянники в храме, он вышел; пошел и удавился» (Мф. 27, 3–6). Опыт личного переживания, воплощенный ранее в своем творчестве, Пушкин в стихотворении «Подражание итальянскому» обогащает опытом человечества, отраженного в литературных памятниках; мастерски написанная Пушкиным картина, в которой Иуду, предавшего своего учителя — Христа, казнит Сатана, служит для утверждения нравственного идеала, для авторского отрицания еще одного самого страшного греха, не названного в стихотворении «Отцы пустынноики и жены непорочны», греха предательства, которому нет прощения.

Евангельский образ Христа, его мученическая кончина нашли отражение в стихотворении «Мирская власть». Христос — высокий символ веры; в современном же поэту мире вера поругана властью. Стихотворение строится на контрастном противопоставлении «тогда» и «теперь», исполненной «неизмеримой» печалью некогда совершавшейся трагедии и фарса современной жизни. Торжественная сцена смерти Бога-Сына и стоящих возле креста «жен святых» сменяется другой будничной сценой военного караула, выставленного у распятия:

Когда великое свершалось торжество,
И в муках на кресте кончалось божество,
Тогда по сторонам животворяща древа
Мария-грешница и Пресвятая Дева,
Стояли две жены,
В неизмеримую печаль погружены.
Но у подножия теперь креста честного,
Как будто у крыльца правителя градского,
Мы зрим — поставлено на место жен святых
В ружье и кивере два грозных часовых.

(III, 417)

Евангельские образы, будучи включенными в реалии современной Пушкину жизни («крыльцо правителя градского», «ружье», «кивер», «часовые»), будучи соотнесенными с этими реалиями, служат для создания другого символа, воплощающего

бездуховность власти. Вторая часть стихотворения (12 стихов) — гневная речь поэта-оратора, возмущенного властью и обличающего власть. Речь построена как цепь риторических вопросов, исполненных презрения и сарказма:

К чему, скажите мне, хранительная стража? —
Или распятие казенная поклажа,
И вы боитесь воров или мышей? —
Иль мните важности придать Царю Царей?
Иль покровительством спасаете могучим
Владыку, тернием венчанного колючим,
Христа, предавшего послушно плоть
Свою Бичам мучителей, гвоздям и копию?
Иль опасаетесь, чтоб чернь не оскорбила
Того, чья казнь весь род Адамов искупила,
И, чтоб не потеснить гуляющих господ,
Пускать не велено сюда простой народ?

(III, 417)

Контрастное совмещение в ораторской речи торжественной церковной лексики и фразеологии (Владыку, тернием венчанного; Христа, предавшего плоть бичам и копию; род Адамов искупила) с нейтральной и канцелярско-бюрократической лексикой и фразеологией («казенная поклажа», «воров», «мышей», «важности придать», «опасаетесь», «гуляющих господ», «пускать не велено») создает острый эмоциональный эффект, служит для выражения авторской мысли.

Стихотворение «Из Пиндемонти» — единственное из «каменноостровского» цикла, не имеющее тематической, образной связи с церковными текстами. Вместе с тем можно говорить о том, что оно в какой-то мере ориентировано на жанр церковной литературы, жанр проповеди. В данном случае, на наш взгляд, следует учесть и проповеднические интонации стихотворения Пиндемонти «La opinioni politiche», близкого пушкинскому по затронутым проблемам (250), и отмеченную С.А. Фомичевым соотносительность «каменноостровского» цикла, в частности — «Из Пиндемонти» с рецензией Пушкина на перевод С. Пеллико «Об обязанностях человека», которая была стилизована под евангельские проповеди (303, 273). С.А. Фомичев выдвинул предположение о том, что сама тема «Из Пиндемонти» — тема прав человека — возникла у Пушкина по контрасту с названием книги С. Пеллико «Об обязанностях человека» (303, 275).

Стихотворение Пушкина «Из Пиндемонти» — проповедь неотъемлемых прав каждого человека на свободу и независимость. Вместе с тем это полемическая речь, отрицающая и «громкие права», предоставляемые монархическим государством или же государством конституционным. Эти права дискредитируются иронией оратора, который не сожалеет о том, что он лишен «сладкой участи оспаривать налоги» (перифразическое обозначение парламентской деятельности) или же «мешать царям друг с другом воевать». Все это, а также свобода печати,

морочащей «олухов», и цензурные притеснения «балагуров» оцениваются иронически цитатой из «Гамлета» как «слова, слова, слова». Во второй части речи Пушкин мнимым ценностям противопоставляет ценности подлинные, ценности, в которых для него заключается «счастье» и на которые он хотел бы иметь «права»:

Иные, лучшие мне дороги права;
Иная, лучшая потребна мне свобода;
Зависеть от властей, зависеть от народа —
Не все ли нам равно? Бог с ними.

Никому

Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданиями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья.

Вот счастье, вот права...

(III, 420)

Логика рассуждения, композиция, риторические приемы (единоначатие, усиление, исчисление, вопрос, восклицание и др.) — все подчинено задаче утверждения высшего права человека на свободу, вечной ценности для него природы, искусства, творчества.

ГЛАВА ВТОРАЯ

РОМАН «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» И ОРАТОРСКИЕ ЖАНРЫ

1. «МОЮ ПРОШУ ЗАМЕТИТЬ РЕЧЬ»

«... Я теперь пишу не роман, а роман в стихах — дьявольская разница» — так в письме к П.А. Вяземскому от 4 ноября 1823 года сообщал Пушкин о работе над «Евгением Онегиным» (XIII, 73).

Высказывание Пушкина, подчеркнувшего отличие романа стихотворного от романа прозаического, пушкинское определение жанра «Евгения Онегина», как правило, учитывалось в многочисленных исследованиях, посвященных жанровым особенностям этого произведения (109; 125; 141; 144; 161; 166; 201; 295; 321 и др.).

Созданный Пушкиным роман в стихах — первый в истории русской и мировой литературы — соединял в себе эпическое и лирическое начала. И в этом соединении, скрепленном авторским «я», по-видимому, действительно заключалось то, что во многом определяло своеобразие жанра «Евгения Онегина». В данном случае показательно место, которое «Евгений Онегин» занимает в

творческой эволюции Пушкина, связь «Евгения Онегина» как с пушкинской прозой, так и с пушкинской поэзией.

Опыт романа в стихах, его тематика, проблематика, образная система, определившиеся принципы эпического повествования нашли свое отражение в «Арапе Петра Великого», «Романе в письмах», незавершенных светских повестях «Гости съезжались на дачу» и «На лугу маленькой площади», «Повестях Белкина» и других прозаических произведениях Пушкина (193, 207–215; 261; 263; 265; 268). Само обращение Пушкина к прозе, как верно полагал Б. М. Эйхенбаум, было подготовлено «Евгением Онегиным»; в романе в стихах — «начало сюжетных построений, которые не нуждаются в стихе» (326, 26).

Вместе с тем стихотворный роман «Евгений Онегин» был подготовлен предшествующей ему лирикой Пушкина, романтическими поэмами; в структуре романа в стихах нашли отражение многие лирические жанры — элегия, дружеское послание, эпиграмма (275; 102; 270; 271; 135; 252). «Евгений Онегин» оказал в свою очередь воздействие на развитие стихотворного повествования в произведениях Пушкина второй половины 1820–1830-х годов (260; 266; 267; 283).

Своеобразие жанра «Евгения Онегина» — и лирического, и эпического произведения — определило, на наш взгляд, то обстоятельство, что пушкинский роман вызвал подражания и пародии, написанные как в стихах, так и в прозе (249; 214). И

поэты, и прозаики пушкинского времени осваивали художественный мир «Евгения Онегина». Назовем среди них А.И. Полежаева — автора поэмы «Сашка», М.И. Воскресенского — автора романа в стихах «Евгений Вельский» (294), Н. Карцова, Н. Анордиста, Н. Колотенко и других поставщиков стихотворной беллетристики (322), А.А. Бестужева-Марлинского, откликнувшегося на «Евгения Онегина» повестью «Испытание» (107, 406–419), М.Н.Загоскина — автора пародии на «Евгения Онегина» — повести «Московский Европеец» (214), создателей массовой светской повести (179).

«Евгений Онегин» оказал влияние на развитие русского прозаического романа XIX века — на произведения М.Ю. Лермонтова, И.А. Тургенева, Л.Н. Толстого (119; 132), а также положил начало русскому стихотворному роману, жанровые особенности которого сказались в «Свежем преданье» Я.П. Полонского, «Возмездии» А.А. Блока, «Спекторском» Б.Л. Пастернака (318; 320).

Жанровая природа романа в стихах, как нам представляется, обуславливала ориентацию «Евгения Онегина» на традицию красноречия. Эпическая форма романа — прозаического жанра тяготела к риторическим построениям, нормативы которых определялись учебниками красноречия «Риториками» — они, по определению А.Ф. Мерзлякова, были «теорией всех прозаических сочинений» (55, 6) или, по определению Н.Ф. Кошанского,

«руководством к познанию всех родов и видов прозы» (42, 2). Стихотворная форма романа обнаруживала его связь с лирическими жанрами, которые, в свою очередь, соотносились с жанрами ораторскими.

Одна из существенных особенностей построения стихотворного романа Пушкина — установка на устную речь; это сближало роман с ораторской культурой, связанной со стихией устной речи. Но здесь нужно различать речь разговорную, неупорядоченную и речь ораторскую, организованную по определенным риторическим законам.

16 ноября 1823 года Пушкин писал А.А. Дельвигу о работе над «Евгением Онегиным»: «Пишу теперь новую поэму, в которой забалтываюсь до-нельзя» (XIII, 75). В первой главе романа поэт называет свою лиру «болтливой» (VI, 19). В конце мая, начале июня 1825 года, видимо, опираясь на свой опыт работы над стихотворным романом, Пушкин в письме давал совет А.А. Бестужеву: «...полно тебе писать *быстрые* повести с романтическими переходами, — это хорошо для поэзии байронической. Роман требует *болтовни*; высказывай все на чисто» (XIII, 180).

Комментируя утверждение Пушкина «роман требует болтовни», Ю.М. Лотман отметил парадоксальность этого утверждения: «Парадокс здесь в том, что роман — жанр, исторически сложившийся как письменное повествование, —

Пушкин трактует в категориях устной речи, во-первых, и нелитературной речи, во-вторых. И то и другое должно имитироваться средствами письменного литературного повествования» (201, 56).

На протяжении всего повествования «Евгения Онегина» Пушкин дает понять читателю, что его роман «пишется» и в то же время «рассказывается». Так, в конце первой главы автор признается:

Покамест моего романа
Я кончил первую главу...
(VI, 30)

В конце же третьей главы — авторское признание иного плана, подчеркивающее не письменный, а устный характер изложения:

Но следствия неожиданной встречи
Сегодня, милые друзья,
Пересказать* не в силах я;
Мне должно после долгой речи
И погулять и отдохнуть...
(VI, 73)

* Здесь и далее подчеркнуто мною — Н.М.

В XXIX строфе первой главы установка на устную речь, которая передается с помощью речи письменной, заявлена в шутливом обращении к «почтенным супругам» и «маминькам»:

О вы, почтенные супруги!
Вам предложу свои услуги;
Прошу мою заметить речь:
Я вас хочу предостеречь.
Вы также, маминьки, постройте
За дочерьми смотрите вслед:
Держите прямо свой лорнет!
Не то... не то, избави боже!
Я это потому пишу.
Что уж давно я не грешу.

(VI, 17)

Установка на «болтовню», «речь», «рассказ» была блистательно реализована Пушкиным. Об этом свидетельствует восприятие пушкинского романа читателями как непринужденной беседы, непосредственной речи, к ним обращенной. Так, П.А. Катенин, прочитав первую главу «Евгения Онегина», писал Пушкину 9 мая 1825 года: «Кроме прелестных стихов, я нашел тут тебя самого, твой разговор, твою веселость...» (XIII, 169). Критик «Атеней» отмечал в 1828 году «говорливость» пушкинского романа (103). В заметке, помещенной в «Московском вестнике»,

было сказано: «Он рассказывает вам роман первыми словами, которые срываются у него с языка, и в этом отношении Онегин есть феномен в Истории Русского языка и стихосложения» (215).

В связи с принятой Пушкиным манерой повествования небезынтересно привести свидетельство народного артиста РСФСР Я.М. Смоленского, читающего «Евгения Онегина» со сцены, обращающегося со звучащим пушкинским словом к читателям-слушателям.

Режиссер онегинской программы Я.М. Смоленского С.В. Шервинский видел в установке Пушкина на доверительную, непринужденную беседу «важнейшее обстоятельство, без которого немислимо исполнение гениального романа в стихах» (273, 30).

Интонации разговорной речи, беседы, болтовни присутствуют в «Евгении Онегине» и в авторском повествовании, и в высказываниях героев, в их прямой и косвенной речи, включенной в текст романа. Пушкин широко вводит диалоги, по справедливому наблюдению Л.П. Гроссмана, «поддерживающие непосредственным сплетением реплик общий разговорный стиль романа» (161, 154). «Они (диалоги — *Н.М.*), — пишет исследователь, — образуют своеобразную архитеконику отдельных строф и группируют в известном порядке целые отрывки глав (разговоры Онегина с Ленским, Татьяны с няней, Онегина с князем, старухи Лариной с деревенскими соседями, а затем с московскими кузинами и проч.» (161, 154).

Приемы введения различных разговорных интонаций в текст романа в стихах рассмотрены в работах В.В. Виноградова, Г.О. Винокура, Л.П. Гроссмана, Ю.Н. Тынянова, Ю.М. Лотмана и других исследователей (141; 144; 161; 295; 201). Среди этих приемов следует прежде всего отметить, в связи с изучением ораторской речи в романе Пушкина, многочисленные авторские обращения.

Повествовательную ткань «Евгения Онегина» от его начала до конца пронизывают обращения к читателю и читателям романа. В этих обращениях образ читателя окружен ореолом различных экспрессивных оттенков: «читатель благородный»; «достопочтенный мой читатель», «читатель благосклонный»; часто читатель представлен как друг автора. Роман начинается обращением к читателям — «друзьям Людмилы и Руслана» (I глава) и завершается прощанием с читателем, представленным в возможных противоположных по отношению к автору ипостасях — «друг-недруг» (VIII глава):

Кто б ни был ты, о мой читатель,

Друг, недруг, я хочу с тобой

Расстаться нынче как приятель...

(VI, 189)

Пушкин обращается в романе не только к друзьям-читателям («То был, друзья, Мартын Задека», «Все это значило,

друзья, — / С приятелем стреляюсь я», «Друзья мои! Вам жаль поэта...» и др.), но и к своим друзьям. Так, он посвящает роман своему другу и издателю П.А. Плетневу:

Не мысля гордый свет забавить,
Вниманье дружбы возлюбя,
Хотел бы я тебе представить
Залог достойнее тебя.?

(VI, 3)

Есть в романе обращения к друзьям поэтам — Н.М. Языкову и Е.А. Баратынскому:

Так ты, Языков вдохновенный,
В порывах сердца своего,
Поешь, бог ведает, кого,
И свод элегий драгоценный
Представит некогда тебе
Всю повесть о твоей судьбе.

(VI, 86)

Певец пиров и грусти томной,
Когда б еще ты был со мной,
Я стал бы просьбою нескромной
Тебя тревожить, милый мой:
Чтоб на волшебные напевы

Переложил ты страстной девы
Иноплеменные слова...

(VI, 64–65)

Пушкин обращается и к авторам — своим современникам, и к классикам, давно ушедшим из жизни: «Божественный Омир», / Ты, тридцати веков кумир».

В романе много обращений к женщинам: «Зизи, кристалл души моей», «Мои богини», «Причудницы большого света»...

Пушкин шутливо обращается к «блаженным мужьям», «почтенным супругам». IV строфа седьмой главы состоит из таких шутливых обращений:

Вот время: добрые ленивцы.
Эпикурейцы-мудрецы,
Вы, равнодушные счастливыцы,
Вы, школы Левшина птенцы,
Вы, деревенские Приамы,
И вы, чувствительные дамы,
Весна в деревню вас зовет,
Пора тепла, цветов, работ.
Пора гуляний вдохновенных
И соблазнительных ночей.
В поля, друзья! скорей, скорей,
В каретах, тяжко нагруженных,
На долгих иль на почтовых

Тянитесь из застав градских.

(VI, 140–141)

Отметим и обращения автора к героям романа: «Татьяна, милая Татьяна!» «Мой бедный Ленский!»; пародийное обращение к «эпической музе»:

Благослови мой долгий труд,

О ты, эпическая муза!

И, верный посох мне вручив,

Не дай блуждать мне вкось и вкрив.

(VI, 163)

Многочисленные авторские обращения создают образ многоликой аудитории, не только читающей, но и слушающей роман. При этом обращения являются показателем и разговорной, и ораторской речи. Н.Ф. Кошанский называет обращение среди «фигур мыслей, пленяющих сердце»: «Обращение, живое чувство, говорящее к отсутствующему, бездушному и даже отвлеченному предмету. Оно предполагает во всем жизнь и трогает душу. Сия фигура способна для начала описаний и чрезвычайно употребительна 1) у прозаиков, 2) у ораторов, 3) у поэтов» (42, 128).

К особенностям как разговорной, так и ораторской речи можно отнести иронический тон изложения, авторские сентенции,

многочисленные цитаты и реминисценции, вкрапленные в роман. Заметим, что в «Евгении Онегине» Пушкин цитирует и ораторские тексты. Так, В. Набоков, а вслед за ним и Ю.М. Лотман указали на прямую цитату из речи Боссюэ «О смерти» в наброске строфы XIVa второй главы романа, а также на отклики на речь Боссюэ в XXXVIII строфе второй главы (216, 306). Эта цитата не исчерпывает, разумеется, всей цитации из ораторских текстов в «Евгении Онегине». Выявление цитат из ораторских текстов в «Евгении Онегине» с помощью привлечения широкого сопоставительного материала должно явиться предметом специального исследования — оно может привести к интересным для нас результатам. Приведем один из возможных тому примеров.

Ярем он барщины старинной
Оброком легким заменил;
И раб судьбу благословил.

(VI, 32)

Комментаторы IV строфы второй главы романа, откуда взяты приведенные стихи, Н.Л. Бродский и Ю.М. Лотман говорят о преобразованиях Онегина, сближающих его с передовыми общественными кругами, и оставляют стих «И раб судьбу благословил» без внимания (127, 125–129; 202, 179–180). Не комментируют его и С.М. Бонди, и А.Е. Тархов (123; 284). Не комментирует его и В. Набоков, приводя лишь печатный и

черновые варианты этого стиха (216, 224). В.В. Виноградов отмечает гражданский пафос пушкинского текста, который достигается с помощью формы синтаксического присоединения — «И раб судьбу благословил» (138, 336). Между тем, на наш взгляд, нужно учесть, что Пушкин здесь мог использовать штамп проповедей, торжественных и приветственных речей, обращенных к венценосным особам. Сравним:

И раб судьбу благословил (VI, 32) — так говорит Пушкин о правлении Евгения Онегина в его поместье.

Печатный и черновые варианты —

Мужик судьбу благословил.

(VI, 645)

Народ его благословил.

(VI, 265)

Народ Судьбу благословил.

(VI, 265)

«Под Его благотворным и кротким правлением бесплодные нивы покрываются богатыми и тучными жатвами, кремнистые холмы препоясуются приятною муравою — и в пустыни работают красная, и мирный земледелец, в поте лица своего вкушая насущный хлеб, благословляет свою судьбу благодарными слезами, благословляет благодать Отца Небесного, благодать Помазанника Божия» — так было сказано о царствовании

Александра I в «Слове в высокаторжественный день рождения Ее Императорского Величества, благочестивейших Государыни Императрицы Елизаветы Алексеевны, говоренном в Московском большом Успенском Соборе, Московской Академии Префектом Знаменского монастыря Игуменом Геннадием, 1809 года, генваря 13 дня» (30, 7).

Подобные официальные формулы благодарности подданных были хорошо известны современникам Пушкина. Строка из пушкинского романа вызывала у них определенную ассоциацию, которая в свою очередь придавала тексту не столько гражданственный, сколько иронический смысл. И смысл этот, к сегодняшнему дню утраченный, может быть восстановлен только при сопоставлении пушкинского текста с текстом ораторским.

Пушкин широко использует в изложении своего романа тропы и риторические фигуры. По классификации Н.Ф. Кошанского есть четыре типа риторических фигур: «фигуры от недостатка и изобиливания слов», «фигуры от повторения и сходства слов», «фигуры мыслей, действующих на воображение», «фигуры мыслей, пленяющие сердце». Каждый из этих типов представлен в романе Пушкина. Текст «Евгения Онегина» с точки зрения использования в нем риторических фигур может быть прокомментирован с помощью «Реторики» Н.Ф. Кошанского или же «Реторика» Н.Ф. Кошанского может быть проиллюстрирована текстом «Евгения Онегина». Приведем несколько примеров.

«Многосоюзие, прибавление союза *и* для большей выразительности и силы: 1) между словами, 2) между мыслями» (42, 114).

И страшно ей; и торопливо

Татьяна силится бежать...

(VI, 105)

Прости ж и ты, мой спутник странный,

И ты мой верный Идеал,

И ты, живой и постоянный,

Хоть малый труд...

(VI, 189–190)

«Усугубление, повторение одного слова 1) дважды и трижды одного слова, через несколько слов для большей красоты и выразительности» (42, 115).

Татьяна, милая Татьяна!

С тобой теперь я слезы лью;

<...>

Везде воображаешь ты

Приюты счастливых свиданий;

Везде, везде перед тобой

Твой искуситель роковой.

(VI, 57–58)

«Единоначатие, когда несколько предложений или стихов сряду начинаются 1) одним словом или 2) иногда и двумя словами» (42, 114).

В те дни, когда в садах Лицея
Я безмятежно расцветал,
Читал охотно Апулея,
А Цицерона не читал,
В те дни, в таинственных долинах,
Весной, при кликах лебединых,
Близ вод, сиявших в тишине,
Являться Муза стала мне...

(VI, 165)

Риторическая фигура единоначатия или прием анафоры особенно широко используется Пушкиным*. По наблюдению Л.П. Гроссмана этот прием часто усиливает лирический или драматический характер того или иного отрывка, как, например, в строфе, повествующей об угрызениях совести Онегина:

* Небезынтересно заметить, что использование этой риторической фигуры, как, вероятно, и других фигур, было теоретически осознано Пушкиным. Отвечая в 1830 году на критику Б.М. Федорова, он дискредитировал ее ссылкой на риторику: «Г. Федоров в журнале, который начал было издавать, разбирая довольно благосклонно 4-ю и 5-ю главу («Евгения Онегина» — *Н.М.*), заметил,

однако ж мне, что в описании осени несколько стихов сряду начинаются у меня частицею Уж, что и назвал он ужами, а что в риторике зовется единоначатием» (XI, 149).

То видит он: на талом снеге,
Как будто спящий на ночлеге,
Недвижим юноша лежит,
И слышит голос: что ж? убит.
То видит он врагов забвенных,
Клеветников, и трусов злых,
И рой изменниц молодых,
И круг товарищей презренных...

(VI, 184)

«Ответствование, когда сами вопрошаем и отвечаем. Сия фигура возбуждает внимание, любопытство и удовлетворяет оному» (42, 119).

XXXVI

<...>

Но был ли счастлив мой Евгений,
Свободный, в цвете лучших лет,
Среди блистательных побед,
Среди вседневных наслаждений?
Вотще ли был он средь пиров
Неосторожен и здоров?

XXXVII

Нет: рано чувства в нем остыли;

Ему наскучил света шум;

Красавицы не долго были

Предмет его привычных дум...

(VI, 20–21)

«Отступление, искусный переход от одного предмета к другому. Служит к соединению частей Рассуждения.

Возвращение, переход от постороннего к главному предмету, последствие отступления. Сии две фигуры всегда следуют одна за другою, обращают ум от одной истины к другой и для ораторов необходимы» (42, 121).

Как известно, так называемые лирические отступления являются композиционным принципом романа в стихах: в отступлениях находит свое выражение установка Пушкина на «свободный роман», воплощается многотемность произведения. Пушкин легко и непринужденно скользит в отступлениях от темы к теме; оставив в стороне сюжетную канву романа, его героев, поэт рассуждает о жизни и смерти, о любви, дружбе, вспоминает события своей юности и исторические события России, говорит о театре и артистах, о литературе и литераторах, о своем творчестве и снова возвращается к сюжету романа, к его героям, чтобы потом снова, на время как бы забыв их, говорить о вечном обновлении

природы и о смене литературных направлений, о своем грядущем бессмертии...

«Противоположение, искусство противопоставлять предмет предмету (контрасты) или мысль мысли (антитезы). Сия фигура сильно действует на воображение» (42, 124).

Они сошлись. Волна и камень,
Стихи и проза, лет и пламень
Не столь различны меж собой...
(VI, 37)

Кокетка судит хладнокровно,
Татьяна любит не шутя...
(VI, 62)

«Заклинание, призвание всех бедствий 1) на главу ненавистную — или 2) на свою собственную за нарушение клятвы.

Желание, прошение, требование всех благ, или чего-либо чрезвычайного для себя, или существа, милого сердцу. Противоположна заклинанию, так как благословение проклятию. Употребляется в заключениях описаний и речей: 1) у ораторов 2) у поэтов» (42, 129–130).

Но вы, разрозненные томы
Из библиотеки чертей,

Великолепные альбомы,
Мученье модных рифмачей,
Вы, украшенные проворно
Толстого кистью чудотворной
Иль Баратынского пером,
Пушай сожжет вас божий гром!

(VI, 86)

Заключение первой главы:

Иди же к невским берегам,
Новорожденное творенье,
И заслужи мне славы дань:
Кривые толки, шум и брань!

(VI, 30)

«Вопрошение, обращение мысли, или чувства на вопрос, не требующий ответа» (42, 130–131).

Враги! Давно ли друг от друга
Их жажда крови отвела?
Давно ль они часы досуга,
Трапезу, мысли и дела
Делили дружно?..

(VI, 128–129)

«Восклицание, невольное движение души, мысль, чувство, вырывающееся в сильной страсти» (42, 130).

О, кто б немых ее страданий
В сей быстрый миг не прочитал!
Кто прежней Тани, бедной Тани
Теперь в княгине б не узнал!

(VI, 185)

«К ней (к риторической фигуре восклицания — *Н.М.*) относится и совосклицание, тоже восклицание, но только всегда оканчивающее речь, и притом заключающее в себе важную мысль» (42, 130–131).

Ах, братцы! Как я был доволен,
Когда церквей и колоколен,
Садов, чертогов полукруг
Открылся предо мною вдруг!
Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе!
Москва... как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!

(VI, 154–155)

Риторические приемы в значительной части текста «Евгения Онегина» преобразуют повествование в ораторскую речь, организованную по законам ораторского искусства. Автор — повествователь, рассказчик, собеседник читателя — предстает и как оратор, и здесь существенное значение для восприятия его речей приобретает его образ, черты его личности. Ведь для того чтобы слушатель мог быть убежден ораторской речью, тронут ею, важно, кто эту речь произносит. Уже в первой главе романа во второй ее строфе автор является перед читателем как создатель романтической поэмы «Руслан и Людмила» («Друзья Людмилы и Руслана»), опальный, ссыльный поэт («Там некогда гулял и я, / Но вреден север для меня»; последний процитированный нами стих сопровождался примечанием: «Писано в Бессарабии»). По ходу изложения постепенно высвечивается лик ироничного повествователя, с легкой улыбкой рассказывающего о детстве и юности героя романа Онегина, насмешливо отзывающегося об образовании людей своего круга («Мы все учились понемногу / Чему-нибудь и как-нибудь, / Так воспитаньем, слава богу, / У нас немудрено блеснуть»); восторженного театрала (строфы XVIII–XX), человека, отдающего должное моде («Быть можно дельным человеком / И думать о красе ногтей; / К чему бесплодно спорить с веком? / Обычай деспот меж людей»), некогда страстного участника балов, поклонника женской красоты (строфы XXIX–

XXXIV). Нравственный облик автора очерчен затем в XLVI строфе:

Условий света свергнув бремя.
Как он, отстав от суеты,
С ним подружился я в то время.
Мне нравились его черты,
Мечтам невольная преданность,
Неподражательная странность
И резкий, охлажденный ум.
Я был озлоблен, он угрюм;
Страстей игру мы знали оба:
Томила жизнь обоих нас;
В обоих сердца жар угас;
Обоих ожидала злоба
Слепой Фортуны и людей
На самом утре наших дней.

(VI, 23–24)

Если в приведенной строфе автор сближается с героем романа, то затем подчеркивается их «разность» (LV, LVI строфы): автор признается в ценности для него деревенской жизни («Я был рожден для жизни мирной, / Для деревенской тишины: / В глуши звучнее голос лирный, / Живее творческие сны», «Цветы, любовь, деревня, праздность, / Поля! Я предан вам душой»). «Разность» автора и героя будет акцентирована и в композиционном конце

романа — «Отрывках из путешествия Онегина». При этом существенным представляется наблюдение И.М. Семенко, указавшей на то, что, создавая образ автора в «Евгении Онегине», Пушкин строит его как образ поэта: «на всем протяжении романа он отбирает для «автора» « в основном только то, что в нем, Пушкине, является чертами поэта» (258, 128). Но черты поэта-Пушкина — это и черты Пушкина-человека, верного в дружбе, искреннего в любви, влюбленного в жизнь, преданного своей родине и своему народу. И эти черты также находят отражение на страницах романа. Сквозь призму многогранной личности автора — великого поэта и человека воспринимаются те отрывки текста романа, которые построены как ораторская речь, высказанные в этих отрывках оценки и суждения. Это и рассуждения, в которых поэт высказывает свои задушевные мысли о жизни и ее ценностях, о смерти и бессмертии; это и патетическая речь о театре, и полемика автора с «критиком строгим», высказывания о романтизме и о том методе, который родился в творчестве Пушкина и который мы называем реализмом; это и речи, которые автор произносит в защиту своих героев — Онегина и Татьяны.

Речь автора-оратора в некоторых случаях ориентирована на определенные ораторские жанры. В связи с этим уместно, как нам кажется, подчеркнуть то обстоятельство, что пушкинский роман в стихах включает в себя многие жанровые формы. О том, что в

«Евгении Онегине» сказались лирические жанры (послание, эпиграмма, элегия и др.), мы говорили ранее, ссылаясь на специальные исследования. Э.Г. Бабаев назвал роман «Евгений Онегин» «энциклопедией романического жанра»; «Пушкин создал первые классические образцы семейного романа, социального романа, исторического романа. И все это было сплавлено в единое целое в “Евгении Онегине”» (105, 44). Что же касается ораторских жанров, то при изучении «Евгения Онегина» должны быть учтены различные жанры церковного, политического, судебного, торжественного, академического, бытового красноречия.

Обратимся, например, к речам автора в защиту Татьяны и Онегина. В данном случае можно говорить о том, что это своего рода «защитительные» речи, которые произносит Пушкин на своеобразном суде героев читателями и светским обществом.

В третьей главе, рассказав о том, что Татьяна — «невинная дева», пишет «необдуманное письмо» Онегину, еще не приводя текст этого письма, Пушкин прерывает повествование риторическим вопросом: «Татьяна! для кого ж оно?» Далее следует рассуждение о «красавицах недоступных» и «других причудницах», «самолюбиво равнодушных / Для вздохов страстных и похвал». Затем автор произносит речь в защиту Татьяны:

За что ж виновнее Татьяна?

За то ль, что в милой простоте

Она не ведает обмана
И верит избранной мечте?
За то ль, что любит без искусства,
Послушная влеченью чувства,
Что так доверчива она,
Что от небес одарена
Воображением мятежным,
Умом и волею живой,
И своенравной головой,
И сердцем пламенным и нежным?
Ужели не простите ей
Вы легкомыслия страстей?

(VI, 62)

В речи Пушкин использует такие риторические фигуры, как вопрошение, единоначатие, многосоюзие. В качестве доводов к оправданию исчисляются высокие нравственные качества Татьяны, противопоставленной «красавицам недоступным», «причудницам». Логически завершает речь призыв, обращенный к читателям: «Ужели не простите ей / Вы легкомыслия страстей?»

В восьмой главе Пушкин показывает Онегина, представшего перед судом петербургского света. Разноречивые, но в целом неблагоприятные суждения общества даны в VIII строфе главным образом как каскад риторических вопросов:

Все тот же ль он, иль усмирился?

Иль корчит также чудака?
Скажите, чем он возвратился?
Что нам представит он пока?
Чем ныне явится? Мельмотом,
Космополитом, патриотом,
Гарольдом, квакером, ханжой,
Иль маской щегольнет иной,
Иль просто будет добрый малой,
Как вы да я, да целый свет?
По крайней мере мой совет:
Отстать от моды обветшалою.
Довольно он морочил свет...
— Знаком он вам? — И да и нет.

(VI, 168)

Заметим, что в подобной же системе риторических вопросов были представлены оценки, которые давала Татьяна Онегину в XIV строфе седьмой главы. Затем в следующей IX строфе слово произносит автор романа:

— Зачем же так неблагоклонно
Вы отзываетесь о нем?
За то ль, что мы неугомонно
Хлопочем, судим обо всем,
Что пылких душ неосторожность
Самолюбивую ничтожность

Иль оскорбляет, иль смешит,
Что ум, любя простор, теснит,
Что слишком часто разговоры
Принять мы рады за дела,
Что глупость ветрена и зла,
Что важным людям важны вздоры,
И что посредственность одна
Нам по плечу и не странна?

(VI, 169)

Используя риторические приемы (риторические фигуры вопрошения, единоначатия, форму «мы», объединяющую оратора со слушателями, что сообщает речи доверительный тон, делает ее более убедительной), Пушкин защищает своего героя и вместе с тем обвиняет его судей — «самолюбивых ничтожностей», представителей злой глупости, «важных людей», которым «важны вздоры». В речи содержится противопоставление Онегина его судьям: он, Онегин, — обладатель пылкой души и ума. Заключение речи «И что посредственность одна / Нам по плечу и не странна?» многозначительно: в подтексте этих слов возвышение Онегина над посредственностью, утверждение незаурядности его личности.

Другой пример, связанный с бытовым красноречием. Описывая в четвертой главе обед Онегина и Ленского, Пушкин произносит шутливую речь, посвященную винам. Сравнивая аи и

бордо, которые в свою очередь сравниваются с любовницей и другом, поэт-оратор завершает свое рассуждение своеобразным тостом (тост, как известно, — жанр бытового красноречия):

Но ты, *Бордо*, подобен другу:

Который, в горе и в беде,

Товарищ всегда, везде,

Готов нам оказать услугу

Иль тихий разделить досуг.

Да здравствует *Бордо*, наш друг!

(VI, 92)

Разумеется, ораторские жанры не могут быть выявлены в «Евгении Онегине» как и в пушкинской лирике в их «чистом» виде. Здесь можно говорить именно об определенной ориентации Пушкина на их образы и мотивы, на использование выразительных возможностей ораторского искусства. Особенно интересно дают о себе знать в пушкинском романе в стихах жанры проповеди и надгробного слова. Остановимся на этом подробнее.

2. «ТАК ПРОПОВЕДОВАЛ ЕВГЕНИЙ»

«Пользуясь такими “общими” стилистическими категориями, как “восточный слог”, стиль библии, корана, “подражание древним” и т. п., Пушкин опирался на сложный

литературно-исторический опыт русской и западноевропейской поэзии, а также на живую словесно-художественную традицию, — писал В.В. Виноградов. — Но и в эти общие категории Пушкин вносил яркие краски своего индивидуального поэтического стиля» (138, 493).

Наблюдение В.В. Виноградова может быть отнесено и к роману «Евгений Онегин». При этом сам факт обращения Пушкина к библейскому стилю, творческого использования его художественной системы может быть связан и с жанром проповеди, имевшим многовековую литературную традицию и широкую практику в жизни пушкинского времени.

Жанровые особенности проповеди во многом определялись ее главной задачей. Она состояла в том, чтобы раскрыть и утвердить в сознании верующих истины христианской религии, наставить их на путь следования этому учению. Такая целевая установка непременно присутствовала и в других жанрах церковного красноречия — в надгробных словах, панегириках, поучениях; в конечном счете они также являлись проповедью. Для достижения поставленной цели церковные ораторы использовали библейские тексты, стремились к тому, чтобы отвлеченные понятия были представлены в ярких образах, почерпнутых из самой жизни, логически выстраивали цепь своих рассуждений, насыщали речь эмоциональным пафосом, рассчитанным на то, чтобы воздействовать не только на разум, но и на чувства

слушателей. Что же касается тематики проповедей, то в пушкинскую эпоху она была весьма разнообразна, не исчерпывалась только религиозным содержанием. Церковные проповедники, как мы уже говорили, откликались на политические события; произносили они и речи, относящиеся к широкой сфере быта (например, проповеди о холере, слова «при продолжении молитв о избавлении от заразительных болезней» (84), увещания «о прививании предохранительной коровьей оспы» (45), поучения «О средствах начальнических, как соблюдать в целости своих подчиненных», «О должности родителей в рассуждении попечения о детях» (13) и др.).

Утверждение в проповеди высокой идеи, вечных ценностей сближает ее с художественным произведением. Это было осознано П.Я. Чаадаевым. «Я думаю, — писал П.Я. Чаадаев, — что всякое художественное произведение есть ораторская речь или проповедь, в том смысле, что оно необходимо заключает в себе слово, через которое оно действует на умы и на сердца людей, точно так же, как и проповедь или ораторская речь» (278, 251). В этом отношении произведение Пушкина в целом может быть соотнесено с проповедью. И если теперь, как пишет Ю.Н. Чумаков, «настало время прочесть роман на фоне универсальности *sub specie aeternitatis* (319, 75), то здесь должны быть учтены не только библейские тексты (Ю.Н. Чумаков сближает роман с книгой «Экклесиаста», приводит реминисценции «Экклесиаста» в

«Евгении Онегине»), но и связь, возможная ориентация Пушкина на широкую ораторскую культуру проповедничества. Если же говорить о тех фрагментах текста «Евгения Онегина», в которых непосредственно отразилась риторическая традиция жанра проповеди, то в данном случае следует обратиться и к авторскому повествованию, и к монологам Онегина и Татьяны — именно в этих монологах риторика проповедей особенно дает о себе знать.

Прежде всего — об авторском повествовании. Конечно, в тексте романа в стихах — в авторском повествовании и в монологах героев — трудно выделить жанр проповеди в ее «чистом виде» (это относится и к другим ораторским жанрам в «Евгении Онегине», и мы об этом уже говорили). Но в отдельных случаях при сопоставлении с ораторскими текстами в романе Пушкина, на наш взгляд, достаточно определенно выявляются мотивы и образы проповеди, риторические формы этого жанра. Так, например, с текстом проповеди соотносится XXIX строфа восьмой главы. Сравним:

Любви все возрасты покорны;
Но юным, девственным сердцам
Ее порывы благотворны,
Как бури вешние полям.
В дожде страстей они свежеют,
И обновляются, и зреют —
И жизнь могущая дает

И пышный цвет и сладкий плод.
Но в возраст поздний и бесплодный,
На повороте наших лет,
Печален страсти мертвой след:
Так бури осени холодной
В болото обращают луг
И обнажают лес вокруг.

(VI, 178)

«Истощенное беспрестанными исканиями благ, себе потребных, сердце, как земля, иссушенная долговременным бездождем, жаждет росы благодатной; но всегда ли, упитавшись оною, приносит плоды полезные? Как часто после всех удобрений возвращает только семена, ему вверенные, покрывается колючим тернием, произращает зелие вредное» (17, 61).

Приведенные тексты — из романа Пушкина «Евгений Онегин» и из проповеди архиепископа Подольского и Брянского Антония «О сохранении себя в путях жизни от искушений греха» — близки по композиции, образному ряду, стилистике. Но Пушкин поэтически преображает застывшие формы жанра, раскрывает заложенные в них выразительные возможности.

Поэтический арсенал проповеди использовался Пушкиным с различными целями. В зависимости от этого его поэтический текст приобретал различные эмоциональные, смысловые оттенки:

в нем выражалась и мягкая насмешка, и едкая ирония, и лирическое чувство, и философское размышление. Так, Пушкин пародийно использует форму церковного поучения в XX строфе четвертой главы, где шутливо исчисляет те знаки внимания, которые мы должны оказывать родным с тем, «Чтоб остальное время года / Не думали о нас они...» (VI, 81). Поучение Пушкина по традиции церковного красноречия завершает обращение к Богу: «И так, дай Бог им долги дни!» (там же). В контексте же строфы и оно приобретает пародийное звучание.

Библейский зачин «Блажен...» открывает X строфу восьмой главы, где иронически представлен перечень земных благ и достоинств, которые дают право причислять себя к людям, подобным тому, «О ком твердили целый век: / NN прекрасный человек» (VI, 169). Но библейский зачин «Блажен...» включен и в LI строфу восьмой главы, строфу, венчающую роман:

Блажен, кто праздник Жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина,
Кто не дочел Ее романа
И вдруг умел расстаться с ним,
Как я с Онегиным моим.

(VI, 190)

Проповедническая интонация придает тексту высокий философский пафос, помогает раскрыть глубокий философский смысл размышлений Пушкина о жизни.

Различна по своему эмоциональному воздействию проповедническая риторика и в монологах Онегина и Татьяны.

Монолог Онегина в четвертой главе Пушкин завершает пояснением: «Так проповедовал Евгений» (VI, 79). Слово «проповедовал» не случайно: недаром в восьмой главе Татьяна вспоминает именно проповедь Онегина:

И нынче — боже! — стынет кровь,
Как только вспомню взгляд холодный
И эту проповедь...

(VI, 186)

Пушкин декларирует установку на проповедь в речи своего героя, настраивает читателя на восприятие привычных формул проповеди, поучения. И действительно, речь Онегина во многом построена по законам проповеди, риторически организована. Ее композиция основана на контрастах и противопоставлениях, призванных убедить слушателя в утверждаемой оратором истине. Этому служит и ссылка на совесть самого оратора («Поверьте (совесть в том порукой), / Супружество нам будет мукой»), и риторические вопросы, и контрастное противопоставление в духе проповедей картин счастливой и несчастливой семейной жизни,

где наглядно предоставлены образы бедной жены и ее недостойного мужа. Сравним:

«Что может быть на свете хуже
Семьи, где бедная жена
Грустит о недостойном муже
И днем и вечером одна;
Где скучный муж, ей цену зная,
(Судьбу, однако ж, проклиная),
Всегда нахмурен, молчалив,
Сердит и холодно-ревнив.

(VI, 79)

«На сем (на взаимной любви и выполнении супружеских обязанностей — *Н.М.*) основывается будущее благо ваше. Без сего священные узы брака соделаются для вас такмо тяжкими оковами. Без сего сердца ваши, соединенные ныне для покоя взаимного, любви чистой, наслаждения непорочного, будут точию печальным вертепом скуки, мучений, неудовольствий» («Слово, говоренное Преосвященным Амвросием, Епископом Тульским и Белевским, к сочетанному браку в Туле, по случаю заключенного мира между Россиею и Франциею, благотворением Московского первостатейного купца Федора Васильевича Ливенцова, июля 20 дня, 1817 года»* (12, 6).

* «Слово» епископа Тульского и Белевского Амвросия — любопытный исторический документ. Его публикация в 1814 году предварялась таким текстом:

«Московский первостатейный купец, живущий в городе Туле, Федор Васильевич Ливенцов, желая ознаменовать благотворением благополучное окончание тяжелой для России войны и вожделенный мир, между Россиею и Франциею заключенный, так и благоговение свое к Всеволюбленнейшему Монарху России Александру, положил выдать своим иждивением в замужество сорок бедных девиц из Мещанского и Оружейного сословия города Тулы. А как открылось оных числом шестьдесят седм, то и прочих двадцать седм восхотел он ошастливать благотворением своим. Почему, по предварительному распоряжению Духовного и Светского начальства, браки сии и совершены 20 июля сего 1814 года. — По совершении браков в четырех градских церквах новобрачные собраны были в Тульской Кафедральной Собор, в котором по отправлении молебна и возгласении многолетия Его Императорскому Величеству и всей Августейшей Фамилии Преосвященный Амвросий, Епископ Тульский и Белевский, говорил им следующее поучение» (12, 1).

Пушкин включает в речь Онегина и традиционное для церковного красноречия сравнение человека с природой:

Сменит не раз молодая дева
Мечтами легкие мечты;
Так деревцо свои листы
Меняет с каждою весною.

(V, 79)

«То, что открывается в целой природе, должно совершиться и над человеком. Она умирает во время холодной зимы, когда испещренное благовонными цветами лицо ее обнажается своих очаровательных красот и приятностей, когда быстрые круговращающиеся воды сковываются и, по-видимому, останавливаются в сердце земли окаменевшей, когда все силы видимого действия остаются, как бы в безжизненном состоянии. Но в сем мертвенном состоянии природа сокровенным образом приготавливает силы к открытию себя в очаровательнейшей красоте и благолепии. Так — при первом появлении весны она сбрасывает с себя печальное покрывало, разторгает сковывающие и мертвящие ее узы хлада, — и бодрственная деятельность вступает на место безчувствия, жизнь на место смерти, радость на место скуки» (31, 8–9).

Убеждая Татьяну, Онегин ссылается на высший авторитет: «Так, видно, небом суждено» (VI, 79). Завершается речь Онегина поучением:

Учитесь властвовать собою;
Не всякий вас, как я, поймет;
К беде неопытность ведет.

(VI, 79)

(Черновой вариант — «Ко злу неопытность ведет». VI, 350.)

Сравним поучение Онегина с поучительным словом «о Божием попущении зла в человечестве», произнесенном

митрополитом Новгородским и Санкт-Петербургским Амвросием на день Святыя Пасхи: «Итак, страсти наши, по премудрому попущению Божию, обращаются в нашу же пользу, когда мы умеем возобладать оными. Но есть ли добровольно попустим им возобладать над собою, то от них-то разум наш затмевается сомнениями, заблуждениями, ересями, а воля враждами и распрями» (13, ч. 1, 51).

Таким образом, сложная риторическая конструкция, выстроенная Онегиным, сводится к прописной морали. Высокая истина, к которой должен стремиться оратор с тем, чтобы убедить в ней слушателей, подменяется расхожим наставлением. Ораторский пафос оказывается ложным. Ничтожность преподанного Татьяне «урока», задрапированная в ораторскую мантию, умаляет героя, снижает в глазах читателя его облик.

Любопытно отметить, что Онегин не сразу начинает свою речь: «Минуты две они молчали» (VI, 77). В «Руководстве к церковному красноречию, с примерами из Священного Писания, Святых Отец и славнейших Ораторов Христианских», третье издание которого вышло в свет в 1833 году, отмечалось: «По общему почти обыкновению, Оратору, а особенно Оратору священному, надлежит немного помолчать пред начатием слова» (71, 309). Специальный раздел в этом руководстве посвящался «действию глазами и руками», где говорилось о том, что «в некоторых случаях важность материи требует, чтоб глаз говорил

прежде уст, и чтоб он своими взорами возвещал то, что уста произносить хотят» (71, 308). Онегин предстает подобно грозной тени пред Татьяной, «блистая взорами». И она вспоминает потом не только проповедь Онегина, но и его «взгляд холодный».

Роль проповедника, взятая Онегиным, окружает его ореолом иронии. Пушкинская ирония выявляется и при сопоставлении Онегина с идеальным образом церковного проповедника, который нарисован в «Руководстве к церковному красноречию» и представлен как человек, «который вознесен <...> превыше других, <...> которого уста суть святилище вечных истин <...> которого слова суть ток пламени, <...> который на страшных весах взвешивает судьбы и совести, снимает завесу с глаз грешника, изторгает слезы из кающихся, держит ключи неба и ада; наконец, <...>, который расточает тьму и производит свет» (71, 308).

Монолог Татьяны также во многом связан с ораторской традицией и, в частности, с жанром проповеди. Так же как Онегин начинает свою речь после молчания, так же и Татьяна не сразу начинает говорить. Но если молчание, предвещающее речь Онегина, кратковременное — «минуты две», то Татьяна прерывает своей речью «долгое молчанье». В начале объяснения Татьяны с Онегиным заявлена установка, важная для восприятия ее речи, — установка на откровенность: «...Я должна / Вам объясниться откровенно». В начале речи Татьяны заявлено и то, что это будет

ответ на проповедь Онегина, на некогда преподанный Онегиным урок: «Сегодня очередь моя». В XLIII строфе Татьяна упрекает, но не обвиняет Онегина за его проповедь, которой некогда он ответил на ее любовь:

... Но вас
Я не виню: в тот страшный час
Вы поступили благородно.
Вы были правы предо мной:
Я благодарна всей душой...
(VI, 186–187)

Татьяна обвиняет Онегина в том, что он преследует ее теперь, когда она является в высшем свете, когда она «богата и знатна». XLIV строфа построена как водопад риторических вопросов, обвиняющих Онегина, — вопросы завершаются наиболее суровым предположением низменных мотивов его преследования:

Не потому ль, что мой позор
Теперь бы всеми был замечен.
И мог бы в обществе принести
Вам соблазнительную честь?
(VI, 187)

Комментируя следующую XLV строфу, Л.П. Гроссман пишет: «...речь Татьяны достигает апогея своей гневности, она корит, осуждает и клеймит Онегина за его “обидную страсть” и не останавливает перед суровым приговором. Восклицания и вопросы, прерывающие серию осуждений, кажутся здесь репликами прокурора: “А нынче! — Что к моим ногам / Вас привело? Какая малость!” Наконец, эта строгость и сдержанное возмущение бурно прорываются в гневном и оскорбительном заключении: Татьяна называет Онегина “рабом мелкого чувства”» (161, 146–147). Затем в XLVI строфе интонация монолога Татьяны меняется. Это уже не гневная обвинительная речь:

«А мне, Онегин, пышность эта,
Постылой жизни мишура,
Мои успехи в вихре света,
Мой модный дом и вечера,
Что в них? Сейчас отдать я рада
Всю эту ветошь маскарада,
Весь этот блеск, и шум, и чад
За полку книг, за дикой сад,
За наше бедное жилище,
За те места, где в первый раз,
Онегин, видела я вас,
Да за смиренное кладбище,
Где нынче крест и тень ветвей
Над бедной нянею моей...

(VI, 188)

В монологе Татьяны в отличие от монолога Онегина нет декларативной установки на жанр проповеди. И здесь нет авторской иронии. Речь Татьяны — это проповедь высоких нравственных идеалов, подлинных духовных ценностей. При этом речь Татьяны не имеет прямых соответствий и параллелей с текстами проповедей, в ней нет готовых риторических штампов. Риторические вопросы, восклицания, контрасты передают взволнованную интонацию искреннего чувства, служат в конечном счете утверждению верности нравственному долгу. Примечательно, что это утверждение отнесено к концу речи:

Я вас люблю (к чему лукавить?),
Но я другому отдана;
Я буду век ему верна.

(VI, 188)

«Последние стихи удивительны — подлинно конец венчает дело!», — восклицал В.Г. Белинский (111, 501). Такое построение речи отвечало требованиям «Риторик». «Последнее место есть самое видное в периоде и потому никогда не должно оканчивать период малозначащим словом; и в природе концы ветвей у растений гордятся цветами», — писал Ф. Малиновский в изданных в 1816 году «Правилах красноречия, в систематический порядок приведенных и Сократовым способом расположенных» (50, 133).

Риторическая организация монологов Онегина и Татьяны, их ориентация на ораторскую традицию проповеди связана, как нам представляется, с их важным сюжетным, композиционным и характеристическим значением, с тем, что эти монологи несли большую смысловую нагрузку в структуре романа. Для того чтобы подчеркнуть их значимость, выделить из повествования, выразительнее передать их содержание, Пушкин и обратился к жанру проповеди, к его веками отработанной художественной системе. При этом Пушкин творчески использовал заложенные в жанре художественные возможности, придав проповеди в контексте своего произведения не только высокий, но и сниженный иронический смысл.

То, что мы сказали о жанре проповеди, может быть во многом отнесено к жанру надгробного слова, который также отозвался в романе Пушкина.

3. «ДРУЗЬЯ МОИ, ВАМ ЖАЛЬ ПОЭТА...»

Решая в «Евгении Онегине» философские проблемы жизни и смерти, описывая смерть своих героев, Пушкин так или иначе ориентировался на жанр надгробной речи, имевший давнюю традицию, в отдельных случаях воспринимая, развивая или же переосмысливая его художественную систему.

Надгробная речь — жанр церковного красноречия, особенности которого определяются как самой ситуацией произнесения речи при погребении, так и общими задачами проповедничества. В надгробной речи есть похвальное слово усопшему, сказанное с целью утешения слушателей и наставления их в вере, утверждения христианских добродетелей. Прощание с покойным, то есть конкретный бытовой случай является поводом для рассуждения о жизни и смерти в свете Священного Писания.

Ораторские тексты, которые оказывались в поле притяжения и отталкивания Пушкина, были хорошо знакомы его современникам. Это позволяло автору на фоне традиции ярче выявить свое новаторство, а читателям острее ощутить авторское своеобразие, включив авторский текст в известный ассоциативный ряд, в своего рода сферу эмоционального, стилистического и образного узнавания.

Обратимся к некоторым фрагментам «Евгения Онегина». Сопоставим с ними тексты «Слова на погребение Его Превосходительства, Г. Гражданского Воронежского Губернатора, Тайного Советника и разных орденов Кавалера, Александра Борисовича Сонцова, говоренного в Кафедральном Архангельском Соборе Преосвященным Антонием, Епископом Воронежским и Черкасским и Кавалером, 1811 года, февраля, 23 дня», «Слова, говоренного при погребении Бригадира Петра Алексеевича Булгакова, бывшим Троицкой Лаврской Семинарии. Ректором и

Волоколамского Иосифова монастыря Архимандритом Евграфом, Московской Епархии в селе Подсосенье 1806 года ноября 11 дня», «Слова, говоренного при погребении его сиятельства князя Павла Михайловича Дашкова Преосвященным Августином, епископом Дмитровским, викарием Московским, 1807 года», «Слова, говоренного при погребении его сиятельства господина Канцлера и разных орденов Кавалера Графа Ивана Андреевича Остермана преосвященным Августином, Епископом Дмитровским, Викарием Московским и Кавалером 1811 года апреля 23 дня», тексты других надгробных слов 1810–1820 годов. Конечно, за каждым из этих текстов — история, люди пушкинского времени, их судьбы. Но не это сейчас для нас важно. В данном случае надгробные слова представляют для нас интерес как произведения определенного жанра церковного красноречия, жанра, который нашел свое отражение в пушкинском романе в стихах. Итак, обратимся к «Евгению Онегину».

Во второй главе, в XXXVI строфе так говорится о смерти Дмитрия Ларина:

И так они старели оба.
И отворились наконец
Перед супругом двери гроба
И новый он приял венец.
Он умер в час перед обедом,
Оплаканный своим соседом,
Детьми и верною женой

Чистосердечней, чем иной.
Он был простой и добрый барин,
И там, где прах его лежит,
Надгробный памятник гласит:
Смиренный грешник, Дмитрий Ларин,
Господний раб и бригадир,
Под камнем сим вкушает мир,

(VI, 47–48)

Приведенный текст несет отпечаток надгробной речи. Ю.М. Лотманом отмечена стилистика в духе XVIII века, перефразы: «отворились двери гроба», «новый он приял венец» вместо «умер» — исследователь связывает это с эпитафией высокого стиля (202, 105), но здесь, как нам кажется, должен быть учтен и жанр церковного красноречия. Пушкин вплетает в повествовательную ткань «Евгения Онегина» еще один стиль, в романе звучит еще один голос эпохи — ораторское слово сельского священника, которое было еще и фактом провинциального помещичьего быта. В контексте же повествования сочетание высокой церковной риторики с прозаизмами («новый он приял венец» и «умер в час перед обедом», «господний раб» и «бригадир») создает указанный Ю.М. Лотманом тонкий комический эффект.

Более сложная игра стилями — в шестой главе, в рассказе о смерти Ленского. Прежде всего следует заметить, что здесь

отсутствует прямая мотивировка обращения к жанру надгробной речи. По наблюдению Ю.М. Лотмана, «строфы XI–XII шестой главы <...> позволяют предположить, что Ленский был похоронен вне кладбищенской ограды, т. е. как самоубийца» (202, 105). Самоубийц не отпевали в церкви. Священник не произносил надгробную речь над Ленским — она произнесена автором романа.

Авторское повествование о смерти Ленского, начиная со слов «Пробили часы урочные» (XXX строфа шестой главы) и кончая упоминанием о нем в седьмой главе после рассказа о браке его невесты, включает в себя мотивы и образы надгробной речи, отмечено ее стилистикой, характерной риторической организацией. Риторические восклицания, вопросы, обращения к читателям-слушателям создают взволнованную интонацию, позволяют выразить скорбные чувства автора, заставить читателей сопереживать трагическое событие, ощутить горечь утраты.

Младой певец

Нашел безвременный конец!

Дохнула буря, цвет прекрасный

Увял на утренней заре,

Потух огонь на алтаре!..

(VI, 130)

Этот отрывок из XXI строфы принято комментировать как рассказ о гибели Ленского языком его поэзии, как набор

элегических штампов (202, 305–306; 125, 92; 319, 81). Между тем здесь выявляется и традиция надгробных речей, где жизнь человека метафорически уподобляется тени, ветру, дыму и особенно часто увядшему цветку:

«Что дне наши, вопиет Пророк, цвет — завтра увядающий, пара, при дуновении ветра исчезающая, тень преходящая»... (22, 3).

«Что есть жизнь наша! Иов уподобляет ее цвету процветающему и отпадающему и сени отбегающей и непостоящей; Давид ветру не возвращающемуся, дыму развеваемому...» (13, ч. III, 35). (У Пушкина: «Поэта память пронеслась / Как дым по небу голубому». VI, 144).

Следующая XXXII строфа за исключением 3 и 4 стиха также ассоциируется с образами и мотивами надгробных речей. Здесь и описание неподвижности покойника, перехода от жизни к смерти; здесь и сравнение покойника с опустевшим домом, которое представляет собой поэтически развернутую метафору из надгробных речей, где тело усопшего называлось гостиницей духа, храминой духа, оставленным домом.

Сравним: «...муж сей, заснув приятнейшим сном, на крыльях веры, любви и надежды Евангельския, воспарил к престолу Вечного: а здесь долу, отложив токмо труды, заботы, болезни, досаду, огорчения, оставил тем самым дом старый, исполненный тления и гнилости; оставил дом, от подкопов плоти и

крови разсевшейся, дабы там восстать в силе, в своеобразии светлости Христовой» (16, 6).

Теперь, как в доме опустелом,
Все в нем и тихо и темно;
Замолкло навсегда оно.
Закрыты ставни, окна мелом
Забелены. Хозяйки нет,
А где, бог весть. Пропал и след.

(VI, 131)

Пушкин обращается к традиционному образу, намеренно прозаически снижает его, но с помощью именно прозаических деталей создает эмоционально-выразительную поэтическую метафору. Это почувствовал П.А. Вяземский. «Поэтическая живость и прозаическая верность соединяются в одном ярком свете, в поразительной истине, — писал он 6 января 1827 года А.И. Тургеневу. — Убитого Ленского сравнивает он с домом опустевшим: окна забелены, ставни закрыты — хозяйки нет, а где она, никто не знает. Как это все сказано, как просто и сильно, с каким чувством» (227, 55).

XXXIII–XXXV строфы — это живой, взволнованный разговор автора с читателем (но не надгробная речь), описание потрясения Онегина, изображение страшной картины перевозки окоченевшего трупа.

Следующие XXXVI–XXXIX строфы, а также первые четыре стиха XL строфы представляют своеобразное надгробное слово с четкой композиционной организацией, надгробное слово, сказанное Пушкиным.

XXXVI строфа, начатая обращением к читателям-слушателям, выражающим сожаление по поводу безвременной кончины Ленского, продолжена каскадом риторических вопросов, в которых представлены добродетели покойного:

Друзья мои, вам жаль поэта:
Во цвете радостных надежд,
Их не свершив еще для света,
Чуть из младенческих одежд,
Увял! Где жаркое волненье,
Где благородное стремленье
И чувств и мыслей молодых,
Высоких, нежных, удалых?
Где бурные любви желанья,
И жажда знаний и труда,
И страх порока и стыда,
И вы, заветные мечтанья,
Вы, призрак жизни неземной,
Вы, сны поэзии святой!

(VI, 132–133)

Сравним: «Мы обманулись, Сл. — друг наш успе. — Цвет лет его раскрылся и увял — не созрели надежды наши» (37, 1).

«Печальные слушатели! отдая последнее целование усопшему в Бозе князю Павлу, вы сетуете о кончине его; — и ах! какое сердце вздохов своих не соединит со вздохами вашими? — таланты ума и сердца, пламенная любовь к отечеству, ревность к общему благу, праводушие и милосердие суть те преимущества, которые украшали его и отличали: и вот сии изящные преимущества ныне на веки сокрываются во гробе» (2, 7).

Представленные в XXXVII–XXXIX строфах два варианта возможной судьбы Ленского также в русле установки, свойственной надгробным речам:

«Одна мысль о смерти дает нам почувствовать, что мы сделали, то ли делали, чего не сделали, что сделать оставили» (37, 6).

Рассматривая названные строфы, небезынтересно обратиться к черновикам романа — они свидетельствуют, на наш взгляд, о том, что ораторские тексты могли быть в поле зрения Пушкина в процессе его работы над сценой дуэли и смерти Ленского.

В невошедшем в основной текст варианте XXXVIII строфы возможная судьба Ленского сравнивается с участью Рылеева, Наполеона, Кутузова, Нельсона:

Исполня жизнь свою отравой,
Не сделав многого добра,
Увы, он мог бессмертной славой
Газет наполнить нумера.
Уча людей, мороча братий
При громе плесков иль проклятий,
Он совершить мог грозный путь,
Дабы последний раздохнуть
В виду торжественных трофеев,
Как наш Кутузов иль Нельсон,
Иль в ссылке, как Наполеон,
Иль быть повешен, как Рылеев.

(VI, 612)

Таким образом намечается тема Отечественной войны 1812 года. Присутствует эта тема и в черновых набросках XXXIV строфы, где говорится о гибели сына графа П.А. Строганова в сражении 1814 года:

(Но если Жница роковая
Окровавленная, слепая,
В огне, в дыму — в глазах отца
Сразит залетного птенца!)
О страх! о горькое мгновенье
О Ст<роганов> когда твой сын
Упал сражен, и ты один.
[Забыл ты] [Славу] <и> сраженье

И предал славе ты чужой
Успех ободренный тобой*.

(VI, 412)

* Строганов Павел Александрович (1777—1817) — ученик Жильбера Рома, первый русский якобинец, свидетель и участник Великой Французской революции, участник войн с Наполеоном, генерал; в феврале 1814 года в сражении при Краоне он, получив известие о том, что его сыну оторвало ядром голову, передал командование дивизией графу М. С. Воронцову.

Ю.Н. Тынянов, указывая на то, то лицейские воспоминания Пушкина, связанные с Кюхельбекером, окружают дуэль Онегина и Ленского, писал: «П.А. Строганов умер 10 июня 1817 г. назавтра после окончания Пушкиным и Кюхельбекером лица, и его похороны могли запомниться Пушкину» (296, 288). Продолжая это достаточно обоснованное предположение, заметим, что надгробную речь на похоронах графа П.А. Строганова произносил архимандрит Филарет. Речь его произвела сильное впечатление на слушателей — об этом в какой-то мере может свидетельствовать помещенное в № 31 «Духа журналов» за 1817 год сочинение «Чувствование христианина при отпевании тела графа П.А. Строганова и при слушании слова, произнесенного на сей случай архимандритом Филаретом» (317). В том же 1817 году речь была отпечатана в типографии Н.И. Греча отдельным изданием: «Слово, говоренное в Благовещенской церкви Святотроицкой

Александронеvской Лавры в высочайшем присутствии Его Императорского Величества Благочестивейшего Государя Императора Александра Павловича и их Императорских Высочеств Государей Великих князей Цесаревича Константина Павловича и Михаила Павловича пред отпеванием тела покойного Генерал-Лейтенанта и Его Императорского Величества Генерал-Адьютанта, командовавшего Лейб-Гвардии 2-ю Дивизией, Российских Орденов Св. Александра Невского, Св. великомученика и победоносца Георгия II класса, Св. Равноапостольного Князя Владимира 2 степени большого креста и Св. Анны I класса Кавалера, иностранного ордена Св. Иоанна Иерусалимского командора и проч. графа Павла Александровича Строганова в 5 день июля сего года Санкт-Петербургской Духовной Академии Ректором Архимандритом Филаретом». Таким образом Пушкин мог не только слышать, но и читать эту речь архимандрита Филарета.

Описывая трагедию отца, архимандрит Филарет сказал: «И се — бранный вихрь, вопреки человеческой заповеди, приносит юного ратоборца под знамена родителя; и приносит токмо для того, чтобы он пал под знаменами родителя! Какое искушение веры и терпения — видеть смерть сына, и даже не оплакивать его; видеть смерть достойного сына, и проститься с приятнейшими надеждами; видеть смерть единственного сына, и вдруг пережить свое потомство!» (80, 9).

Архимандрит Филарет, превознося мужество графа П.А. Строганова, говорит о том, что он не оплакивает своего сына.

Пушкин в цитируемом отрывке, в предыдущих стихах как бы иронически полемизирует с архимандритом Филаретом:

Когда горящая картечь
Главу сорвет у друга с плеч —
Плачь, воин, не стыдись, плачь вольно
И Кесарь слезы проливал —
Когда он друга смерть узнал
И сам был ранен очень больно
(Не помню где, не помню как)
Он был конечно не дурак.

(VI, 411)

Перед этими стихами, также не без скрытой иронии, декларируется человечность героя:

В сраженье смелым быть похвально,
Но кто не смел в наш храбрый век —
Все дерзко бьется, лжет нахально
Герой, будь прежде человек —
Чувствительность бывала в моде
И в нашей северной природе.

(VI, 411)

Ю.М. Лотман в комментариях к роману отмечает исключительную важность для идейно-творческих исканий Пушкина формулы «Герой, будь прежде человек», отразившейся впоследствии в стихотворении «Герой»: «Оставь герою сердце! Что же / Он будет без него? Тиран...» (202, 307).

Думается, что в данном случае небезынтересно указать на поэтическую традицию, которой следует Пушкин, в частности, на стихотворения В.А. Жуковского «Герой» и «Человек», уже сами названия которых являются программными (331, 56). Кроме того, при изучении пушкинских произведений должна быть учтена и ораторская традиция — торжественные и похвальные слова, приветствия, обращенные к государственным деятелям, надгробные речи, проповеди, в которых ораторы призывали к христианским добродетелям*. Одним из возможных текстов, соотносящихся со стихами Пушкина, может быть «Надгробная речь Принцу Конде» известного французского проповедника Боссюэ, речи которого были признаны образцовой ораторской прозой**:

* Любопытно, что в лицейском учебнике риторики А. С. Никольского «Основания российской словесности, ч. II, Риторика» приводится фрагмент похвального слова французского проповедника Агессо, обращенного к Людовик) XIV, в котором государь противопоставлен герою именно в силу своих человеческих добродетелей (58, 54–66).

****** В предисловии к русскому изданию «Надгробных слов Боссюэта, епископа Мосского», вышедшему в 1822 году, Ив. Пенинский писал: «Знаменитое имя писателя избавляет меня от труда распространяться в похвалу его. Рассуждение Боссюэта о всеобщей истории и надгробные его Слова приняты ученым светом в число классических книг. <...> Боссюэт был то же для Прозы, что отец театра (Корнель — *Н.М.*) для Поэзии.

Некоторые места в его Надгробных словах могут действительно почтяться отрывками Лирической Поэзии. <...>

В одно время пророк и учитель, великий Политик и глубокомысленный историк, Боссюэт принадлежит к тому малому числу людей, которые постигли дела Человеческие и Божественные, Христианство и Политику. Сие сугубое сведение было, без сомнения, источником того единственного красноречия, коему удивляемся в его творениях» (23, V–XX).

«Много было Героев храбрых в сражении, твердых в несчастии, но не все, подобно Принцу Конде, имели сердце нежное и чувствительное. Неоднократно видел я, как сокрушался он об опасностях друзей своих, проливал слезы о их бедствиях, принимал участие в самых маловажных случаях жизни их, примирял их несогласия, утешал в горестях с кротостью и терпением, необыкновенными для человека его пылких свойств и его высокого рода. Удалитесь от меня, Герои бесчеловечные! Так, вы можете исторгнуть удивление, подобно всем чрезвычайным явлениям природы, но вы никогда не будете любимы» (23, 264).

В стихотворении «Герой» формуле Боссюэ придан иной философский, исторический смысл. В черновиках же «Евгения

Онегина», будучи поставленной в иронический контекст, она также приобретает скрытый иронический оттенок*.

* Творчество Пушкина в соотношении с ораторской прозой Боссюэ может явиться, на наш взгляд, предметом специального исследования. Известно, что в библиотеке Пушкина было пятитомное полное собрание сочинений Боссюэ, изданное в Париже в 1836 году. Пушкин высоко ценил ораторское мастерство французского проповедника, его надгробные речи (XI, 270, 365). Не исключено, что в произведениях Пушкина могут быть обнаружены реминисценции и скрытые цитаты из сочинений Боссюэ. Так, нам представляется, что цитаты из «Надгробного слова королеве Английской» есть в «Борисе Годунове». Сравним:

Всегда народ к смятенью тайно склонен (VII, 87).

«Народ всегда носит в груди своей искру возмущения» (23, 26).

... бессмысленная чернь
Изменчива, мятежна, суеверна,
Легко пустой надежде предана,
Мгновенному внушению послушна,
Для истины глуха и равнодушна,
А баснями питается она.
Ей нравится бесстыдная отвага.

(VII. 46)

«Чернь, единожды уловленная приманкою свободы, течет слепо под знамены обольстителей своих при первом звуке обманчивого имени» (23, 29). В «Надгробном слове королеве Английской» описываются бурные события в истории Англии — движение Кромвеля. Благодаря цитации из этой речи в «Борисе Годунове» Пушкин вписывает русскую историю в контекст мировой

истории. Суждения о народном возмущении приобретают универсальный смысл.

Боссюэ, описав воинские подвиги Конде, утверждает величие героя в мирных добродетелях. Любопытно, что описание возможного «обыкновенного удела» Ленского и его мирной кончины «посреди детей, плаксивых баб и лекарей» пародийно перекликается с изображением последних минут жизни Конде:

«Отпуская врачей своих, он сказал, обращаясь к священнослужителям: «Отныне се врачи мои». <...> Благословляя своих детей, он благословил <...> каждого в особенности <...>. Все рыдали вокруг него, все утопали в слезах...» (23, 288–289).

Вслед за строфами, где рассказано о вариантах возможной судьбы Ленского, следует заключение надгробной речи, произнесенной Пушкиным:

Но что бы ни было, читатель,
Увы, любовник молодой,
Поэт, задумчивый мечтатель,
Убит приятельской рукой!

(VI, 134)

В данном случае Пушкин, подобно церковным ораторам, перечисляет те лики, те роли, в которых выступал усопший при жизни, тем самым вновь вызывая у читателей сожаление о его гибели.

Сравним: «Сл.! и здесь, предстоя пред гробом, где погребаются достоинства, почести, слава; где оплакивается отец, супруг, Градоначальник, поборник по правде, рачитель народной пользы, сын Церкви и Отечества, друг своих подчиненных; и здесь при поразительном сем зрелище каким одушевляемся упованием и верою?» (16, 6).

Итак, в шестой главе, в рассказе о смерти Ленского Пушкин преобразовал жанр надгробной речи в чрезвычайно эмоциональный поэтический текст. Мотивы и образы церковного красноречия, его стилистика, риторические приемы повествования переплавились в живое слово поэзии, были подчинены творческой задаче поэта передать трагедию происшедшего, вызвать у читателей чувства скорби и сострадания. И это вполне удалось Пушкину. Не случайно много лет спустя, в 1873 году, П.А. Вяземский писал: «...смерть Ленского, все, что поэт говорит при этом, может быть, в своем роде лучшие и трогательнейшие из стихов Пушкина» (150, 287).

Рассмотрим еще один фрагмент «Евгения Онегина» — XXXVIII–XL строфы, венчающие вторую главу романа.

Ю.М. Лотман, комментируя XXXVIII строфу, пишет, ссылаясь на комментарий В. Набокова:

«Строфа, видимо, содержит отклики на речь Боссюэ “О смерти”. Бесспорным свидетельством того, что речь эта приходила П<ушкину> на память во время работы над второй главой Е. О.,

служит прямая цитата из нее в наброске строфы XIVa (ср.: Что ж мы такое!., боже мой!—VI, 276 (“O Dieu encore une foig, qu'est ce que poas?” Набоков, 2, 306)» (202, 207–208).

Нам представляется, что XXXVIII строфа второй главы имеет и более общую ориентацию на жанр надгробной речи, в которой всегда говорится о мгновенности и ничтожности жизни, неизбежности смерти. Сравним:

«Мы являемся в мир сей, подобно блуждающим огням, которые бывают видимы в темноте ночной. — Блеснем и тотчас угасаем; явимся посреде живых и мгновенно сокрываемся во мраке смерти. О жизнь, о жизнь, сколь мгновенно течение твое!» (3, 2).

Увы! на жизненных браздах
Мгновенной жатвой поколенья,
По тайной воле провиденья,
Восходят, зреют и падут;
Другие им вослед идут...

(VI, 48)

Это рассуждение следует за сообщением о смерти Дмитрия Ларина, за рассказом о том, как Ленский посетил деревенское кладбище. Оно продолжает кладбищенскую тему в жанре надгробной речи, но вместе с тем пушкинское повествование тонкой иронией разрушает пафос церковного красноречия.

Пушкин с философским оптимизмом приветствует тех, кто придет на смену его поколению:

Так наше ветреное племя
Растет, волнуется, кипит
И к гробу прадедов теснит.
Придет, придет и наше время,
И наши внуки в добрый час
Из мира вытеснят и нас!

(VI, 48)

XXXIX и XL строфы дают дальнейшее развитие темы надгробной речи — Пушкин произносит своеобразную надгробную речь самому себе, своей поэзии:

XXXIX

Покамест упивайтесь ею,
Сей легкой жизнью друзья!
Ее ничтожность разумею
И мало к ней привязан я;
Для призраков закрыл я вежды;
Но отдаленные надежды
Тревожат сердце иногда:
Без неприметного следа
Мне было б грустно мир оставить.
Живу, пишу не для похвал;

Но я бы кажется желал
Печальный жребий свой прославить,
Чтоб обо мне как верный друг,
Напомнил хоть единый звук.

XL

И чье-нибудь он сердце тронет;
И сохраненная судьбой,
Быть может, в Лете не потонет
Строфа, слагаемая мной;
Быть может (лестная надежда!)
Укажет будущий невежда
На мой прославленный портрет
И молвит: то-то был Поэт!
Прими ж мои благодаренья
Поклонник мирных Аонид,
О ты, чья память сохранит
Мои летучие творенья;
Чья благосклонная рука
Потреплет лавры старика!

(VI, 49)

В этом тексте традиционные для церковного красноречия образы ничтожности суетной жизни, ее призраков, сомкнутых вежд, жребия, выпадающего человеку, включаются в исполненное внутренней иронии рассуждение о грядущей бессмертной славе

автора «Евгения Онегина», завершающееся насмешливым благодарственным словом к будущему читателю «летучих творений» Пушкина. При этом любопытно отметить, что в черновиках романа Пушкин, как и в рассказе о возможной судьбе Ленского, намечал два варианта судьбы своих творений.

Сравним:

А может быть и то: поэта
Обыкновенный ждал удел.
(VI, 133)

Но может быть — и это даже
Правдоподобнее сто раз
Изорванный, в пыли и в саже
Мой [напечатанный] рассказ
Служанкой изгнан из уборной
В передней кончит век позорный
Как Инвалид иль Календарь
Или затасканный букварь...
(VI, 301)

Рассматривая черновые варианты XL строфы, нужно обратить внимание на следующие стихи:

И этот юный стих небрежный
Переживет мой век мятежный

Могу ль воскликнуть <о друзья> —
Воздвигнул памятник <и> я
(вариант: Exegi monumentum).

(VI, 300)

Приведенные стихи интересны не только потому, что в них возникает тема памятника, которая впоследствии найдет завершение уже в иной смысловой и стилистической тональности в стихотворении Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»*. Они примечательны еще и тем, что соотносятся с образом надгробных речей:

* На это указывают П.Н. Сакулин, Д.П. Якубович, М.П. Алексеев и другие исследователи стихотворения «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» (257, 56; 329, 3; 97, 136).

«Почтенные чада предпочтенной матери! вы наипаче во славу ея веры, во славу ея благочестия, во славу ея добродетелей, воздвигнете ей памятник, но не из меди и мрамора; ибо таковой памятник, яко вещественный и тленный, недостоин ея. Воздвигните ей памятник вечный, духовный. Ее веру, ее благочестие, ея добродетели изобразите в собственных душах ваших. ...Тогда, видя ее вами похваляему не словами, а делами, видя в вас образ добродетелея ея, развеселятся людие...» (1, 5–6).

Известно изречение о том, что слова поэта суть его дела. Памятник делам поэта — памятник его словам, его творениям. Так, черновой вариант XL строфы также позволяет говорить о традиции надгробной речи, своеобразно преломившейся в ироническом тексте Пушкина.

Если XXXVIII, XXXIX, XL строфы второй главы романа расценивать как шутливую надгробную речь Пушкина, произнесенную им над самим собой, над своей поэзией, то это дает, как нам кажется, основания соотнести пушкинский текст с еще одним явлением ораторской культуры первой трети XIX века. В данном случае мы имеем в виду пародийные надгробные речи «Арзамаса».

Как мы уже отмечали, арзамасский ритуал включал отпевание «живых покойников», надгробные речи, в которых оплакивалась воображаемая кончина литературных противников. Произносились надгробные речи и в свой собственный адрес. Так, С. П. Жихарев произносил надгробное слово самому себе, как бывшему беседчику (18, 100—101). В. Л. Пушкин, бывший ранее членом «Общества любителей российской словесности», при вступлении в «Арзамас» сказал:

«Правила почтеннейшего нашего сословия повелевают мне, любезнейшие арзамасцы, совершить себе самому надгробное отпевание, но я не почитаю себя умершим» (18, 150).

Ораторские выступления арзамасцев содержали прямые пародии на библейские тексты, надгробные речи, проповеди, молитвы. У Пушкина пародийный пласт существует в подтексте его произведения, он только намечен сближениями разных стилевых рядов, иронической игрой мотивами и образами церковного красноречия, но в этой игре, на наш взгляд, есть все же определенная связь с арзамасским витийством.

«Белинский назвал роман Пушкина «энциклопедией русской жизни». И это, — писал М. М. Бахтин, — не немая вещно-бытовая энциклопедия. Русская жизнь говорит здесь всеми своими голосами, всеми языками и стилями эпохи» (ПО, 416). Нам представляется, что мы с достаточным основанием можем сказать о том, что в этом многоголосом хоре пушкинского романа звучат и ораторские голоса. И это голоса пушкинского времени и вместе с тем голос самого Пушкина-оратора, творчески осмыслившего традицию русского и европейского красноречия.

4. «ГРОЗА ДВЕНАДЦАТОГО ГОДА...»

Красноречие 1812 года, нашедшее отражение в «Евгении Онегине», заслуживает особого внимания. Отечественная война 1812 года, как мы уже говорили, вошла в историю русского красноречия: в это время были созданы замечательные образцы ораторского искусства, без которых наше представление об

ораторской культуре пушкинской эпохи будет существенно неполным.

В «Евгении Онегине» Пушкин дважды пишет о событиях 1812 года — в седьмой и девятой главах. В седьмой главе романа, по наблюдению А.Е. Тархова, контрастно противопоставлены XXXVI и XXXVII строфы XXXVIII строфе, в которой не без иронии дано описание панорамы Москвы, показана «прозаически будничная вереница городской жизни» (284, 287). «Резким контрастом этому описанию, — замечает исследователь, — звучит патетика Пушкина, чей голос включается здесь в повествование Автора строфами тридцать шестой и тридцать седьмой: тут тема Москвы выводится в высокий план — лирический и исторический» (284, 287). С этим нельзя не согласиться. Но думается, что при рассмотрении XXXVI и XXXVII строф седьмой главы, для уяснения характера пушкинской патетики, ее истоков должно быть учтено красноречие 1812 года, памятное Пушкину и его современникам. Оно сказалось в восклицании:

Москва... как много в этом звуке

Для сердца русского слилось!

Как много в нем отозвалось!

(VI, 155)

Красноречие 1812 года нашло отражение и в следующем историческом экскурсе:

Вот, окружен своей дубравой,
Петровский замок. Мрачно он
Недавнею гордится славой.
Напрасно ждал Наполеон,
Последним счастьем упоенный,
Москвы коленопреклоненной
С ключами старого Кремля:
Нет, не пошла Москва моя
К нему с повинной головою.
Не праздник, не приемный дар,
Она готовила пожар
Нетерпеливому герою.
Отселе, в думу погружен,
Глядел на грозный пламень он.

(VI, 155)

Здесь слышны отголоски манифестов, проповедей, торжественных речей 1812—1814 годов, где говорилось о великой жертве Москвы, о значении первопрестольной столицы для всей России. Так, в воззвании Александра I «Первопрестольной столице нашей, Москве!» от 6 июля 1812 года говорилось:

«...наиперве обращаемся Мы к древней Столице Предков наших Москве. Она всегда была главою прочих городов Российских; она изливала всегда из недр своих смертоносную на врагов силу; по примеру ея из всех прочих окрестностей текли к

ней, наподобие крови к сердцу, Сыны Отечества на защиту оного» (26, 1468).

В «Слове по случаю знаменитой и вечнославной победы, одержанной при Лейпциге российскими и союзными войсками над Французской армиею, пред начатием благодарственного Господу Богу молебствия, произнесенном Преосвященным Августинем, Епископом Дмитровским, Викарием Московским и Орденом Св. Александра Невского и Св. Анны 1-го класса кавалером в Московском большом Успенском соборе 1813 года ноября 2», было сказано:

«Москва! ты в пламени. — Великая, безценная жертва! — Но гори — гори, святая жертва, за спасение России, за спасение всей Европы» (8, 6). Подобные примеры можно было бы умножить.

Заметим, что черновые редакции и варианты XXXVI и XXXVII строф свидетельствуют о том, что первоначально текст Пушкина был в большей степени ориентирован на стилистику ораторской прозы 1812 года: «Блестит великая Москва»; «Первопрестольная Москва»; «На жертву славную глядел»; «На жертву грозную глядел» (VI, 450). Однако в окончательной редакции Пушкин отказался от традиционных эпитетов красноречия 1812 года, сохранив в своем поэтическом тексте его высокий патриотический пафос, знакомый соотечественникам, созвучный их чувствам.

Если в седьмой главе обращение Пушкина к ораторской традиции 1812 года было вызвано желанием пробудить в читателе патриотические чувства, вызвать в нем воспоминания о недавних событиях, ощущение причастности к большой истории России, то в десятой главе задача иная. Пушкин создает сатирический портрет Александра I. Наполеоновские войны и война 1812 года представлены в ином свете — в свете политической сатиры. И здесь Пушкин так же, как с известной долей вероятности можно, на наш взгляд, предположить, использует традицию красноречия 1812 года, но ориентируется на другие его образцы. Мы имеем в виду сатирические листы 1812 года. Как уже говорилось, они предназначались не только для рассматривания, но и для чтения — картинка часто сопровождалась текстом, в котором звучали интонации устной речи, так или иначе использовались традиции и народного, и классического красноречия. Поэтому нам представляется допустимым, разумеется с значительной долей условности, рассматривать эти листы не только как возможный источник пушкинского текста, но и как источник, связанный с ораторской культурой пушкинского времени. В десятой главе «Евгения Онегина» Пушкин мог использовать мотивы, образы, интонации сатирических листов 1812 года, придавая при этом им иной, обращенный не к Наполеону, а к Александру I смысл.

Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,

Нечаянно пригретый славой
Над нами царствовал тогда.

(VI, 521)

Эта характеристика русского царя дана в ключе сатирических листов, где французский император представлен как собрание всех пороков, слабый завоеватель, лицемерный враг человечества, слава которого иллюзорна. Так, на гравюре И. Теребенева «Наполеонова Слава» со «славы» Наполеона русский солдат срывает маску — под ней оказывается лицо сатаны; русский крестьянин затыкает снегом трубу, которую держит в руках «слава». С пушкинским стихом «Нечаянно пригретый славой» перекликается один из мотивов листа «Время, показывающее Наполеону все его Злодеяния в Мире»: ангел славы разрывает над головой Наполеона лавровый венок. На листе «Наполеон, размышляющий после сражения при Красном» изображена Слава, улетающая от Наполеона со словами: «Я оставляю тебя, Наполеон».

Его мы очень смирным знали,
Когда не наши повара
Орла двуглавого щипали
У Бонапартова шатра.

(VI, 522)

Не исключено, что образ ощипанного двуглавого орла восходит к гравюре И. Тербенева «Проезд высокого Путешественника от Варшавы до Парижа под именем своего Шталмейстера, с ощипанным орлом и ознобленным Мамелюком». Но если на гравюре — орел Франции, то у Пушкина — двуглавый орел России.

Пушкинская картинка напоминает и популярный лист «Ворона», гравированный И. Галактионовым по рисунку И. Иванова. Эта иллюстрация к одноименной басне И.А. Крылова была опубликована впервые в 1812 году в «Сыне Отечества». На ней изображены французы у костра — один ошипывает ворону, другой — уже ощипанную кладет в котел.

В наибольшей же степени приведенный пушкинский текст соотносится с листом «Кухня главной квартиры в последнее время пребывания в Москве», на которой изображены маршал неприятельской армии, рассматривающий в лорнет меню; готовящийся на вертеле обед из кошки и лягушек; три повара — один из них ошипывает ворону.

И чем жирнее, тем тяжеле,
О р<усский> глупый наш н<арод>,
Скажи, зачем ты в самом деле

(VI, 522)

— эти пушкинские строки могут быть гипотетически соотнесены с листом «Весы Правосудия», где на правой чашке весов изображен

русский казак, на левой — французские союзники. Над правой чашкой надпись: «Не ужель тяжел народ столь Руской / Чтоб мог один Козак тянуть Союз французской; / Такой в нем тяжести хоть нет, но грудь тверда во брани / Защита им есть Бог, влагающъ мечь во длани».

Я всех уйму с моим народом,
Наш ц^{арь} в покое говорил
(VI, 523)

— слова, которые произносит у Пушкина Александр I, в стиле тех речей, тексты которых помещались на сатирических листах в своего рода облаке, выходящем из рта того или иного персонажа, под или над изображением. Сравним: «Я возьму все!» (надпись над фигурой Наполеона, обхватившего руками глобус на гравюре «Вот тебе село да вотчина, чтобы тебя вело да корчило»). Но дело здесь, разумеется, не в прямых параллелях и аналогиях, а в общем сходстве самой стилистики, сближающем картинку, нарисованную Пушкиным, с картинками 1812 года.

Так, тема 1812 года в зависимости от определенной целевой установки раскрывается Пушкиным в стилистике различных риторических образцов, текст пушкинского романа сохраняет память о многообразной ораторской культуре времени Отечественной войны.

5. «У НАС ТЕПЕРЬ НЕ ТО В ПРЕДМЕТЕ»

Рассматривая роман Пушкина в сфере ораторской культуры его эпохи, нельзя обойти молчанием и вопрос о соотношении с его текстом «Риторик» — учебных трактатов по теории красноречия. «Риторики» не только факт теории литературы, которая так или иначе соотносилась с литературной практикой; это явление культуры и быта времени. «Риторики» были хорошо известны читателям Пушкина. Отсылка к этим книгам, цитация из них были рассчитаны на определенное читательское знание, к настоящему времени утраченное. Выявление цитации из «Риторик» в «Евгении Онегине» позволит углубить наше представление о многоплановости романа, о том диалоге автора с читателем, который во многих отношениях составляет существенную особенность произведения Пушкина.

Создавая новую жанровую форму — роман в стихах, — Пушкин вовлекает читателя в свой эксперимент. Он обсуждает с читателем то, что В.Ф. Одоевский назвал «механизмом расположения романа». Заметим, что обсуждение техники письма характерно для русской прозы 1820–1830 годов. Более того, такое обсуждение способствовало занимательности изложения. «За сим я прошу извинения у моих читателей, если наскучил им, поверяя их доброму расположению эти маленькие в полном смысле слова домашние затруднения, и показываю подставки, на которых

двинутся романические кулисы, — писал В.Ф. Одоевский в повести «Княжна Мими». — Я поступаю в этом случае как директор одного бедного провинциального театра. Приведенный в отчаяние нетерпением зрителей, скучавших долгим антрактом, он решил поднять занавес и показать им на деле, как трудно превращать облако в море, одеяло в царский намет, ключницу в принцессу и арапа в *premier ingenu*. Благосклонные зрители нашли этот спектакль любопытнее самой пьесы» (220, 164).

И Пушкин в «Евгении Онегине» виртуозно владеет таким приемом: представляет своего героя — Онегина, объясняет, почему назвал героиню Татьяной, рассказывает о движении сюжета, делится своими соображениями о композиции, о различных принципах изображения.

Когда же он пишет «У нас теперь не то в предмете», «Описывать мое же дело», «Свой слог на важный лад настроя», он оперирует терминами «Риторик».

«Первый и главный источник всякого сочинения есть Предмет <...>. Предметом сочинения называют одно понятие, одну идею, одно слово» (42, 4), — пишет Н.Ф. Кошанский в «Общей Реторике». «Оратор имеет тему или предмет речи, о коем должен говорить», — сказано в его «Частной Реторике» (43, 87).

«Предметы требуют описаний» (42, 45).

«Всякое описание как полное сочинение должно иметь простоту и единство предмета, интерес или заинтересованность и три главнейшие части: начало, середину, конец» (42, 45).

«Слог — стиль-перо-проза — все сии названия означают способ выражать мысли — искусство писать» (42, 45).

Пушкин включает определения из учебников красноречия в свой текст. Так, например, обозначения слога, встречающиеся в «Евгении Онегине», — «простонародный», «роскошный» — являются не только эмоциональными выразительными эпитетами, но и разновидностями слога, указанными в «Риториках» (42, 88; 55, 16; 77, 134). Любопытно, что в «Общей Реторике» Н.Ф. Кошанской особенности роскошного слога поясняет следующим образом: «...роскошь слога <...> часто скрывает бедность мыслей» (42, 106). В связи с этим адресованные П.А. Вяземскому строки «Другой поэт роскошным слогом / Живописал нам первый снег» могут иметь и скрытый иронический смысл.

В белой рукописи восьмой главы за XXIII строфой следовала строфа, которая начиналась так:

В гостиной истинно дворянской
Чуждались щегольства речей
И щекотливости мещанской
Журнальных чопорных судей

В гостиной светской и свободной
Был принят слог простонародный
И не пугал ничьих ушей
Живою странностью своей.

(VI, 626–627)

Варианты 5 и 7 стихов:

Хозяйкой светской и свободной
И не пугал ее ушей.

(VI, 627)

«Простой слог без осторожности может перейти в площадной и пошлой, — пишет Н.Ф. Кошанский, — но между простым и площадным есть середина — слог простонародный, употребляющий не только язык, но и способ выражать мысли, свойственные простому народу» (42, 88).

«Простому слогу должно учиться не только читая сочинения, писанные сим слогом, но и примечая разговоры в лучших обществах, в высшем кругу людей» (42, 88).

Осмысляя свое движение к прозе, Пушкин ориентируется и ориентирует читателя на положения риторики.

Сравним:

Лета к суровой прозе клонят,

Лета шалунию рифму гонят,
И я — со вздохом признаюсь —
За ней ленивей волочусь.
Перу старинной нет охоты
Марать летучие листы;
Другие, хладные мечты,
Другие, строгие заботы
И в шуме света и в тиши
Тревожат сон моей души.

(VI, 135)

«И люди и народы в юности больше действуют воображением, говорят чувством, движутся удовольствием — в зрелом возрасте больше убеждаются опытом, следуют разуму, ищут пользы: от сего словесность разделяется на две главные существенные отрасли: на Поэзию и Прозу. Поэзия, в некотором смысле, есть юность словесности, а ораторское красноречие, особенно изящная проза, зрелый ее возраст» (43, 1–2).

Пушкин как бы проецирует свой личный творческий опыт на опыт всех людей и народов, о котором сказано в учебнике его лицейского преподавателя. Отрывок из лицейской лекции по риторике становится поэтическим текстом.

Друзья мои, что ж толку в этом?
Быть может, волею небес,
Я перестану быть поэтом,

В меня вселится новый бес,
И, Фебовы презрев угрозы,
Унижусь до смиренной прозы.

(VI, 56–57)

«Смиренная проза» в «Евгении Онегине», «презренная проза» в «Графе Нулине» — этот образ, возможно, также восходит к риторике.

«У древних, — пишет Н.Ф. Кошанский, — были только поэты и ораторы. Прозаиков не было. Философы и историки считались больше мудрецами, нежели писателями. Люди неученые также хотели писать и писали как умели. Тогда ученые отличили сей способ писать от периодов и назвали его больше, нежели *soluta oratio*, то есть *Prosoluta*. Сие слово испортилось и стало — Проза. Может быть, ученые дали это имя Прозе с некоторым презрением, как новизне в то время ими неодобряемой: ибо выражения *homo prosaicus*, *vita prosaica* означают все слишком обыкновенное, пошлое и как будто презренное» (42, 36). (У Пушкина в «Графе Нулине» — «презренной прозой говоря».)

В «Евгении Онегине» находит место история и теория романа, и здесь Пушкин также прибегает к учебникам красноречия, отсылает к ним читателя. Так, например, говоря об изменении содержания европейского романа, Пушкин пишет:

А нынче все умы в тумане,

Мораль на нас наводит сон,
Порок любезен — и в романе,
И там уж торжествует он.

(VI, 56)

Последние две строки могут быть расценены как скрытая цитата из «Краткой риторики» А.Ф. Мерзлякова: «Роман, в котором торжествует порок, в котором царствует обольстительное распутство и дурные страсти, достоин всеобщего презрения» (55, 79). Пушкин иронически снимает морализирующий пафос А.Ф. Мерзлякова.

И в заключение — еще один пример, на который хотелось бы указать.

Как известно, «Евгений Онегин» с самого начала работы над ним мыслился Пушкиным как свободный роман. Об этом сказано и в его тексте — «даль свободного романа». Эта пушкинская формула стала отправной точкой многочисленных историко-литературных и теоретических построений, своеобразным знаком новаторства Пушкина. Нам представляется, что при изучении свободного романа Пушкина следует учесть одно из положений «Частной Ретирики» Н.Ф. Кошанского:

«Расположение Романа совершенно свободно. Оно основывается на степени рассудка, нравственного чувства и вкуса и принимает без различия формы: Повести, Разговора и Переписки, или соединяет и смешивает сии формы» (43, 72).

Возможно, когда Пушкин писал о свободном романе, он вкладывал в понятие свободного романа еще и этот, восходящий к риторике смысл.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ПОЭМА «МЕДНЫЙ ВСАДНИК» И ОРАТОРСКИЙ СТИЛЬ

«Подобно тому как “Евгений Онегин” являет идейный и художественный итог творческого развития Пушкина в 1820-е годы, высшим творческим достижением Пушкина в 1830-е годы, как бы фокусом его идейных исканий и открытий последних лет явился “Медный всадник”. Не случайно эта небольшая, но необъятная по значению и глубине поэма выросла из неосуществившегося замысла второго пушкинского романа в стихах, начатого той же строфой, что “Онегин”, романа о Езерском» (166, 394).

Приведенное суждение Г.А. Гуковского может быть применено к стилю поэмы, в известной мере близкому к стилю романа в стихах. На это обратил внимание Л.В. Пумпянский, выделивший в «Медном всаднике» наряду с одическим и беллетристическим еще и «онегинский» стилевой слой (234). Но в поэме дает о себе знать и ораторское искусство, и здесь представляются существенными имеющиеся в критической и научной литературе наблюдения и выводы, связанные с одическим

стилем, являющимся эквивалентом ораторского или так называемого высокого стиля.

Одна из тенденций, нашедших отражение в исследованиях Г.А. Гуковского и Л.В. Пумпянского, а также в работах В.Я. Брюсова, Л.И. Тимофеева, А.Л. Слонимского и других исследователей (128; 287; 272), заключается в противопоставлении стилей темы Петра и темы Евгения. В коллективной монографии «Пушкин. Итоги и проблемы изучения» отмечено «существование в ней (в поэме “Медный всадник” — *Н.М.*) двух лексических и стилистических рядов — подчеркнуто сниженного, включающего прозаизмы и разговорные интонации, и высокого одического, с обилием славянизмов, — из которых первый связан с образом Евгения, второй же — с образом Петра и темой русской государственности» (238, 400).

Другая тенденция исследований стиля «Медного всадника» заключается в отказе от утверждения тематической прикрепленности стилевых пластов поэмы. «В стиле “Медного всадника”, — писал В. В. Виноградов, — происходит не только многообразное взаимодействие, соприкосновение, соединение, быстрое перемещение прежде разобщенных и далеких по смыслу, экспрессивной окраске и сферам употребления социально-речевых, литературно-жанровых и стилевых элементов выражения, но и их тесное сплетение и взаимопроникновение» (142, 163). Исследователь отмечает книжно-риторические формулы, славяно-

книжные образы и выражения, которые наряду с непринужденно-бытовым, разговорно-повествовательным стилем присутствуют в рассказе о Евгении. «...Традиционные лексические элементы высокого стиля <...> не прикреплены, как правило, исключительно к “теме Петра”», — к такому выводу пришел В.Д. Левин (191, 203). «В действительности, как мы видим, он (высокий одический стиль — *Н.М.*) может быть связан и с Евгением, — отметил Е.А. Маймин. — Стилистические средства характеристики Евгения в момент крайнего напряжения сюжетного конфликта оказываются однородными со средствами характеристики Петра» (205, 10). «Благодаря доминирующей одической интонации вступления в начало первой части и благодаря проникновению доминирующей обыденной интонации первой части в концовку вступления, в поэме образуется нерасторжимая стилистическая целостность, прочность и органичность взаимопроникающего сочленения, казалось бы, принципиально разнородных кусков, — писал Ю.Б. Борев. — <...> В первой и второй частях поэмы обыденно-прозаические эпизоды органически соединяются со сценами, в которых вновь оживает одическая интонация (например, сцена бунта Евгения). <...> Стилистический принцип — вкрапление обыденного в высокое и высокого в обыденное — проводится до конца поэмы» (121, 338–340).

При изучении ораторского стиля в «Медном всаднике» нам представляется наиболее плодотворными работы, осмысляющие

стилевую структуру поэмы как единое сложное целое. При этом следует учесть, что ораторский стиль не сводится только к высокому одическому стилю, он ориентирован на широкое использование приемов ораторской речи, может быть использован наряду с другими выразительными средствами для решения различных творческих задач.

1. «КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ...»

Тема Петра I в творчестве Пушкина разрабатывалась до «Медного всадника». Наиболее значительные произведения, созданные Пушкиным до 1833 года, — стихотворение «Стансы» (1826), неоконченный роман «Арап Петра Великого» (1827), историческая поэма «Полтава» (1828). Уже в 1827 году Пушкин задумал «Историю Петра» — к осуществлению этого замысла он приступил в 1831 году; работа над «Историей Петра» занимала последние годы его жизни, но труд так и остался незавершенным. Об эволюции образа Петра I в творчестве Пушкина в связи с изучением «Медного всадника», о «двояком восприятии Пушкиным личности и деятельности Петра — великого созидателя и одновременно беспощадного деспота» (184, 164) писал Н.В. Измайлов, поэтому нет необходимости на этом специально останавливаться. Что же касается интересующей нас темы, то в

данном случае существенно указать на связь названных поэтических произведений с классицистической литературой и, в частности, с ораторской прозой XVIII века.

И.Л. Фейнберг, анализируя сочинения, представленные в библиотеке Пушкина и так или иначе связанные с историей Петра, указал на «Слово похвальное Петру Великому» М.В. Ломоносова:

«Ломоносов в Слове похвальном Петру Великому, произнесенном в 1755 году, писал: “Приняла новый вид Россия... Отверсты внутренности гор сильною и трудолюбивою его рукою. Проливаются в них металлы”. Петр создал новое войско и новый флот: на всех морях “видим распущенные российские флаги” и “чудные крепости, летающие чрез волны”. “Основаны науки и художества”. Петр “с простыми людьми, как простой работник трудился”; “войско видело лицо его, пылью и потом покрытое”. “Не могу сам себя уверить, что один везде Петр, а не многие”, — говорит Ломоносов, удивляясь всеобъемлющей деятельности Петра» (299, 67–68).

«Вдохновенные строки Ломоносова отзывались в пушкинских стихах» (299, 168), — заметил исследователь, имея в виду, по-видимому, «Стансы», в которых Пушкин создал свое похвальное слово Петру I:

Самодержавною рукою
Он смело сеял просвещение,
Не презирал страны родной:

Он знал ее предназначенье.
То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.

(III, 40)

В данном случае небезынтересно заметить, что «Слово похвальное Петру Великому» М.В. Ломоносова, вероятно, было предметом анализа на лицейских занятиях, т. к. подробный его разбор помещен в «Частной Реторике» Н.Ф. Кошанского (43, 92–93).

Сопоставляя «Полтаву» Пушкина с «Петриадами», А.Н. Соколов выявил общность торжественно-витийственного стиля, присущего пушкинским описаниям Петра и Полтавского боя и классическим эпопеям о Петре XVIII века (274, 57–90).

Изучая «Медный всадник», Л.В. Пумпянский не случайно специальное внимание уделил одическому стилю поэмы. Обращение Пушкина, воплощавшего в «Медном всаднике» темы государства и власти, к поэтической традиции XVIII века исследователь объяснил тем, что «русская ода XVIII в. (как и европейская XVI–XVIII вв.), как и всякая ода, была поэзией государственной власти и ее носителей» (234, 93). «Прославление (и династическое и цивилизаторское), — писал Л.В. Пумпянский, — выработало за долгое столетие свои формы,

свой язык, свои словосочетания и свои, так сказать, ситуации; это был готовый арсенал в традиции русской поэзии, неотделимый от темы государства и власти» (234, 93). Но тема государства и власти решалась и ораторской прозой XVIII века. Для изучения «Медного всадника» могут быть привлечены памятники русского красноречия XVIII века как петровской, так и послепетровской эпохи*. Это могут быть и произведения массовой ораторской культуры и слова и речи выдающихся ораторов XVIII века.

* О петровской теме в русской ораторской прозе XVIII века см., например, работы Н.Д. Кочетковой (188), В.В. Почетной (233), Г.Н. Акимовой (95).

Л.В. Пумпянский, рассматривая одическую формулу «где прежде — там ныне», использованную Пушкиным в «Медном всаднике», привел соответствующие многочисленные примеры из од С.С. Боброва, В.К. Тредиаковского, М.В. Ломоносова, А.П. Сумарокова и других поэтов XVIII века, причем указал на ораторский источник этой ставшей общим местом формулы. «Формула “где прежде — там ныне” возникла в литературе еще до смерти Петра, — писал Л.В. Пумпянский. — Уже Феофан Прокопович говорит в “Слове похвальном на день рождения Петра Первого” 1716 г.: “На место грубых хижин наступили палаты светлые, на место худого хвастия дивные вертограды... Идеже ни помысл кому был жительства человеческого, достойное вскоре

устроилось место престолу царскому”. Он же в “Слове на Похвалу Петра Великого”, 1725 г.: “Сие наипаче место не славное прежде и в свете не знаемое, а ныне, преславный сим царствующий Петрополем... утвержденное, купно и украшенное...”» (234, 96). Традиционная риторическая формула была использована Пушкиным для выразительной картины создания Петербурга, которое воспринимается как чудо:

Где прежде финский рыболов,
Печальный пасынок природы,
Один у низких берегов
Бросал в неведомые воды
Свой ветхий невод, ныне там,
По оживленным берегам,
Громады стройные теснятся
Дворцов и башен; корабли
Толпой со всех концов земли
К богатым пристаням стремятся;
В гранит оделася Нева;
Мосты повисли над водами;
Темно-зелеными садами
Ее покрылись острова...

(V, 136)

Л.В. Пумпянский отметил также, что к этой традиционной формуле Пушкин мог прийти и через К.Н. Батюшкова (234, 94). В

«Прогулке в Академию художеств» К.Н. Батюшкова, давно названной среди возможных литературных источников вступления к «Медному всаднику», противопоставлено «прежде» и «ныне»:

«Помню только, что, взглянув на Неву, покрытую судами, взглянув на великолепную набережную, на которую, благодаря привычке, жители петербургские смотрят холодным оком — любуясь бесчисленным народом, который волновался под моими окнами, сим чудесным смешением всех наций, в котором я отличал англичан и азиатцев, французов и калмыков, русских и финнов, я сделал себе следующий вопрос: что было на этом месте до построения Петербурга? Может быть, сосновая роща, сырой, дремучий бор или топкое болото, поросшее мхом и брусникою; ближе к берегу — лачуга рыбака, кругом которой развешены были мрежи, невода и весь грубый снаряд скудного промысла. Сюда, может быть, с трудом пробирался охотник, какой-нибудь длинновласый финн...

За ланью быстрой и рогатой,
Прицелясь к ней стрелой пернатой.

Здесь все было безмолвно. Редко человеческий голос пробуждал молчание пустыни дикой, мрачной; а ныне?...» (106, 72–73).

Но вернемся к похвальным словам Петру I Феофана Прокоповича. Думается, они, как и «Похвальное слово Петру

Великому» М.В. Ломоносова, должны быть учтены в качестве определенных жанровых образцов произведений, в которых возвеличивался Петр I и его государственные преобразования, — на эти произведения мог ориентироваться Пушкин, работая над вступлением к «Медному всаднику». В похвальных словах Феофана Прокоповича и М.В. Ломоносова могут быть отмечены отдельные образы и риторические фигуры, соотносящиеся с текстом пушкинской поэмы. Так, в «Слове» Феофана Прокоповича — «Се уже единою ногою на земли, другого же стоит (Россия — *Н.М.*) на море, дивна всем, всем страшна и славна» (62, 1112); в поэме Пушкина — «Ногою твердой стать при море» (V, 135). В «Слове» М.В. Ломоносова — «А ты, великая душа, сияющая в вечности и Героев блистанием помрачающая, красуйся...» (49, 612); в поэме Пушкина — «Красуйся, град Петров...» (V, 137).

Вступление к «Медному всаднику» — своеобразное похвальное слово Петру I и основанному им Петербургу. При изучении вступления к поэме интересно привлечь памятник красноречия Петровской эпохи, до настоящего времени, насколько нам известно, не использованный в исследованиях, посвященных «Медному всаднику». Его экземпляр, отпечатанный в Санкт-Петербурге в 1772 году, хранится в Центральном государственном архиве древних актов. Это «Слово в похвалу Санкт-Петербурга и его Основателя, Государя Императора Петра Великого, говоренное

пред лицом сего Монарха, Преосвященным Гавриилом Бужинским, Епископом Рязанским и Муромским, бывшим тогда Префектом и Обер Иеромонахом флота, при поднесении его Величеству первовырезанного на меди плана и фасада Петербурга».

«Град сей, именуемый Санкт-Петербург, Тобою Всепресветлейший и Непобедимейший Монарх! Богу наставляющему Тя основанный, Богу вразумляющему, расположенный, Богу споспештвующу, прекрасными зданиями украшенный, паче по всему Тебе собственно, яко премудрейшему и первой ему его зодчему начало свое долженствующий: тщанием Твоим и преславно успевшее гридировальное художество, изображенный на хартии подносит» — так начинает свое «Слово» Гавриил Бужинский (24, 1).

Похвала городу неотделима для оратора от похвалы его создателю, и об этом говорится в начале «Слова»:

«Чего ради, града сего кто не прославит? Кто до небес не вознесет похвалами? Егда создателя своего имать пресветлейша великих земель Великаго Государя, Отца Российскаго Отечества, воина мужественнаго, вождя благоразумнаго, Императора премилостливаго, Монарха, Богом венчанного, Богом соблюдаемая), Богом России дарованного. Кто, глаголю, не удивится похвале града сего, происходящий от похвал создателя сего?» (24, 3).

И в «Медном всаднике» для Пушкина Петербург — это «град Петров», «Петра творенье». Вступление к поэме — гимн великому городу и одновременно гимн Петру, созидательная мысль которого в этом городе нашла свое воплощение.

Гавриил Бужинский прославляет Петра — мудрого государственного деятеля, храброго воина, создателя русского войска и русского флота. При этом он цитирует Гомера и Плутарха; обращается к мифологическим сюжетам, к тексту Священного писания.

Так, например, он сравнивает Петра — создателя русского флота — с описанным Плутархом Фемистоклом, «который похвалялся тем, что он Афины морскими силами возвеличил» (24, 14). Рассказывая о путешествиях Петра по разным странам, оратор вспоминает Одиссея, которому «сплетает венец похвал Омир» за то, что «многия в мире сем обыйде страны, многие видел народы и обыкновения их, многие прошел грады» (24, 6). Петр, подавивший мятеж стрельцов, сравнивается с Ираклием, растерзавшим «отроческою рукою» «двух страшных и лютых змеев» (24, 4–5), которых выпустила ему в колыбель Юнона. Подобные сравнения придают особую выразительность ораторскому тексту.

Во вступлении к поэме Петр раскрывается во внутреннем монологе как дальновидный и мудрый политик, радеющий о благополучии своего государства, как отважный полководец.

Пушкин не использует прием сравнения, широко представленный в «Слове» Гавриила Бужинского. Вместе с тем можно говорить о некоторой переключке текстов. В данном случае небезынтересно, как нам кажется, обратить внимание на художественную деталь, несущую большое смысловое значение, которая есть у Гавриила Бужинского и у Пушкина. Сравним:

«Самая на тривенечной главе простреленная от неприятеля шляпа, гласнее всякия трубы, сие мужество возглашает и возглашать будет вовеки» (24, 8–9).

Сиянье шапок этих медных,
Насквозь простреленных в бою.

(V, 137)

Конечно, у Пушкина простреленные медные шапки — прежде всего реалии, но эти реалии, как и у Гавриила Бужинского, заключают символический смысл, понятный современникам. «"Медные шапки", — писал Н.В. Измайлов в примечаниях к тексту поэмы, — были присвоены солдатам и офицерам лейб-гвардии Павловского полка; отверстия на них являлись почетным отличием» (24, 267).

Прославляя Петербург, созданный Петром I — «премудрейшим Архитектоном и непреоборимым Зиждителем» (24, 10), Гавриил Бужинский, отметив, что «града сего стены, воздвигающася на местах, никогда прежде жилища не имущих»

(24, 20), говорит об украсивших город чертогах и садах: «премудрейший Монарх над самыми быстринами Невскими <...> устроил вертоград, художественными водометами орошаемый, всякими иностранными деревьями при исходилищах вод насажденными, и плоды во время свое дающими, обогащенный, цветами преизрядными, изпещренный, столпами драгокаменными прославленный» (24, 22). Петербург сравнивает оратор с Римом, Афинами, Фивами. Нет необходимости приводить текст из вступления к «Медному всаднику», где Пушкин — проникновенный поэт петербургской архитектуры — находит выразительные слова для описания стройных громад дворцов и башен, мостов, повисших над водами, чугунного узора оград, берегового гранита Невы, темно-зеленых садов, покрывших петербургские острова. Для Пушкина Петербург — «полнощных стран краса и диво».

В «Слове» Гавриила Бужинского отмечено военное и торговое значение Петербурга:

«Отсюда неприятельские силы приходящие удобе прогнати возможно...» (24, 15).

«Его же помощью Балтийское отворивши море, безбедное от всего мира в Россию купеческим кораблям соделал пришествие: не токмо Ишпанскими, Французскими, Английскими, Голанскими и прочими Европейских стран богатствами наполненных, но и

самих нового мира жителей, изобильно сокровища носящим...» (24, 16).

У Пушкина:

Отсель грозить мы будем шведу.
Здесь будет город заложен
На зло надменному соседу.
Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно,
Ногою твердой стать при море.
Сюда по новым им волнам
Все флаги в гости будут к нам
И запируем на просторе.

<...>

...корабли

Толпой со всех концов земли
К богатым пристаням стремятся.

(V, 135–136)

Примечательно пояснение, которое дает И.Л. Фейнберг к стиху «И запируем на просторе», заменившему первоначальный вариант «И заторгуем на просторе»: «Переменной этой поэт сказал, что в глазах Петра, создающего морскую столицу, торговля была не целью, а средством к достижению великих исторических целей» (299, 119).

«Многая и великая сия Польза России от града сего происходит», — говорит Гавриил Бужинский (24, 18).

Завершается «Слово» Гавриила Бужинского обращением к императору, заклинаниями, в которых выражены пожелания всевозможного благополучия Петру и основанному им городу:

«Прими убо град сей, его же создатель еси и купно с ним и наше искреннее желание: да премудрейшаго Тя строителя, и управителя Богом врученного народа, всего мира создатель и управитель всея вселенныя в Троице святой прославляемый Бог наш, во общую всего Христианства пользу. Тя здрава, цела, долгоденствующа, славою процветающа, всегда торжествующа, врагом страшна, своим любима, на премногая сохранил лета. Град же сей, даже до скончания мира, всегда царствующий, не воеванный, всегда от славы в славу происходящий, да утвердит и всем в нем пребывающим и Державцу онаго повинующимся, да сотворит небесного царствия ходатайствен» (24, 26).

Сравним с завершением ораторского вступления в «Медному всаднику»:

Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо как Россия,
Да умирится же с тобой
И побежденная стихия;
Вражду и плен старинный свой
Пусть волны финские забудут

И тщетной злобою не будут
Тревожить вечный сон Петра!

(V, 137)

Заметим, что Пушкин, как и Гавриил Бужинский, использует здесь грамматическую форму архаического типа — восходящее к церковно-книжному стилю употребление частицы / союза «да» в императивно-целевой конструкции.

Был ли знаком Пушкин со «Словом» Гавриила Бужинского? Вероятно, да. Имя Гавриила Бужинского, по-видимому, называлось на лицейских лекциях, возможно, разбирались и его сочинения: во всяком случае в «Частной реторике» Н.Ф. Кошанского он назван как «красноречивейший проповедник» петровского времени, указаны его переводы, выполненные по повелению Петра. Гавриил Бужинский упомянут Пушкиным в «Арапе Петра Великого»: «Ибрагим видал Петра в сенате, оспариваемого Бутурлиным и Долгоруким, разбирающего важные вопросы законодательства, в адмиралтейской коллегии, утверждающего морское величие России, видел его с Феофаном, Гавриилом Бужинским и Копиевичем, в часы отдохновения рассматривающего переводы иностранных публицистов...» (VIII, 13). Наконец, приведем свидетельства таких больших знатоков русских исторических источников, как М.П. Погодин и А.И. Тургенев (на эти свидетельства обратил внимание И.Л. Фейнберг — 299). «С усердием перечитал он, — писал

М.П. Погодин, — все документы, относящиеся к жизни великого нашего преобразователя, все сочинения, о нем писанные» (243, 108). А.И. Тургенев вспоминал, что он находил в Пушкине «сокровища таланта, наблюдений и начитанности о России, особенно о Петре и Екатерине, редкие, единственные» (245, 143). Эти свидетельства подтверждает и не дошедшая до нас в полном составе библиотека Пушкина, в которой широко представлены материалы, связанные с историей Петра (299, 66–103).

Сопоставление вступления к «Медному всаднику» со «Словом» Гавриила Бужинского, разумеется, не свидетельствует о тождестве этих текстов. Они принадлежат разным авторам и разным эпохам. Если Гавриил Бужинский описывает современный ему Петербург XVIII века, обращаясь непосредственно к создателю этого города Петру I, то Пушкина отделяет от петровского Петербурга столетие, и Петр для него предмет глубоких размышлений историка и художника. В данном случае речь может идти о жанровых особенностях похвального слова, которые сказались и в поэтическом тексте Пушкина, об общности самой темы, перекличке некоторых образов и мотивов, о некоторой архаичности стиля, которая, являясь выразительным художественным средством, не определяет все же стилистический строй как произведения в целом, так и вступления к нему.

Анализируя вступление к «Медному всаднику», Л.В. Пумпянский отметил его двусоставность: «первая часть (до

слов “люблю тебя”... — *Н.М.*) написана одическим, а вторая (от слов “люблю тебя...” — *Н.М.*) — “онегинским языком”» (234, 99). Исследователь указал на онегинские реминисценции во второй части поэмы, на то, что «онегинские смысловые, строфические, ритмические, фразеологические и иные особенности перенасыщают именно вторую часть вступления» (234, 99), что связано, как полагает исследователь, с современной темой, раскрывающейся в этой части. Нам хотелось бы отметить, что независимо от того, идет ли речь во вступлении к «Медному всаднику» о петровском времени, или же о современной Пушкину действительности, все вступление риторически организовано.

Стройная композиция вступления включает приступ к речи — описание Петра на пустынном берегу Балтийского моря. Затем следует внутренний монолог Петра, в котором он произносит творческое слово. Это слово риторически оформлено с помощью анафористических конструкций: «Отсель грозить мы будем шведу. / Здесь будет город заложен <...> Сюда по новым им волнам...» Затем с помощью одической формулы «прошло сто лет» совершается переход от прошлого к настоящему — описание чудесного создания Петербурга «из тьмы лесов, из топи блат» строится на выразительном контрасте, того, что было, и того, что стало: «бедный челн» и «корабли <...> со всех концов земли»; «мшистые, топкие берега» и гранит, одевший Неву, «богатые пристани»; чернеющие избы и «громады стройные» «дворцов и

башен». Далее следует речь Пушкина — его взволнованное признание в любви к Петербургу. Чрезвычайно выразительна в этой речи риторическая фигура единоначатия — пять стихов начинаются словом «Люблю»: «Люблю тебя, Петра творенье, / Люблю твой строгий стройный вид», «Люблю зимы твоей жестокой», «Люблю воинственную живость», «Люблю, военная столица» (V, 136–137). Прием анафоры используется и в других стихах: «Твоих оград узор чугунный, / Твоих задумчивых ночей»; «Или победу над врагом», «Или взломав свой синий лед». «Невы державное течение, / Береговой ее гранит», «оград узор чугунный», «прозрачный сумрак» белых ночей, улицы и здания, «девичьи лица ярче роз», балы, «час пирушки холостой», парады, торжества по случаю побед русского оружия, т. е. и высокое, торжественное, и обыденное, но превращенное Пушкиным в высокую поэзию, — все это окрашено глубоко личным чувством поэта — оратора, влюбленного в город на Неве. Завершается же вступление торжественным заклинанием, в котором, как уже указывалось выше, используется конструкция архаического типа.

Создавая вступление к «Медному всаднику», Пушкин, по-видимому, мог ориентироваться и на современную ему ораторскую прозу. Не исключено, что он мог использовать те или иные конкретные образы и мотивы риторически организованных текстов. В данном случае следует указать на уже цитированную

ранее «Прогулку в Академию художеств» К.Н. Батюшкова, где именно темы Петра и Петербурга находят ораторское воплощение:

«Так, мой друг, — воскликнул я, — сколько чудес мы видим перед собою, и чудес, созданных в столь короткое время, в столетие — в одно столетие! Хвала и честь великому основателю сего города!» (106, 76).

«И воображение представило мне Петра, который в первый раз обозревал берега дикой Невы, ныне столь прекрасные! Из крепости Нюсканц еще гремели шведские пушки; устье Невы еще было покрыто неприятелем, и частые ружейные выстрелы раздавались по болотным берегам, когда великая мысль родилась в уме великого человека. Здесь будет город, сказал он, чудо света. Сюда призову все художества, все искусства. Здесь художества, искусства, гражданские постановления и законы победят самую природу. Сказал — и Петербург возник из дикого болота» (106, 73–74).

С приведенным текстом К.Н. Батюшкова перекликается начало «Медного всадника».

На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел...

<...>

И думал он:

Отсель грозить мы будем шведу.
Здесь будет город заложен
На зло надменному соседу.
Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно,
Ногою твердой стать при море.
Сюда по новым им волнам
Все флаги в гости будут к нам
И запируем на просторе.

(V, 135)

Обратим внимание на следующее образное сравнение, которое использует Пушкин:

И перед младшею столицей,
Померкла старая Москва,
Как перед новою царицей
Порфиноносная вдова.

(V, 136)

С вдовой сравнилась сожженная и опустошенная наполеоновскими войсками Москва в «Слове на день торжественного воспоминания и Господу Богу благодарения о поражении врагов Отечества нашего, и о прогнании их из пределов Калужския губернии, проповеданном в Калужской

Иоаннопредтеченской церкви Окт. 12 1813 года Епископом Калужским и Боровским и Кавалером Евгением» (36, 4).

Тема Петра раскрывается Пушкиным и во вступлении, и в самой поэме. Но здесь уже Петр — не тот он, стоящий на пустынном берегу Балтийского моря, исполненный великих дум, а воздвигнутый ему памятник, который возвышается над созданным им городом. Монумент Петра I воплощает и его государственную мощь, его созидательный разум, но и его непреклонную волю и деспотизм.

Любопытно, что любой памятник воспринимался и осмыслялся современниками Пушкина как своеобразное архитектурное выражение ораторского и книжного слова. Приведем слова митрополита Филарета из его «Речи при заложении в Москве триумфальных ворот, говоренной августа 17 дня 1829 года»:

«Памятник есть безмолвный проповедник, который в некотором отношении может быть превосходнее говорящего, потому что не прекращает порученной ему проповеди, и таким образом она доходит до целого народа и до многих последовательных родов — Памятник есть книга, которой не нужно искать в книгохранилище, потому что она лежит на пути; и таким образом читается и теми, которые не думали раскрывать ее» (84, 457).

В «Медном всаднике» монумент Петра описывается Пушкиным с помощью ораторских приемов, с ориентацией на высокий ораторский стиль:

Ужасен он в окрестной мгле!
Какая дума на челе!
Какая сила в нем сокрыта!
А в сем коне какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?
О мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной,
На высоте, уздой железной
Россию поднял на дыбы?

(V, 147)

Пушкин использует здесь риторические вопросы и восклицания, риторические фигуры единоначатия («Какая дума на челе! Какая сила в нем сокрыта!»), обращения («О мощный властелин судьбы!», «Куда ты скачешь, гордый конь, / И где опустишь ты копыта?»). В текст вкраплена высокая церковнославянская лексика: «чело», «сей». И вместе с тем Пушкин в высоком патетическом тексте считает возможным такие простые разговорные обороты, как «опустишь копыта», «уздой железной», «поднял на дыбы».

В научной литературе не раз обсуждался вопрос о том, почему у Пушкина всадник назван медным (см., например, работы Л. Ереминой и Е.С. Хаева — 174; 309). В интересующей нас связи поэмы с ораторской культурой небезынтересно соображение, высказанное М.П. Ереминым: «Медный кумир — это библейский образ. В книге “Числа” рассказано о том, как на возроптавших евреев бог наслал ядовитых змей и как он же лукаво посоветовал им нарушить его же заповедь — не делать кумиров — и отлить из меди змея и поклоняться ему. Смысл притчи не сложен: от змея пострадали, змею же и поклонялись. Не то же ли в поэме: от кого пострадали, тому и поклоняются?» (173, 266).

Заметим, что памятник Петру и в первой, и во второй части поэмы назван именно кумиром:

И обращен к нему спиною
В неколебимой вышине,
Над возмущенною Невою
Стоит с простертою рукою
Кумир на бронзовом коне.
(V, 142)

<...>

И прямо в темной вышине
Над огражденною скалою
Кумир в простертою рукою

Сидел на бронзовом коне.

(V, 147)

(Обратим внимание на то, что кумир «стоит» во время наводнения, как бы противостоя разбушевавшейся стихии, грозящей городу, и кумир «сидит» тогда, когда беда миновала*, кумир «несется», скачет «с тяжелым топотом» вслед безумному Евгению, осмелившемуся взбунтоваться против «горделивого истукана», «грозного царя».)

* В вариантах первой части есть стих «сидит на бронзовом коне», в вариантах второй части — «стоит с простертою рукою», т. е., по-видимому, окончательный текст явился результатом обдумывания Пушкина и его сознательного выбора.

Кумиром называет Пушкин и Наполеона в стихотворении «Клеветникам России»:

...в бездну повалили

Мы тяготеющий над царствами кумир...

(III, 270)

С Наполеоном Пушкин сближал Петра I задолго до создания «Медного всадника». К 1822 году относятся его размышления о личности Петра I: «Петр не страшился народной

свободы, ибо доверял своему могуществу и презирал человечество, может быть, более чем Наполеон» (XI, 289). И в «Медном всаднике» Пушкин пишет о Петре и его монументе еще и в том стилистическом ключе, в котором он писал о Наполеоне.

Сравним:

О мощный властелин судьбы!

(V, 147)

Сей муж судьбы, сей странник бранный,

Пред кем унизились ц<ари>

Сей всадник Папою венчаный,

Исчезнувший, как тень зари.

(VI, 522–523)

Царь Петр — «грозный», истукан его — «горделивый». Думается, что эти эпитеты могут быть связаны с ораторской прозой 1812 года, в которой Наполеон был представлен «грозным завоевателем», с той ораторской прозой Отечественной войны, которая сказала во многих произведениях Пушкина и могла отозваться и в «Медном всаднике».

2. «НО БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ МОЙ ЕВГЕНИЙ...»

В «Медном всаднике» Петру противостоит Евгений. При чтении поэмы прежде всего обращает на себя внимание контрастное противопоставление царя и одного из толпы, великого человека и человека обыкновенного, государственного деятеля, всемирно известного, сослужившего службу всей России и неизвестного чиновника, который «где-то служит», героя большой истории и героя печального рассказа («наш герой» — так называет его Пушкин). Внутреннему монологу Петра, значительность которого подчеркивается риторической организацией текста, монологу, в котором «великие думы» Петра предстают в виде обширного государственного плана, противопоставлен внутренний монолог Евгения, в котором в разговорно-бытовых интонациях разворачиваются его мечты о будущем:

Жениться? Ну... за чем же нет?
Оно и тяжело, конечно,
Но что ж, он молод и здоров,
Трудиться день и ночь готов;
Он кое-как себе устроит
Приют смиренный и простой
И в нем Парашу успокоит.
«Пройдет, быть может, год-другой —
Местечко получу — Параше

Препоручу хозяйство наше
И воспитание ребят...
И станем жить — и так до гроба
Рука с рукой пойдем мы оба,
И внуки нас похоронят...»

(V, 139)

Но Евгений не только контрастно противопоставлен Петру, он сопоставлен с ним, причем сопоставлен как значительная личность. В данном случае специального внимания заслуживает, на наш взгляд, выявленная А.Е. Тарховым параллель между Евгением и мятежным героем Библии — Иовом. Исследователь, исходя из того, что в творческой истории поэмы мог сыграть важную роль нереализованный замысел Пушкина — перевод Книги Иова, предложил интерпретацию «Медного всадника», по-новому выявляющую некоторые смысловые оттенки пушкинского текста. Позволим себе привести достаточно пространную выдержку из работы А.Е. Тархова:

«Даже самого беглого сравнения двух этих произведений («Медного всадника» и Книги Иова — *Н.М.*) достаточно, чтобы заметить, как «ложится» ситуация пушкинской поэмы на поэму библейскую. (Не останавливаемся специально на отдельных предложениях в «Медном всаднике», которым находится прямая аналогия в Книге Иова: пучина, «клокочущая котлом»; вопль о гибнущем крове и пище: «Где будет взять?!»; «терзающий сон»;

«гул ужаса», раздающийся в ушах несчастного, и др.) Вот как началось неожиданное и страшное несчастье, выпавшее на долю Иова: был человек, далекий от зла, праведный и простой; думал он о том, чтобы, прожив счастливо жизнь, скончаться в гнезде своем. Но чаял он добра — а пришло зло; надеялся на свет — пришла тьма. Мог ли знать он, что «уснет богачом, а встанет нищ; откроет глаза — и нет ничего! Ужасы настигнут его, как вода...». Трагическая метафора, подобная этой, лежит в основе и «петербургской повести» Пушкина; но естественно встает вопрос о первопричине и смысле этих «происшествий» в том и другом случае. В библейской книге все объясняется тем, что Бог испытует глубину праведности «раба своего» Иова; пушкинское же произведение — не религиозно-дидактическая, а философско-историческая поэма, где «начала» и «концы», «причины» и «следствия» есть сама по себе проблема. Тем не менее «ситуацию Иова» можно вполне отчетливо зафиксировать в «Медном всаднике», где центральная линия проблематики определена «взаимоотношением» несчастного петербуржца Евгения и некоего высшего начала — Основателя Петербурга. В описании Всадника, в самых кульминационных моментах, Пушкин настойчиво подчеркивает одну деталь, на которую нельзя не обратить внимание. В сцене наводнения: «Над возмущенною Невою Стоит с простертою рукою Кумир на бронзовом коне»; при второй встрече Евгения и Всадника: «Над огражденною скалою Кумир с

простертою рукою Сидел на бронзовом коне»: и в момент преследования: «И, озарен луною бледной, Простерши руку в вышине. За ним несется Всадник Медный»... Простертая рука Фальконетова монумента истолкована здесь поэтом как жест Того, кто охраняет сотворенный им порядок от всяческого мятежа: это рука подавляющая. В Книге Иова испытания, преследующие страдальца, ощущаются им как протянутая к нему рука неведомого Бога: «Палачом сделался ты для меня и бьешь меня тяжелой рукой»; или «...сними с меня руку Твою и ужас Твой пусть не мучит меня»; наконец, фраза, которая могла бы быть одним из эпитафиев к «Медному всаднику»: «Тяжела Его рука над стоном моим!»

Но в Книге Иова, так же как и в «Медном всаднике», открывается и иной смысл «простертой руки». Доведенный до предела отчаяния, проклявший свое рождение, Иов решается вызвать на суд самого Бога, принести жалобу на того, который попустительствует злу: «Предал он землю во власть злых... Из города стоны людей слышны, и души убиваемых на помощь зовут; и этого не прекратит Бог!» Наконец, и Бог, не выдержав мятежных речей того, кто «промысел мрачит», является и отвечает Иову из бури. Разве «твоею десницей ты храним?» — слышит мятежный страдалец вопрос Бога, который напоминает ему о себе как об устроителе человеческого дома:

Где был ты, как Землю я утверждал?..

Кто положил ей предел? Скажи!

Кто растянул над ней снур?
Во что опущены устои ее,
краеугольный камень кто заложил?..

(Пер. С. Аверинцева)

Ропот Иова на «зиждителя мира» — это отчетливая параллель к мятежу Евгения против «строителя чудотворного», в простертой руке которого есть и «покров» тому, что им создано; а сверхчеловечески-грозное величие погони Всадника родственно по духу явлению «Бога в буре» в Книге Иова.

<...> Смирение пушкинского безумца «отчасти подобно смирению мятежного Иова: смысл “третьей встречи” героев поэмы, бесспорно, в том, что Евгений признает правоту Всадника. Но если Иов (после грозного явления к нему Бога) “кладет руку на уста свои”, кончая навсегда свою распрю с “Крепким”, и обретает затем утраченное благополучие, то Евгений не может уже никогда обрести счастья, и его смиряющая рука прижимается к сердцу, муке которого нет исхода» (285, 288-289).

Наблюдения А.Е. Тархова позволяют углубить и дополнить наши представления о пушкинском герое Евгении, который, будучи сопоставлен с Петром, служит и для утверждения гуманистической идеи самоценности личности каждого человека. Заметим, что этот герой — петербургский Иов, дерзнувший воспротивиться творцу города, не случайно в самом начале повествования о нем представлен как человек, который трудом

«...должен был себе доставить / И независимость и честь». Как известно, независимость и честь — главные духовные ценности для самого Пушкина, художника-труженика. Поставив своего героя в экстремальную ситуацию, Пушкин показывает его во время наводнения страшась не за себя, а за возлюбленную, мужественно переносящим стихийное бедствие:

Тогда, на площади Петровой,
Где дом в углу вознесся новый,
Где над возвышенным крыльцом
С подъятой лапой, как живые,
Стоят два льва сторожевые,
На звере мраморном верхом,
Без шляпы, руки сжав крестом,
Сидел недвижный, страшно бледный
Евгений...

(V, 141)

Евгений во время разбушевавшейся стихии предстает как бы в виде недвижимого памятника (по-видимому, определенный смысл имеет его наполеоновская поза «руки сжав крестом», заставляющая вспомнить суждение, высказанное Пушкиным в «Путешествии в Арзрум»: «Люди верят только славе и не понимают, что между ими может находиться какой-нибудь Наполеон, не командовавший ни одною егерскою ротой...»). И

здесь небезынтересно указать на наблюдение Е.С. Хаева: «В высокой поэтической традиции медь — синоним вечности и славы. Использование в том же значении слова “бронза” становится возможным только в XX веке: “Где он, бронзы звон или гранита грань?” (Маяковский) — в пушкинское время здесь обязательно стояла бы пара: медь и мрамор» (309, 181). В.Е. Хаев отмечает наличие этой пары «медь и мрамор» и в допушкинской поэзии. Так, Г.Р. Державин в стихотворении «Памятник герою» писал:

Такого мужа обелиски
Но тем славны, что к небу близки.
Не мрамором, не медью тверды...
(170, 175)

В другом державинском стихотворении «К Н.А. Львову» есть такие строки:

Как витязи в веках позднейших
В меди иль в мраморе себя
Со удивленьем созерцают...
(170, 194)

Если Петр — Медный всадник, то Евгений недвижно сидит на мраморном льве. Думается, что мрамор здесь, как и медь, может также вызывать ассоциации, связанные с вечностью и славой. В

этой сцене Евгений может восприниматься не только как герой печального рассказа, но и как человек, окруженный героическим ореолом мужества. И еще — проведя Евгения через тяжелые испытания во время наводнения, потрясение от гибели близких людей, безумие, бунт против Петра, который, как и восстание декабристов, совершается на Сенатской площади, неизбывную муку сердца, Пушкин хоронит его на «Острове малом». А.А. Ахматова пришла к заключению, что речь здесь об острове Голодае, на котором были похоронены казненные декабристы. А.Е. Тархов подвергает сомнению этот вывод. «К этому мнению, — пишет исследователь, — трудно присоединиться, ибо пушкинское описание определенно говорит о том, что остров, во-первых, “малый”, а, во-вторых, лежит “на взморье” — чего никак нельзя сказать о Голодае, который, по существу, есть окончечность большого Васильевского острова и увидеть его отдельно лежащим на взморье просто невозможно. Достаточно взглянуть на карту Петербурга, чтобы понять, что Пушкин имеет в виду не Голодай, а какой-то другой остров. Какой же? Та же карта подсказывает, что есть только один остров, который в точности отвечает описанию Пушкина: название его — Вольный. Топография и здесь, в финале, как и во всей поэме, оказывается художественно-содержательной, смысловой: бунтовщик Евгений похоронен на острове Вольном!» (285, 294). Но в любом случае, будь пушкинский «остров малый» островом Голодай или островом Вольным, место захоронения

Евгения в поэме символично, и символ этот так или иначе связан с идеей свободы, которая была для Пушкина высшей политической, нравственной и творческой ценностью. Герой Пушкина, так называемый «маленький человек», возвышается великой идеей и тем самым как бы уравнивается с Великим Петром.

Рассматривая сопоставление Евгения с Петром, следует обратить особое внимание на сцену бунта Евгения. Он шепчет, «злбно задрожав»:

Добро, строитель чудотворный!
Ужо тебе...!

(V, 148)

Вызов, который Евгений бросает державцу полумира, в отличие от многословных речей Иова, краток, но в этой краткости сказывается огромная сила. И то, что этот вызов Евгений шепнул, а не прокричал, отнюдь не снижает его эмоциональной напряженности. Напомним, что в стихотворении «Наполеон» французский император «злбно прошептал» свой монолог, организованный Пушкиным по законам ораторского искусства.

В.Я. Брюсов указал на то, что в сцене бунта Евгений равен Петру:

«Важно то, что, малый и ничтожный, тот, кто недавно сознавался смиренно, что «мог бы Бог ему прибавить ума», чьи мечты не шли дальше скромного пожелания: «Местечко

выпрошу», внезапно почувствовал себя равным Медному всаднику, нашел в себе силы и смелость грозить «державцу полумира».

Характерны выражения, какими описывает Пушкин состояние Евгения в эту минуту:

...Чело

К решетке холодной прилегло,
Глаза подернулись туманом,
По сердцу пламень пробежал,
Вскипела кровь...

(V, 148)

Торжественность тона, обилие славянизмов («чело», «хладной», «пламень») показывают, что «черная сила», которой обуян Евгений, заставляет относиться к нему иначе, чем раньше. Это уже не «наш герой», который «живет в Коломне, где-то служит»; это соперник «грозного царя», о котором должно говорить тем языком, как и о Петре» (128, 94).

Наблюдение В.Я. Брюсова было скорректировано последующими исследователями «Медного всадника», указавшими на то, что высокий торжественный стиль присутствует в повествовании о Евгении не только в сцене бунта. Так, например, В.Д. Левин писал:

«Нельзя не заметить <...>, что окружающий образ Евгения стиль не свободен от книжного, порой даже высокого поэтического элемента. Самые напряженные и трагические эпизоды, связанные с Евгением, созданы языком сложным и разнообразным — см., например, изображение «недвижного» Евгения на мраморном льве:

Его отчаянные взоры
На край один наведены
Недвижно были...

(V, 142)

Разговорные, простые (но не низкие) выражения о некрашеном заборе, ветхом домике, экспрессивно разговорное «или во сне он это видит?» переходят в приподнятое

...иль вся наша
И жизнь ничто, как сон пустой,
Насмешка неба (в вариантах — рока) над землей?
(V, 142)

После наводнения Евгений спешит к реке, «душою замирая, в надежде, страхе и тоске»; «дерзкий пловец», достигший наконец берега, «изнемогая от мучений, / Бежит туда, где ждет его / Судьба с неведомым известьем, / Как с запечатанным письмом». Он ищет

следы дома Параши, «полон сумрачной заботы» (в вариантах «полн мучительной заботы»). Безумие Евгения дано скорее в высоких, чем в сниженных интонациях (см. здесь «смятенный ум», «мятежный шум Невы», «его терзал какой-то сон», «он оглушен был шумом внутренней тревоги» и т. д.; особенного внимания заслуживает стих «ужасных дум безмолвно полон», соотнесенный со строкой о Петре; ср. здесь также «ужасных дум» — «ужасен он» — о Петре)» (191, 198–199).

Элементы высокого стиля, вплетаясь в разговорную, обыденную речь, встречаются, таким образом, на протяжении всего рассказа о Евгении. Есть они и в заключении поэмы, где Пушкин в сдержанной, а отчасти и сниженной манере описывает пустынный остров, на который наводнение, «играя, занесло домишко ветхий»:

...Над водою
Остался он как черный куст.
Его прошедшею весною
Свезли на барке. Был он пуст
И весь разрушен. У порога
Нашли безумца моего,
И тут же хладный труп его
Похоронили ради бога.

(V, 149)

Рассматривая проявление общего стилистического принципа поэмы — «вкрапление обыденного в высокое и высокого в обыденное» в приведенном выше тексте, Ю.Б. Борев обратил особое внимание на слово «хладный», раскрыл его смысловое и стилистическое значение:

В разговорно-обыденную речь вторгается слово высокого ряда — «хладный». Оно способствует объединению этого отрывка со всем текстом поэмы единым стилистическим принципом. Это слово придает обыденному персонажу, поднимающемуся и в своей жизненной программе, и в своем бунтарском порыве на уровень Петра, оттенок величия в его жалкой смерти. Все в этой поэме двулико: и Петербург, и Нева, и наводнение, и Петр, и Евгений. Петербург прекрасен и ужасен, Нева — державная и мятежная сила, наводнение — злодейская и вольная стихия, Петр — мудрый государственный деятель и жестокий преследователь личности. Евгений — мизерабелен в своей бедности и велик в своей любви к Параше, принижен своим жизненным положением и возвышен своими мечтами о независимости и чести, жалок в своем безумии и высок в своей способности протестовать.

И смерть Евгения жалка и высока. <...> Возвышенный аспект несчастной судьбы и жалкой смерти героя подчеркивают и неожиданно архаическое слово «хладный», и вся языковая конструкция «хладный труп его». Это сцепление слов далеко отклоняется к высокому стилю от обыденноречевого построения:

«его холодный труп». В этой мельчайшей клеточке текста действует общая «генная» программа стиля. Ведь перед нами высокое слово «хладный», а не обыденное «холодный», но обыденное — «труп», а не высокое — «тело» (121, 341–342).

Итак, высокий стиль возвышает Евгения. Патетика этого стиля связана с пушкинским утверждением не только идеи государственности, но и отдельной личности, с утверждением гуманистической идеи неоспоримого права каждого человека на жизнь и на счастье. Но при этом, рассказывая о Евгении, Пушкин преследовал и другую цель — вызвать у читателя сострадание к своему несчастному герою. Для достижения же этой цели он также использовал эмоциональные, выразительные возможности ораторского слова, арсенал ораторского искусства, призванного не только убедить разум слушателя, подвигнуть слушателя на действие, но и тронуть его сердце.

Описывая Евгения во время наводнения, поэт высказывает свое сочувствие к нему эпитетом «бедный», взволнованной интонацией повествования, риторическими вопросами и восклицаниями:

...Он страшился, бедный,
Не за себя. Он не слышал,
Как подымался жадный вал,
Ему подошвы подмывая,
Как дождь ему в лицо хлестал,

Как ветер, буйно завывая,
С него и шляпу вдруг сорвал,
Его отчаянные взоры
На край один наведены
Недвижно были. Словно горы,
Из возмущенной глубины
Вставали волны там и злились,
Там буря выла, там носились
Обломки... Боже, боже! там —
Увы! близехонько к волнам,
Почти у самого залива —
Забор некрашенный, да ива
И ветхий домик: там оне,
Вдова и дочь, его Параша,
Его мечта... Или во сне
Он это видит? иль вся наша
И жизнь ничто, как сон пустой,
Насмешка неба над землей?
И он, как будто околдован,
Как будто к мрамору прикован,
Сойти не может! Вкруг него
Вода и больше ничего!

(V, 141–142)

Пушкин виртуозно использует анафористические конструкции, нагнетающие напряжение: «Он не слышал, / Как

подымался жадный вал. <...> Как дождь ему в лицо хлестал, / Как ветер, буйно завывая...» «Там буря выла, там носились / Обломки ...Боже, боже! Там — <...> ...там оне... И он, как будто околдован, / Как будто к мрамору прикован». Риторический прием исчисления позволяет передать читателю всю тяжесть испытания, которое выпало на долю бедного Евгения, его физические и нравственные муки.

По ходу дальнейшего повествования поэт использует грамматическую форму настоящего времени, создавая впечатление сиюминутности происходящего. Читатель вместе с несчастным Евгением созерцает ужасную картину разрушения, представленную в страшных подробностях:

Несчастный
Знакомой улицей бежит
В места знакомые. Глядит,
Узнать не может. Вид ужасный!
Все перед ним завалено;
Что сброшено, что снесено;
Скривились домики, другие
Совсем обрушились, иные
Волнами сдвинуты; кругом,
Как будто в поле боевом,
Тела валяются. Евгений
Стремглав, не помня ничего,
Изнемогая от мучений,

Бежит туда, где ждет его
Судьба с неведомым известьем,
Как с запечатанным письмом.
И вот бежит уж он предместьем,
И вот залив, и близок дом...
Что ж это?..

Он остановился.

Пошел назад и воротился.
Глядит... идет... еще глядит.
Вот место, где их дом стоит,
Вот ива. Были здесь ворота,
Снесло их, видно. Где же дом?

(V, 144)

Сообщая о сумасшествии Евгения, поэт-оратор горестно восклицает:

Но бедный, бедный мой Евгений...
Увы! его смятенный ум
Против ужасных потрясений
Не устоял...

(V, 145)

Описывая безумного Евгения, Пушкин приводит пронзительные в своей обыденности подробности его бытия. Здесь и поданный в окошко кусок, и ветхая одежда, и камни, которые

злые дети бросали ему вслед, и кучерские плети, нередко его стегавшие.

И так он свой несчастный век
Влачил, ни зверь, ни человек,
Ни то ни се, ни житель света,
Ни призрак мертвый...

(V, 146)

Это резюме повествователя предшествует сцене бунта Евгения, сцене, в которой Евгений из «безумца бедного» преобразается в противника «грозного царя» с тем, чтобы, пережив еще одно душевное потрясение, стремительный побег от несущегося за ним «на звонкоскачущем коне» Медного Всадника, вновь и уже навсегда стать «безумцем бедным».

Портрет смирившегося Евгения — выражение его смятенного лица, опущенные смущенные глаза, жест — поспешно прижатая к сердцу рука, смиряющая неизбывную сердечную муку, снятый «картуз изношенный» (еще одна «говорящая» деталь в рассказе о Евгении) — вызывает сочувствие читателя к несчастному герою. И, наконец, финал, в котором Пушкин рисует перед глазами читателя трагическую в своей обыденности картину: пустынный остров, куда лишь изредка причаливает рыбак, запоздавший на ловле, или чиновник, совершающий в лодке воскресную прогулку; занесенный наводнением на остров «ветхий

домишко». «Безумец мой» — так называет Пушкин Евгения, «хладный труп» которого, найденный на пороге пустого и разрушенного дома, «похоронили ради Бога».

3. «УВЫ! ВСЕ ГИБНЕТ...»

«Мятется ум, содрогается сердце, цепенеет чувство при представлении и воспоминании великого бедствия, внезапно постигшего царственный град сей. Велик гнев Божий, страшно прещение, ужасна смерть. Господь рек — и восстала буря, поколебалось в основаниях своих море, разсвирипели волны, воскипела и разлилась река.

Бедные хижины и пышные чертоги постепенно погрязают в водах свирепеющего потопа; суда и ладии, стремительно несясь по хребту бездны, мгновенно достигают друг друга, друг друга поражают и сокрушают; всякого рода пища, изделия, запасы, богатство, предметы затейливой роскоши и тщеславия поглощаются разъяренными волнами; без числа издыхают разного рода животные. В то же время гибнут разного возраста, пола и состояния люди, при всем усердии и рвении, при всех возможных условиях и пособиях со стороны ближних. Младенцы при сосцах матерних, юноши и девы при глазах родителей, супруги в объятиях супругов, друзья в виду рыдающих друзей, — господин со своими слугами, воин с оружием, купец с своими товарами

умирают горькою смертью. Стон, плач, рыдание, воздеяние рук к небу, слух, вперенный в чаяние близкой помощи, последний и умиленный взор на чудное Творение Божие, последнее усилие, последние слезы, последний вздох в хладеющей груди... Все миновалось, все кончилось!» (61, 323–324).

Так начиналось «Слово по случаю бывшего в Санкт-Петербурге наводнения 1824 года, 7 ноября», которое произнес архимандрит Поликарп в Казанском соборе 14 ноября 1824 года, т. е. спустя неделю после катастрофы. До сих пор этот текст не был известен исследователям. Между тем он наряду с другими откликами на наводнение — правительственными документами, газетными хрониками, письмами, дневниками, мемуарами, литературными произведениями (этот разнородный, разнообразный материал неоднократно являлся предметом публикаций и исследований, связанных с «Медным всадником», — см., например, работы Н.В. Измайлова (184), Л.В. Пумпянского (234), Г.М. Ленобля (194), Н.А. Рябиной (255), А.Л. Осповата (226) и др.) — дополняет наше представление о той среде, в которой создавалась и в которой воспринималась поэма Пушкина. Небезынтересен приведенный текст и в другом отношении.

Независимо от того, знал ли Пушкин приведенный нами ораторский текст или не знал (решение этого вопроса требует дальнейших разысканий), слово церковного проповедника заслуживает специального внимания. Оно дает довольно редкую

возможность сопоставить два текста — ораторский и поэтический, написанных на одну тему, выявить с помощью этого сопоставления те приемы ораторского искусства, которые Пушкин берет в арсенал поэтического творчества.

Рассматривая текст архимандрита Поликарпа в соотношении с текстом Пушкина, следует учесть специфику жанра церковного «Слова»: цель церковного проповедника, поминая погибших во время наводнения, утешить слушателей, внушить им истины христианской религии: «При сем толь бедственном событии, при сих толь тягостных для ума и сердца обстоятельствах, при сем толь великом лишении, при сем общем унынии, горести, напасти, — где искать нам утешения, одобрения и отрады, наипаче в отношении к близким нашим, вкусившим горькую и внезапную смерть? Что может одобрить, утешить и успокоить нас, когда мы, очевидно, впали в руки Бога живого, когда Сам Он поражает нас, прилагает к скорби скорбь, к болезни болезнь, к язве язву? <...>

Поищем же и мы, сетующие слушатели, в настоящих горестных для ума и сердца обстоятельствах утешения, ободрения и отрады, наипаче же в отношении к ближним нашим, погибшим горькою и внезапною смертью, в Боге и Слове Его, которое изцеляет все» (61, 325–326).

Наводнение изначально представлено как Божья кара за людские пороки. Этот мотив пронизывает все описание

наводнения: не случайно упомянуты богатство, предметы роскоши и тщеславия, гибнущие в волнах; пышные чертоги, равно как и бедные хижины, погружаются в воду. Изображение наводнения достаточно условно, в нем нет реалий Петербурга, нет конкретных людей, а есть условные образы людей «разного возраста, пола и состояния». Вместе с тем, призванное вызвать в памяти слушателей недавнюю катастрофу, потрясти их страшной картиной стихийного бедствия, это изображение чрезвычайно выразительно. Выразительность достигается приемом перечисления, стремительным нагромождением трагических подробностей. При этом используется грамматическая форма настоящего времени в ее изобразительной функции. Взволнованную интонацию ораторскому тексту придают эмоциональные восклицания оратора, предваряющие и завершающие тот отрывок его речи, в котором описывается наводнение.

Нетрудно заметить, что Пушкин, описывая наводнение, использует отмеченные выше ораторские приемы.

Ужасный день!

<...>

Осада! приступ! злые волны,
Как воры, лезут в окна. Челны
С разбега стекла бьют кормой.
Лотки под мокрой пеленой.

Обломки хижин, бревны, кровли,
Товар запасливой торговли,
Пожитки бледной нищеты,
Грозой снесенные мосты,
Гроба с размытого кладбища
Плывут по улицам!

Народ

Зрит божий гнев и казни ждет.
Увы! все гибнет: кров и пища!
Где будет взять?

(V, 140–141)

Описание самого момента наводнения включено в повествование, ведущееся в прошедшем времени, но дано в системе настоящего времени. Благодаря этому достигается впечатление сиюминутности происходящего — читателю, как и слушателю, кажется, что трагическое событие происходит сейчас перед его глазами. Как и в проповеди, быстрый перечень самых разных предметов создает картину страшного хаоса. Однако при этом контраст богатства и бедности — «Товар запасливой торговли, / Пожитки бледной нищеты» — не несет религиозно-моралистического смысла. Мотив божьей кары не является определяющим — у Пушкина он, хотя и представлен в церковнославянской стилистике, дан как объективное отражение религиозного сознания современников: «Народ / Зрит божий гнев

и казни ждет». Подобно оратору, Пушкин обрамляет описание наводнения эмоциональными восклицаниями, риторическим вопросом: «Ужасный день!.. Увы! все гибнет: кров и пища! Где будет взять?» Восклицания, вопрос вызывают у читателей, как и у слушателей, чувства сопереживания, сострадания к жертвам наводнения.

«Слово» архимандрита Поликарпа, как и всякая проповедь, основывается на Библии; петербургское наводнение проецируется на библейский образ всемирного потоп. Возможность такой проекции должна быть принята во внимание и применительно к «Медному всаднику».

Как известно, в письмах Пушкина 1824 года петербургское наводнение пародийно осмыслялось как библейский потоп: «Что это у вас? потоп! ничто проклятому Петербургу! <...> Не найдется ли между вами Ноя, для насаждения винограда? На святой Руси не шутка — ходить нагишом, а хамы смеются. <...> Прощай, душа моя, будь здоров и не напейся пьян, как тот — после своего потоп. N. В. Я очень рад этому потопу, потому, что зол...» (Л.С. Пушкину. XIII, 122–123).

В пародийном ключе было написано стихотворение 1824 года «Напрасно ахнула Европа», в котором были использованы мотивы и образы библейского потоп. Но в том же 1824 году Пушкин сравнивал наводнение с библейским потопом и в ином, серьезном плане, имея в виду сходство трагических событий:

«Этот потоп с ума мне нейдет, он вовсе не так забавен, как с первого взгляда кажется» (Л.С. Пушкину и О.С. Пушкиной 4 декабря 1824 года. XIII, 127).

В «Медном всаднике» наводнение не случайно названо потопом:

«И место, где потоп играл».

(V, 147)

Библейская тема всемирного потопа, по наблюдениям Л.В. Пумпянского, могла быть воспринята Пушкиным — автором «Медного всадника» и через поэтическую традицию XVIII века, в свою очередь воспринявшую эту тему в литературной обработке Горация и Овидия (234, 101–109). Но, думается, Библия как литературный источник пушкинского текста, описывающего наводнение, все же должна быть учтена прежде всего тем более, что в исследовательской литературе отмечались и другие библейские мотивы в поэме Пушкина. Однако, на наш взгляд, это не отменяет необходимости при изучении «Медного всадника» принимать во внимание и ораторскую культуру проповедничества, имевшую многовековую литературную традицию и широкую практику в пушкинское время. При сопоставлении «Медного всадника» со «Словом» архимандрита Поликарпа Пушкин предстает перед нами как поэт-оратор, мастерски использовавший выразительные возможности ораторской речи.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ПРОЗА ПУШКИНА

И ОРАТОРСКАЯ ПРОЗА ЕГО ВРЕМЕНИ

I. ПУШКИНСКАЯ ТЕОРИЯ ПРОЗЫ И «РИТОРИКИ» ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА

«Точность и краткость — вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей — без них блестящие выражения ни к чему не служат» (XI, 19).

К этому манифесту Пушкина-прозаика, провозглашенному в незаконченной статье «О прозе», обращались многие исследователи. В нем привлекала не только продуманность чеканных формулировок, но и то обстоятельство, что они принадлежали молодому Пушкину, чьи прозаические опыты еще не были известны читателям. Ведь его первое завершенное прозаическое произведение — «Повести Белкина» увидели свет только в 1831 году; статья же «О прозе» была написана в 1822 году, и высказанные в ней суждения и в дальнейшем сохранили свое значение для Пушкина-прозаика, уже зрелого мастера. Пушкинисты сосредоточили свои усилия преимущественно на соотношении и взаимодействии пушкинской теории прозы и

художественной практики Пушкина-прозаика, не задаваясь вопросом об истоках его теоретических представлений.

«Как и вся поэтическая работа Пушкина, его эволюция в прозе сопровождалась ясным самосознанием, — пишет С. Г. Бочаров. — Движению к прозе сопутствовала своеобразная «теория прозы», рассеянная не только в статьях и заметках (а также письмах), но и в самих стихах» (125, 105). Исследователь солидаризируется с авторами тех работ, в которых отмечалось, что теоретическая осознанность законов прозы предшествовала работе Пушкина над прозаическими произведениями. Так, например, А. З. Лежнев утверждал: «Пушкин вплотную занялся прозой не раньше, чем вполне осознал, что она должна собой представлять и каков ее характер и цели» (193, 20). «Что касается прозы, — заметил Ян М. Мейер, — то здесь можно сказать, что теория предшествовала практике. Здесь Пушкин осознавал проблему, прежде чем пытался решить ее» (213, 111). Думается, однако, что в данном случае нужно учесть поправку, сделанную Л.С. Сидяковым к заключениям подобного рода. Анализируя статью Пушкина «О прозе», Л.С. Сидяков указал на то, что хотя данная статья «имеет, конечно, программный характер, но она одновременно подводит и первые итоги развития самого Пушкина» (262, 12).

В самом деле, работать над прозой Пушкин, как известно, начал уже в Лицее. Первые биографы и исследователи его творчества сообщают со слов лицеистов о его прозаических

произведениях «Цыган» и «Фатам, или Разум человеческий», написанных в Лицее под влиянием философской прозы Вольтера (151, 157–158; 99, 22). Не исключено, что упомянутая в лицейском дневнике «Картина Царского Села» была задумана как прозаический очерк (115, 80). К ранним опытам в прозе можно отнести дневниковые записи Пушкина-лицеиста, в частности, включенную в дневник 1815 года статью «Мои мысли о Шаховском», характеристику лицейского воспитателя

А.И. Иконникова и др. Прозаическая линия в творчестве Пушкина 1810–1820-х годов заслонялась линией поэтической, отступала на второй план, но тем не менее не прерывалась*. Своеобразной творческой лабораторией Пушкина-прозаика продолжали оставаться его дневниковые записи, письма. 1819 годом датируется прозаический отрывок «Наденька», в котором Пушкин по-своему ориентировался на традиции Н.М. Карамзина, 1821–1823 годами — недошедшие до нас так называемые «Молдавские повести», которые сам Пушкин расценивал как свой первый прозаический опыт (241, 330). Несомненно — и это заметил Л.С. Сидяков — ранние прозаические произведения Пушкина должны быть приняты во внимание при характеристике статьи «О прозе» (262, 12). Но, на наш взгляд, не менее важно, учитывая теоретический характер статьи, обратиться к тем теоретическим трактатам пушкинского времени, которые осмыслили законы прозы, давали определение прозаическим

жанрам, а именно к «Риторикам» первой трети XIX в., и прежде всего к «Риторикам» лицейского преподавателя Пушкина Н.Ф. Кошанского, созданным на основе его лицейского курса. Обратимся к текстам.

* Анализ ранней прозы Пушкина дан в работах Л.С. Сидякова (259, 5–23; 262, 19–28) и Н.Н. Петруниной (230, 5–47).

«Д’Аламбер сказал однажды Лагарпу: «Не выхваляйте мне Бюфона, этот человек пишет — Благороднейшее из всех приобретений человека было сие животное гордое, пылкое и проч. Зачем просто не сказать лошадь». Лагарп удивляется сухому рассуждению философа. Но Д’Аламбер очень умный человек — и, признаюсь, я почти согласен с его мнением» — так начинает Пушкин статью «О прозе» (XI, 18).

С некоторой оговоркой присоединяясь к приведенному мнению французского просветителя Д’Аламбера, Пушкин выступает с критикой перифрастической прозы русских писателей:

«Замечу мимоходом, что дело шло о Бюфоне — великом живописце природы, коего слог, цветущий, полный, всегда будет образцом описательной прозы, некоторые картины отделаны кистью мастерской. Но что сказать об наших писателях, которые, почитая за низость изъяснить просто вещи самые обыкновенные, думают оживить детскую прозу дополнениями и вялыми метафорами? Эти люди никогда не скажут дружба — не прибавя:

сие священное чувство, коего благородный пламень и пр. Должно бы сказать: рано поутру — а они пишут: Едва первые лучи восходящего солнца озарили восточные края лазурного неба — ах как это ново и свежо, разве оно лучше потому только, что длиннее» (XI, 18).

Русской перифрастической прозе Пушкин в качестве образца противопоставляет прозу Вольтера:

«Вольтер может похвастаться лучшим образцом благоразумного слога. Он осмел в своем “Микромегасе” изысканность тонких выражений Фонтенеля, который никогда не мог ему того простить» (XI, 18).

Далее следуют уже приведенные нами программные определения достоинств прозы:

«Точность и краткость — вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей — без них блестящие выражения ни к чему не служат. Стихи дело другое (впрочем, в них не мешало бы нашим поэтам иметь сумму идей гораздо позначительнее, чем у них обыкновенно водится. С воспоминаниями о протекшей юности литература наша далеко не продвинется)» (XI, 19).

Точность и краткость, провозглашенные Пушкиным «первыми достоинствами прозы», требование простоты и ясности прозаического изложения, утверждение в прозе пафоса мысли, отказ от «блестящих выражений», мыслью не освещенных, осознание принципиального отличия и взаимосвязи

художественных систем прозы и поэзии — оказывается, что все это находит соответствия в риториках русских авторов, которые в свою очередь восприняли во многом традиции античных риторик. В «Общей Реторике» Н.Ф. Кошанского и в его же «Частной Реторике» в связи со статьей Пушкина «О прозе» заслуживают внимания следующие высказывания:

«Всякое лишнее слово в Прозе есть бремя для читателя» (42, 39).

«Они (начинающие писатели — *Н.М.*) все внимание обращают на прелестные выражения, на цветущие слова и картины, не думая и не подозревая, что истинное красноречие всех веков и народов состоит в прекрасных мыслях, в искусстве располагать и составлять сочинение, а не в наружности, которая в живом языке пленяет только один век, одно поколение» (42, 44).

«Не повторяйте одного и того же, хотя бы то было другими словами, другими выражениями: одно и то же скучно»* (42, 48).

* Сравним с суждением, высказанным А. Ф. Мерзляковым в его «Краткой риторике»: «Она (точность — *Н. М.*) избегает всего излишнего и растянутого, наблюдая везде благоразумную краткость» (55, 28).

«...простота рассказа состоит в краткости, ясности и правдоподобию...» (42, 53).

«Первое достоинство Слога, ясность*. Без нее все прочие достоинства для читателя — как красы природы без света для зрителя — исчезают.

* Сравним с определением из «Риторики» Аристотеля: «...достоинство стиля заключается в ясности <...>, доказательством этого служит то, что, раз речь не ясна, она не достигает своей цели» (19, 129).

Три правила сохраняют ясность: первое требует твердого знания предмета. <...>

Второе правило ясности требует здоровой, основательной связи в мыслях, которая происходит от силы ума и степени образования, просвещения. <...>

Третье правило ясности требует: 1) естественного порядка слов; 2) точности и общей употребительности слов и выражений; 3) уместных знаков препинания» (42, 96–97)*.

* Небезынтересно сравнить приведенный текст с записями в учебной тетради товарища Пушкина по Лицею А.М. Горчакова, в которую он переписывал подготовленные Н.Ф. Кошанским конспекты курса, читанного учащимся пушкинского выпуска (записи приведены в книге Н.Н. Петруниной «Проза Пушкина» (230, 6). Это сравнение может стать одним из доказательств того, что курс лицейских лекций был положен в основу учебников Н.Ф. Кошанского по риторике.

«Поэзия действует на воображение и чувства, прозаическое красноречие на разум и волю (43, 2)*.

* «Предметами существенными, истинными занимается Проза; Поэзия присовокупляет к тому вымыслы и картины воображения. Основанием Прозы служат преимущественно мысли, а Поэзия имеет надобность в чувствованиях», — писал Н.И. Греч в «Учебной книге русской словесности, или избранных местах из русских сочинений и переводов в стихах и прозе, с присовокуплением кратких правил риторики и пиитики и истории русской литературы» (35, 3).

Несомненно, что эти положения науки о красноречии, с которыми Пушкин познакомился еще на лицейской скамье, были ему близки, отвечали складывающимся требованиям к образованию художественной прозы. Эти положения сказались не только в статье «О прозе», явившейся своего рода теоретической программой Пушкина-прозаика, но и в последующих его высказываниях о прозе, в оценках прозаических произведений русских и европейских авторов, в осмыслении собственного прозаического творчества. Так, например, в «Отрывках из писем, мыслей и замечаний» (1827) Пушкин писал:

«У нас употребляют прозу, как стихотворство: не из необходимости житейской, не для выражения нужной мысли, а только для приятного проявления форм» (XI, 60).

В незавершенной статье «О поэтическом слоге» (1828) говорилось:

«Мы не только еще не подумали приблизить поэтический слог к благородной простоте, но и прозе стараемся придать напыщенность» (XI, 73).

В заметке 1830 года об «Обзрении русской словесности за 1829 г.» И.В. Киреевского есть критическое замечание в духе приведенных ранее теоретических высказываний Пушкина о прозе:

«Молодой Киреевский в красноречивом и полном мыслей обзрении нашей словесности, говоря о Дельвиге, употребил сие изысканное выражение: “древняя муза его покрывается иногда душегрейкою новейшего уныния”. Выражение, конечно, смешное. Зачем не сказать было просто: в стихах Дельвига отзывается иногда уныние новейшей поэзии?» (XI, 151).

По воспоминаниям П.А. Миллера Пушкин так оценивал свои «Повести Белкина»:

«Вскоре по выходе повестей Белкина я на минуту зашел к Александру Сергеевичу: они лежали у него на столе. Я и не знал, что они вышли, и еще менее подозревал, что автор их — он сам.

— Какие это повести? И кто это “Белкин”? — спросил я, заглядывая в книгу.

— Кто бы он там ни был, а писать повести надо вот эдак: просто, коротко и ясно» (244, 234–236).

В рецензии 1835 года на «Три повести» Н.Павлова Пушкин отметил:

«В слоге г. Павлова, чистом и свободном, изредка отзывается манерность; в описаниях — близорукая мелочность нынешних французских романистов» (XII, 9).

При определенной близости суждений Пушкина о прозе с отдельными положениями «Риторик» Н.Ф. Кошанского следует учесть избирательность Пушкина по отношению к этому теоретическому опыту. В «Риториках» Н.Ф. Кошанского были не только приведенные нами высказывания о точности и краткости прозы, о ее обращенности к мысли; большое место занимало учение о «всех родах украшений» — тропах и риторических фигурах. Пушкин принципиально выступает за неукрашенную прозу, является противником перифрастической прозы. Заметим, что перифрастическая, поэтическая проза была создана Н.М. Карамзиным, чьи произведения в «Риториках» Н.Ф. Кошанского были признаны образцовыми. Пушкин же, признавая заслуги Н.М. Карамзина в создании русской прозы, вместе с тем, по-видимому, признавал и недостатки карамзинского прозаического стиля. «Вопрос, чья проза лучшая в нашей литературе, — писал он в статье “О прозе”. — Ответ — Карамзина. Это еще похвала небольшая...» (XI, 19). Принципы перифрастической украшенной прозы получили свое развитие в прозаических произведениях романтиков, современников

Пушкина. В их произведениях можно найти все риторические приемы, неумеренное использование которых нередко приводило к ложной патетике и декламации, что также вызывало критические замечания Пушкина. В этом отношении показательна пушкинская оценка прозы А.А. Бестужева-Марлинского, у которого, по образному выражению В.Г. Белинского, «каждое слово завитком» (111, т. I, 84). Отмечая «ум и чудесную живость», которые сказываются в повестях А.А. Бестужева-Марлинского «Роман и Ольга» и «Вечер на бивуаке», Пушкин указывает на риторический язык героя «Ревельского турнира»: «Твой Владимир говорит языком немецкой драмы...» (XIII, 180). (Сравним с замечанием В.Г. Белинского: «Русские персонажи повестей г. Марлинского говорят и действуют как немецкие рыцари: их язык риторический, вроде монологов классической трагедии... — 111, т. I, 277). Сам Пушкин отказывается от украшенности прозы и в теории, и в практике своих прозаических сочинений. Риторические приемы на общем сдержанном стилевом фоне его прозы становятся одним из выразительных стилевых элементов, и об этом мы еще будем говорить.

В пушкинской теории прозы важное место занимают его суждения о языке прозы — по его выражению, «метафизическом языке»*, создание которого он выдвигал как одну из первоочередных задач. В 1822 году в письме к П.А. Вяземскому, критическую прозу которого он высоко ценил, Пушкин писал:

«Предприими постоянный труд, пиши в тишине самовластья, образуй наш метафизический язык, зарожденный в твоих письмах — а там что Бог даст» (X, 42). Такой же совет получил ранее П.А. Вяземский от М.Ф. Орлова, который писал ему 9 сентября 1821 года: «Займись прозою, вот чего недостает у нас. Стихов уже довольно, особливо что называется у французов «Poesies légères». Пора предпринять образование словесности нашей в большом виде, в философском смысле, строгими сочинениями или полезными переводами» (209, 79).

* Раскрывая смысл, который Пушкин вкладывает в понятие «метафизический язык», Л.С. Сидяков полагает, что в данном случае «речь шла о разработке языка, который мог бы употребляться как в произведениях художественных, так и в произведениях публицистических и научных», т. е. речь шла о языке прозы в широком ее понимании (262, 16). Такое толкование представляется справедливым. Пушкин связывал прозу с мыслью. С мыслью связано и определение метафизики, которое дает В. Даль в «Толковом словаре»: «Метафизика ж. с грече, наука, ученье о мире невещественном, о существенном, духовном; ученье о том, что выше физики, т. е. земной природы, что не подлежит чувствам человека, а одному умствованию его, — метафизический, к сему относящийся» (168, 323). Таким образом, метафизический язык — язык мысли, т. е. по Пушкину, язык прозы.

В пушкинской статье 1825 года «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И.А. Крылова», напечатанной в «Московском Телеграфе», говорилось: «Положим, что русская

поэзия достигла уже высокой степени образованности: просвещение века требует пищи для размышления, умы не могут довольствоваться одними играми гармонии и воображения, но ученость, политика и философия еще по-русски не изъяснялись; метафизического языка у нас вовсе не существует. Проза наша так еще мало обработана, что даже в простой переписке мы принуждены создавать обороты для изъяснения понятий самых обыкновенных, так что леность наша охотнее выражается на языке чужом, коего механические формы давно готовы и всем известны» (XI, 34).

Необходимость создания языка прозы ощущалась не только Пушкиным, но и его современниками. Мы уже приводили письмо М.Ф. Орлова к П.А. Вяземскому. Весьма показательна в указанном отношении и статья А.А. Бестужева-Марлинского «Взгляд на старую и новую словесность в России» (1823), в которой он писал:

«Гремушка занимает детей прежде циркуля: стихи, как лезть слуху, сносны самые посредственные; но слог прозы требует не только знания грамматики языка, но и грамматики разума, разнообразия в падении, в округлении периодов и не терпит повторений. От сего-то у нас такое множество стихотворцев (не говорю — поэтов) и почти вовсе нет прозаиков, и как первых можно укорить бледностью мыслей, так последних погрешностью против языка. К сему присоединилась и односторонность, происшедшая от употребления одного французского и переводов с

сего языка. Обладая неразработанными сокровищами слова, мы, подобно первобытным американцам, меняем золото одного на блестящие заморские безделки» (113, т. 2, 390).

Заслуживает внимания также статья О.М. Сомова «Обзор российской словесности за 1828 год», в которой сказано:

«С некоторого времени хорошая проза сделалась необходимой потребностью для читающей публики нашей; и как все хорошее и редкое, она ловится с какою-то ревнивой жадностью: свидетельством тому служат некоторые прозаические сочинения, изданные в последних годах. Жаль, что молодые наши кандидаты в литераторы не подметили сего направления умов, которое, волею и неволею увлекаясь за своим веком, требует от нас более положительного, более существенного; тогда, может быть, от вялых подражаний в стихах они обратились бы к прозе, в которой еще не все или даже очень мало сделано для русского языка. У нас нет еще слога повествовательного для романов и повестей, нет разговорного слога для драматических сочинений в прозе, нет даже слога письменного. Оттого-то молодые наши писатели вступают всегда почти ощупью в этот путь, и слава Богу, если, за неимением проложенной гладкой дороги, им посчастливилось напасть на хорошую тропинку! Немногие, однако ж, похвалятся этою удачей: большая часть или сбивается на шероховатую пашню устарелого языка славяно-русского, или скользит и падает на развалинах, сгроможденных когда-то из

запасов чужезычных галлицизмов, германизмов и проч., или тонет в низменной и болотистой почве грубого, необработанного языка простонародного» (276, 82–89).

Решая вопрос о создании языка прозы, Пушкин отвечал насущной потребности развития русской литературы, в которой уже к 20-м годам наметился поворот к прозаическим жанрам, в 30-е же годы этот поворот стал очевидным. «Стихотворцы, правда, не переставали стрекотать на всех углах, но стихов никто не стал слушать, когда все стали их писать, — констатировал А.А. Бестужев-Марлинский в статье 1833 года о романе Н. Полевого «Клятва при гробе господнем». — Наконец рассеянный ропот слился в общий крик: «Прозы! прозы! Воды, простой воды!» (113, т. 2, 412–413). «Теперь вся наша литература превратилась в роман и повесть, — писал В.Г. Белинский в статье 1835 года «О русской повести и повестях Гоголя». — Ода, эпическая поэма, баллада, басня, даже так называемая или, лучше сказать, так называвшаяся романтическая поэма, поэма пушкинская, бывало наводнявшая и потоплявшая нашу литературу, — все это теперь не больше, как воспоминание о каком-то веселом и давно минувшем времени. Роман все убил, все поглотил, а повесть, пришедшая вместе с ним, изгладила даже и следы всего этого, и сам роман с почтением посторонился и дал ей дорогу впереди себя» (111, 26). Рассматривая в этой статье рост прозаических жанров, В.Г. Белинский видел в этом явлении один

из признаков общего движения русской литературы от поэзии идеальной к поэзии реальной, к поэзии действительности.

Пушкин, как известно, явился создателем русского литературного языка. И в данном случае вряд ли можно говорить о какой-либо дифференциации Пушкиным стихов и прозы. Осознавая их различие, он вместе с тем осознавал и их взаимодействие, что сказалось в его творчестве (264). Как к поэзии, так и к прозе могут, на наш взгляд, быть отнесены многие общие теоретические положения, высказанные Пушкиным в связи с литературным языком. При этом, как нам представляется, в создании этих положений лицейский курс лекций по риторике Н.Ф. Кошанского не мог сыграть существенной роли. Будучи основанными на литературе 1800–1810-х годов, лекции Н.Ф. Кошанского утверждали, как уже говорилось, в качестве образцовых сочинения Н.М. Карамзина. И позднее в учебниках «Риторики» Н.Ф. Кошанский, говоря о видах слогов и их определенном языковом выражении, учитывал прежде всего карамзинские установки на разговорный язык «в лучших обществах в высшем кругу людей», на ограниченность простонародного элемента:

«Слова в Простом слоге должны быть простые, обыкновенные, но не все слова, употребляемые в разговорах, могут быть на бумаге: ибо звук исчезает, а письмо остается <...>.

Мысли сему слогу свойственны простые, обыкновенные, но благородные» (42, 87–88).

Пушкин принял реформу Н.М. Карамзина, ориентирующую писателей на разговорный язык образованного общества, широко вводившую слова и обороты, заимствованные из французского языка. Так, в 1825 году Пушкин писал П.А. Вяземскому по поводу его статьи «О разборе трех статей, помещенных в записках Наполеона, написанном Денисом Давыдовым»: «Ты хорошо сделал, что заступился явно за галлицизмы. Когда-нибудь должно же вслух сказать, что русский метафизический язык находится у нас еще в диком состоянии. Дай бог ему когда-нибудь образоваться наподобие французского (ясного, точного языка прозы — т. е. языка мыслей). Об этом есть у меня строфы 3 и в «Онегине» (XIII, 187). Вместе с тем Пушкин выступал против чрезмерного использования иностранных слов, даже ученых терминов. 4 февраля 1832 года он писал И.В. Киреевскому: «Избегайте ученых терминов и старайтесь их переводить, то есть перефразировать: это будет и приятно неучам и полезно нашему младенческому языку» (XV, 9). (Любопытно отметить, что пушкинские слова созвучны высказыванию Я. Толмачева в его учебнике «Военное красноречие»: «Жалеть должно, что наши систематические военные книги загружены чужестранными выражениями. Богатый и гибкий Российский язык весьма способен к словосоставлению; нужно только некоторое искусство, дабы

постепенно изгнать чужеземные выражения и заменить их Русскими. Впрочем, многие слова технические по сей части мы давно уже имеем, но они оставлены и забыты по причине малого внимания к языку отечественному» — 77, ч. 2, 59.)

В отличие от Н.М. Карамзина и писателей его школы Пушкин ратовал за широкое использование простонародных слов. «Разговорный язык простого народа (не читающего иностранных книг и, слава богу, не выражающего, как мы, своих мыслей на французском языке) достоин также глубочайших исследований, — писал он в 1830 году. — Альфиери изучал итальянский язык на флорентийском базаре: не худо нам иногда прислушиваться к московским просвирям. Они говорят удивительно чистым и правильным языком» (XI, 148–149). Литературный язык, созданный Пушкиным, включал в себя все богатство и разговорной речи, и книжного языка, и эта установка, разумеется с учетом пушкинского представления о вкусе («истинный вкус состоит не в безотчетном отвержении такого-то слова, такого-то оборота, но в чувстве соразмерности и сообразности» — XI, 52), существенна, на наш взгляд, и для понимания тех требований, которые Пушкин предъявлял к языку прозы.

Теория прозы — это и система представлений о прозаических жанрах, их особенностях. С ней Пушкин также познакомился, слушая лицейский курс риторики. Классификация прозаических жанров нашла свое отражение в «Частной Реторике»

Н.Ф. Кошанского. В ней рассмотрены письма, деловые бумаги, разговоры, повествования и описания (в свою очередь, в повествованиях и описаниях выделены «характеры, некрологи, анекдоты, летописи, жизнеописания, повести, романы, история и все ее отрасли» — 43, 60), речи торжественные, дипломатические, судебные, так называемое «духовное ораторство», а также речи забавные, пародические (к торжественным речам отнесены «слова и речи похвальные, надгробные и академические» — 43, 85, 86, к политическим речам — «дипломатические и государственные акты, манифесты — речи монархов и к монархам — речи при выборах Дворянства, при открытии разных государственных учреждений — может быть некоторые военные речи» — 43, 84, к «духовному ораторству» — «Проповеди, Беседы, Поучительные и Надгробные слова» — 43, 86); кроме того, особо выделены «ученые сочинения», в которые вошли периодические издания — ведомости, газеты, журналы, альманахи, календари, месяцесловы, а также критические сочинения. «Частная Реторика» Н.Ф. Кошанского изъясняет «содержание, цель, удобное расположение, главнейшие достоинства и недостатки каждого сочинения, показывая при том лучшие образцовые творения и важнейших Писателей в каждом роде» (43, 3).

При известной схематичности приведенной классификации прозаических жанров, схематичности и прямолинейности данных им характеристик думается тем не менее, что общие ориентиры,

отдельные практические рекомендации, высказанные Н.Ф. Кошанским, были учтены Пушкиным прежде всего в его творческой практике прозаика — автора повестей, романов, критических статей и других прозаических произведений. Так, например, «Повести Белкина», «Пиковая дама», «Капитанская дочка» отвечают названному Н.Ф. Кошанским «важнейшему правилу при расположении Повести», которое «состоит в том, чтобы непрерывно возбуждать участие и усиливать любопытство: следственно, располагать происшествия в такой связи и зависимости одно от другого, чтобы читатель не успокоился до тех пор, пока не увидит развязки, или конца Повести» (43, 70). Отмеченные Н.Ф. Кошанским достоинства повести, которые заключаются — «1) в занимательности самого происшествия, 2) в приятности и привлекательности Прозы, или Слога, 3) в искусстве рассказывать с интересом, и представлять самый вымысел как действительность» (43, 70–71), Пушкин ценил в повестях А.А. Бестужева-Марлинского, А. Погорельского, В.Ф. Одоевского и других авторов. Вместе с тем Пушкин отказывается — и его отказ носит принципиальный характер — от дидактических задач, которые Н.Ф. Кошанский, и не только он, но и авторы других учебников красноречия, ставил практически перед всеми прозаическими сочинениями. «Цель Повествования должна быть нравственная, — писал Н.Ф. Кошанский. — Всякая Повесть, всякое Описание есть урок познания, добродетели, или гибельное

явление страстей. Внимая им, мы учимся любить добродетель, страшиться порока» (43, 60). (Заметим, что и А.Ф. Мерзляков в «Краткой риторике» также полагал цель романов в том, чтобы «нравиться и научать»). Пушкин же в своих произведениях высмеивает любые проявления дидактизма. Так, в заметке 1830 года о «Графе Нулине» он иронизирует над критиками, «которые о нравственности имеют детское и темное понятие, смешивая ее с нравоучением, и видят в литературе одно педагогическое занятие» (XI, 157).

Поэму «Домик в Коломне» (1830) он заканчивает иронической моралью:

Вот вам мораль: по мненью моему,
Кухарку даром нанимать опасно;
Кто ж родился мужчиною, тому
Рядиться в юбку странно и напрасно;
Когда-нибудь придется же ему
Брить бороду себе, что несогласно
С природой дамской... Больше ничего
Не выжмешь из рассказа моего.

(V, 93)

В статье 1831 года «Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов» Пушкин издевается над пошлыми нравоучениями сочинений Ф.В. Булгарина: «В самом деле,

любезные слушатели, что может быть нравственное сочинений г. Булгарина? Из них мы ясно узнаем: сколь не похвально лгать, красть, предаваться пьянству, картежной игре и тому под.» (XI, 207).

Любопытна своеобразная полемика Пушкина с Н.Ф. Кошанским, которую можно усмотреть, на наш взгляд, в жизнеописании Грибоедова, включенном в «Путешествие в Арзрум». «Самые недостатки и слабости великих людей бывают поучительны для потомства» (43, 68), — пишет Н.Ф. Кошанский. «Его меланхолический характер, его озлобленный ум, его добродушие, самые слабости и пороки, неизбежные спутники человечества, — все в нем было необыкновенно привлекательно», — пишет Пушкин (VIII, 461).

Во второй половине 20-х годов, в период работы над «Евгением Онегиным» и «Борисом Годуновым», Пушкин выдвигает в качестве одного из требований искусства, литературы, а следовательно и прозы, «глубокое исследование истины». Так, в письме 1836 года к В.Ф. Одоевскому он писал: «Конечно, Княжна Зизи имеет более истины и занимательности, нежели Сильфида» (XVI, 210). И.И. Лажечникова упрекал Пушкин за то, что в «Ледяном доме» тот отступил от исторической истины: «Может быть, в художественном отношении “Ледяной дом” и выше “Последнего Новика”, но истина историческая в нем не соблюдена, и это со временем, когда дело Волынского будет обнародовано,

конечно, повредит вашему созданию» (XVI, 62). Для пушкинской теории прозы действенными являлись положения, выработанные Пушкиным применительно к драматическому искусству: принципы историзма и народности, объективности изображения действительности, «истины страстей, правдоподобия чувствований в предполагаемых обстоятельствах» (XIV, 178). При всей разрозненности суждений Пушкина, рассыпанных в статьях, заметках, письмах, стихах, в целом они выстраиваются в систему, которая, соприкасаясь в некоторых своих положениях с учебниками красноречия, в отдельных случаях развивает и углубляет, а порой и изменяет, наполняет новым содержанием их формулировки. Приведем один из показательных, на наш взгляд, примеров. В «Частной Реторике» Н.Ф. Кошанского так определяется содержание и цель романа: «Содержание его: вымышленная жизнь какого-либо героя. <...> Цель Романа двоякая: 1) познакомить читателя с известным веком, т. е. с нравами, обычаями и предрассудками в известное время (напр., Романы: В. Скотта, или Юрий Милославский Загоскина). 2) Занять ум и сердце предметами, для них интересными» (43, 71–72). Пушкин в статье 1830 года о романе М.Н. Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» дает такое определение жанра романа: «В наше время под словом роман разумею историческую эпоху, развитую в вымышленном повествовании» (XI, 92). Это определение, в отличие от приведенных

формулировок Н.Ф. Кошанского, с которыми оно в известной степени перекликается, было настолько емким и точным, что другой лицейский преподаватель Пушкина П.Е. Георгиевский включил его наряду с высказываниями Пушкина о романе М.Н. Загоскина (и это интересно отметить) в свой учебник риторики, причем без какой-либо ссылки на пушкинскую статью (32, 71, 73). Так некоторые суждения Пушкина о прозе уже при его жизни вошли в учебник красноречия. Таким образом, если пушкинская проза восприняла стилистические требования точности и краткости, простоты и ясности, изложенные в риториках его времени, то и риторики, в свою очередь, не прошли мимо суждений Пушкина о прозе.

II. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА ПУШКИНА И ОРАТОРСКИЕ ТРАДИЦИИ

1. «ИСКУССТВО РАССКАЗЫВАТЬ ИСТОРИИ»

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина», как сообщал в письме к издателю А.П. ненарядовский помещик, были «большую частью справедливы и слышаны им от разных особ» (VIII, 61). Охотник до занимательных рассказов (недаром его доверенность старая ключница — «сия глупая старуха» приобрела

именно «искусством рассказывать истории»), Белкин оставил в рукописи сведения о чине и звании тех, кто рассказал ему повести, указав заглавные буквы имени и фамилии каждого. Издатель выписал и поместил в предисловии «для любопытных изыскателей»: «*Смотритель* рассказан был ему титулярным советником А.Г.Н., *Выстрел* подполковником И.Л.П., *Гробовщик* приказчиком Б.В., *Метель* и *Барышня* девицею К.И.Т.» (VIII, 61). Но в повестях звучат не только голоса рассказчиков, но и героев, о которых те повествуют. В «Станционном смотрителе» Самсон Вырин рассказывает о своем несчастье титулярному советнику А.Г.Н., рассказ сына пивовара Ваньки завершает эту повесть. История прерванной дуэли рассказана в «Выстреле» ее участниками — Сильвио и графом, которых судьба свела с подполковником И.Л.П. Героиня «Метели» Мария Гавриловна с все возрастающим вниманием слушает рассказ Бурмина о его приключении. В «Барышне-крестьянке» Лиза нетерпеливо прерывает вопросами по-крестьянски обстоятельный рассказ Насти не столько о молодом барине Берестове, сколько об именинах поваровой жены. Поистине стихия устного рассказа пронизывает все «Повести Белкина».

Речевая организация «Повестей Белкина», их повествовательная структура, определяющаяся сложным взаимодействием издателя А.П., вымышленного автора — Белкина, рассказчиками и героями, которые в свою очередь также

выступают в роли рассказчиков, впервые получила наиболее полное освещение в работах В.В. Виноградова (136; 138, 535–582; 140). Его наблюдения, высказанные им суждения о многосубъектности повествования повестей получили дальнейшую разработку в исследованиях С.Г. Бочарова, Л.С. Сидякова, Н.Н. Петруниной и других авторов (125; 126; 262, 58–78; 230, 76–161). При изучении же ораторских традиций, сказавшихся в «Повестях Белкина», определенное значение приобретает прежде всего сама установка Пушкина на устный рассказ.

Известно, что Пушкин высоко ценил мастерство устного рассказа. Так, например, в наброске неоконченной статьи о А.А. Дельвиге (1834) он с удовольствием вспоминал исполненные живости и правдоподобия рассказы своего лицейского товарища о военном походе 1807 года, очевидцем которого тот якобы был. Пушкин был знаком с такими прекрасными рассказчиками, как В.Л. Пушкин, И.И. Дмитриев, И.А. Крылов, И.П. Липранди, П.А. Вяземский, Д.В. Давыдов, П.В. Нащокин, М.С. Щепкин, Н.К. Загряжская. Некоторые их рассказы нашли отражение в произведениях Пушкина. Рассказы И.П. Липранди о необычных дуэлях, участником и свидетелем которых он был, отозвались в «Выстреле», рассказчик которого — подполковник И.Л.П. — назван инициалами И.П. Липранди. Эпиграф ко второй главе «Пиковой дамы» взят из рассказа Д.В. Давыдова, сообщившего

Пушкину свой разговор с М.А. Нарышкиной*. Рассказы И.А. Крылова и И.И. Дмитриева о событиях пугачевского восстания, записанные Пушкиным, дают о себе знать в «Капитанской дочке». По свидетельству П.В. Нащокина, в основу «Дубровского» положен сообщенный им Пушкину рассказ о дворянине Островском (241, т. 2, 223–224). В 1830 году Пушкин начал записывать рассказы П.В. Нащокина — в них были включены исторические анекдоты о Суворове, Потемкине, Павле I. По настоянию Пушкина написал свои «Записки» замечательный актер М.С. Щепкин. В состав «Table-talk» включил Пушкин рассказы Н.К. Загряжской. П.А. Вяземский вспоминал о том, что «Пушкин заслушивался рассказов Натальи Кирилловны: он ловил при ней отголоски поколений и общества, которые уже сошли с лица земли; он в беседе с нею находил необыкновенную прелесть историческую и поэтическую» (148, т. VIII, 185).

* 4 апреля 1834 года Д.В. Давыдов писал Пушкину: «Помилуй! что за дьявольская память? — Бог знает когда-то на лету я рассказал тебе ответ мой М.А. Нарышкиной насчет *les suivantes qui sont plus fraîches* (камеристок, которые свежее — *фр. — НМ.*), а ты слово в слово поставил это эпитафией в одном из отделений Пиковой дамы. Вообрази мое удивление, а еще более восхищение мое жить в памяти твоей, в памяти Пушкина, некогда любезнейшего собутыльника и всегда моего единственного родного душе моей поэта! Право, у меня сердце облилось радостью, как при получении записки от любимой женщины» (XV, 123).

Пушкин был не только ценителем, но и мастером устного рассказа. Л.С. Пушкин в «Биографическом известии об А.С. Пушкине до 1826 года» писал о том, что его брат «становился блестяще красноречив, когда дело шло о чем-либо близком его душе. Тогда-то он являлся поэтом и гораздо более вдохновенным, чем во всех своих сочинениях» (241, т. 1, 54). А.П. Керн так вспоминала о Пушкине, который в 1825 году развлекал в ее присутствии тригорское общество:

«Когда же он решался быть любезным, то ничего не могло сравниться с блеском, остротою и чувствительностью его речи. В одном из таких настроений он, собравши нас в кружок, рассказал сказку про черта, который ездил на извозчике на Васильевский остров. Эту сказку с его же слов записал некто Титов и поместил, кажется, в “Подснежнике”. Пушкин был невыразимо мил, когда задавал себе тему угощать и занимать общество» (241, т. 1, с. 409).

Устная новелла Пушкина, о которой идет речь в воспоминаниях А.П. Керн, в обработке В.П. Титова получила название «Уединенный домик на Васильевском»; с этой новеллой связан пушкинский сюжет «Влюбленного беса», что было установлено Ю.Г. Оксманом и В.Н. Писной и затем не раз отмечалось другими исследователями (221; 232). В записи В.А. Соллогуба дошел до нас рассказ Пушкина о Павле I (129). Любовное приключение Пушкина с великосветской дамой, рассказанное им П.В. Нащокину и сохранившееся в

воспоминаниях последнего (241, т. 2, 227–229), Л.П. Гроссман, на наш взгляд, достаточно убедительно рассматривает новеллу Пушкина, построенную по типу новелл итальянского возрождения (160). Пушкинский автограф с десятью темами — «Скупой. Ромул и Рем. Моцарт и Сальери. Д. Жуан. Иисус. Беральд Савойский. Павел I. Влюбленный бес. Дмитрий и Марина. Курбский» (254, 276) — В.С. Листов истолковывает как перечисление сюжетов, рассказанных Пушкиным в гостинной, устанавливая их связь с «Декамероном» Боккаччо (196). Приведенные примеры в достаточной степени, как нам представляется, подтверждают правомерность особого выделения в творческом наследии Пушкина-прозаика прозы устного рассказа (304, 6; 180), которая несомненно требует своего специального изучения.

Мастерство устного рассказа дает о себе знать в «Повестях Белкина», которые по манере повествования справедливо сближаются с романом в стихах «Евгений Онегин» (264, 41; 230, 90). При этом своеобразие многоступенчатой повествовательной структуры по-разному сказывается в разных повестях. Если в «Выстреле» и «Станционном смотрителе» Пушкин создает персонифицированные образы рассказчиков — подполковника и титулярного советника, то в «Метели», «Барышне-крестьянке» и «Гробовщике» рассказ, по существу, ведется от лица условного повествователя (в предисловии лишь названы имена рассказчиков этих повестей). Если в «Выстреле» и «Станционном смотрителе» с

помощью рассказчиков создается впечатление безыскусственности искусно выстроенной композиции повестей, то в «Метели», «Барышне-крестьянке» и «Гробовщике» композиционные приемы не скрыты — повествователь переставляет звенья сюжета во времени, возбуждая интерес и внимание читателей: «Поручив барышню попечению судьбы и Терешки-кучера, обратимся к молодому нашему любовнику» (VIII, 79). «Но возвратимся к добрым ненарадовским помещикам и посмотрим, что-то у них делается. А ничего» (VIII, 81). Если в «Выстреле» и «Станционном смотрителе» оценки героев и событий в значительной степени принадлежат рассказчикам, сфера которых в достаточной степени ограничена их социально-психологическим опытом, их достаточно суженным знанием, то в «Метели», «Барышне-крестьянке» и «Гробовщике» надо всем царит всезнающий повествователь, наделенный ироническим ликом. Его насмешка окрашивает повествовательную ткань повестей, сказывается в описании героев и происходящих событий: «Марья Гавриловна была воспитана на французских романах, и следственно была влюблена. <...> Само по себе разумеется, что молодой человек пылал равною страстию... <...> Переписываясь и разговаривая таким образом, они (что весьма естественно) дошли до следующего рассуждения: <...>. Разумеется, что эта счастливая мысль пришла сперва в голову молодому человеку...» (VIII, 77). Повествование «Метели», «Барышни-крестьянки» и «Гробовщика» насыщено прямыми и

косвенными обращениями к читателю, которые Пушкин использует и для утверждения сжатости изложения, отказа от излишних подробностей: «Не стану описывать ни русского кафтана Адриана Прохорова, ни европейского наряда Акулины и Дарьи, отступая в сем случае от обычая принятого нынешними романистами» (VIII, 91). «Читатели избавят меня от излишней обязанности описывать развязку» (VIII, 124).

Но как бы ни проявлял себя рассказчик в той или иной повести, во всех «Повестях Белкина» есть установка на устный рассказ, на устную речь, заявленная в предисловии от издателя. В отдельных случаях устная речь становится речью ораторской; рассказчик выступает в роли оратора, читатели — в роли слушателей.

В «Метель» включена патетическая речь о 1812 годе: «Время незабвенное! Время славы и восторга! Как сильно билось русское сердце при слове *отечество*! Как сладки были слезы свидания! С каким единодушием мы соединяли чувства народной гордости и любви к государю! А для него, какая была минута!» (VIII, 83). В данном случае Пушкин исторически точен и в воспроизведении характера патриотизма 1812 года, соединяющего «чувства народной гордости и любви к государю», и в передаче патетики, свойственной современникам событий отечественной войны. Риторическая приподнятость присуща и публичной речи, и дневниковой записи, и журнальной статье, и другим жанровым

литературным формам 1812 года, в которых находила свое выражение тема войны с Наполеоном. Одно из многих ораторских произведений, с которым может быть соотнесен пушкинский текст — речь Р.Ф. Тимковского «Торжество Московских Муз, праздновавших громкие победы, и достославное покорение гордой столицы Франции, апреля 25-го, 1814 года»:

«Итак, победоносные знамена Российские, покровительствуемые Богом и предводимые Августейшим Монархом, веют ныне на стенах Парижа! И так гордая столица Франции, незадолго перед сим мечтавшая о владычестве своим над нами, ныне с покорностью преклонила главу перед несокрушимым оружием Российским! И так, разрушены в конец пагубные замыслы, и низложено кичение кровожаднейшего из тиранов! — Благодарение Тебе, Всемогущий Боже, толико возвысивший рог веры, правды и истины! Благодарение Тебе, Царю наш Благодетельный, мужеством и добротою своею толико имя наше прославивший! Хвала вам, храбрые и великодушные Россияне, совершившие столь громкий подвиг!» (70, ч. III, 205).

Приведенный ранее текст из «Метели» представляет собой своего рода квинтэссенцию ораторских текстов на победу русского оружия. При этом точка зрения самого Пушкина спрятана в подтексте его повести. Верноподданническая патетика рассказчика взрывается пушкинской иронией: вслед за риторическими восторгами, относящимися к государю, в том же ораторском

стилевом ключе дано рассуждение о русских женщинах, которые «были тогда бесподобны», «восторг их был истинно упоителен»: «Кто из тогдашних офицеров не сознается, что русской женщине обязан он был лучшей, драгоценнейшей наградой?..» (VIII, 83).

В повествование «Гробовщика» включена ироническая полемика с Шекспиром и Вальтер Скоттом:

«Просвещенный читатель ведает, что Шекспир и Вальтер Скотт оба представили своих гробокопателей людьми веселыми и шутивными, дабы сей противоположностью сильнее поразить наше воображение. Из уважения к истине мы не можем следовать их примеру и принуждены признаться, что нрав нашего гробовщика совершенно соответствовал мрачному его ремеслу» (VIII, 89).

Заметим, что в «Гробовщике» Пушкин изображает один из видов социально-бытового красноречия — застольные тосты. При этом тост, произнесенный на серебряной свадьбе сапожника Готлиба Шульца — «За здоровье тех, на которых мы работаем, unserer Kundleute» (VIII, 91), становится завязкой сюжета повести, фантастического происшествия. Парадокс, заключенный в предложении гробовщику выпить за здоровье его клиентов-мертвецов, реализуется в пьяном сне Андриана Прохорова.

В «Барышне-крестьянке» рассказ о забавной проделке барышни Лизы, переодевшейся в крестьянку Акулину,

предваряется оправдывающей ее поступок речью о самобытности уездных барышень:

«Те из моих читателей, которые не жила в деревнях, не могут себе вообразить, что за прелесть эти уездные барышни! Воспитанные на чистом воздухе, в тени своих садовых яблонь, они знание света и жизни черпают из книжек. Уединение, свобода и чтение рано в них развивают чувства и страсти, неизвестные рассеянным нашим красавицам. Для барышни звон колокольчика есть уже приключение, поездка в ближайший город полагается эпохой в жизни, и посещение гостя оставляет долгое, иногда и вечное воспоминание. Конечно, всякому вольно смеяться над некоторыми их странностями, но шуточки поверхностного наблюдателя не могут уничтожить их существенных достоинств, из коих главное: особенность характера, самобытность (*individualité*), без чего, по мнению Жан-Поля, не существует и человеческого величия. В столицах женщины получают, может быть, лучшее образование; но навык света скоро сглаживает характер и делает души столь же однообразными, как и головные уборы. Сие да будет сказано не в суд, и не во осуждение, однако ж *nota nostra manet*, как пишет один старинный комментатор» (VIII, 110–111).

Исполненная мягкого юмора речь об уездных барышнях защищает их от насмешек: оратор исчисляет их достоинства, дискредитирует возможного насмешника званием

«поверхностного наблюдателя», ссылаясь на авторитет Жана-Поля Рихтера, в пользу уездных барышень проводит сравнение их со столичными рассеянными красавицами.

Ораторской речью начинается «Станционный смотритель». В этой повести ораторские традиции сказались наиболее полно, поэтому рассмотрим ее подробнее.

Начало «Станционного смотрителя» — блестящая демонстрация приемов классического ораторского искусства, ораторская речь на тему, заявленную названием повести. Вступление к речи, «приступ», который, по Н.Ф. Кошанскому, есть «искание благосклонности, приготовление слушателей к делу» (43, 91), практически отсутствует. Пушкин сразу начинает обсуждение темы «станционный смотритель»:

«Кто не проклинал станционных смотрителей, кто с ними не бранивался? Кто, в минуту гнева, не требовал от них роковой книги, дабы вписать в оную свою бесполезную жалобу на притеснение, грубость и неисправность? Кто не почитает их извергами человеческого рода, равными покойным подьячим или, по крайней мере, муромским разбойникам?» (VIII, 97).

Такое вступление ораторы древности называли внезапным. По энергичности и неожиданности пушкинский зачин может быть соотнесен с началом знаменитой первой речи Цицерона против Каталины:

«Доколе же ты, Катилина, будешь злоупотреблять нашим терпением? Как долго еще ты, в своем бешенстве, будешь издеваться над нами? До каких пределов ты будешь кичиться своей дерзостью, не знающей узды?» (86, т. 1, 292).

В начале своей речи пушкинский оратор излагает точку зрения раздраженных путешественников на зрителей, точку зрения, которая уже здесь дискредитируется пушкинской иронией: книга, куда записывается жалоба, романтически выпренно названа «роковой»; зрители объявлены извергами человеческого рода, которые насмешливо приравниваются к «покойным подъячим или, по крайней мере, к муромским разбойникам». Затем оратор уже в иной интонации переходит к изложению иной — гуманной точки зрения. И не просто к изложению, а к убеждению в ней читателей. Этому способствует и сама форма объединения оратора со слушателями — «мы»: «Будем, однако, справедливы, постараемся войти в их положение и, может быть, станем судить о них гораздо снисходительнее. Что такое стационарный зритель? Сущий мученик четырнадцатого класса, огражденный своим чином токмо от побоев, и то не всегда (ссылаюсь на совесть моих читателей)» (VIII, 97).

Ссылка на совесть читателей заслуживает специального внимания. Н.Ф. Кошанский, рассматривая «фигуры мыслей, пленяющих сердце», говорит о «сообщении, доверенности к слушателям, когда ссылаемся на совесть их»: «Она показывает

добродушие, совершенную уверенность в истине и тем самым пленяет сердце» (42, 127). В качестве примера Н.Ф. Кошанский приводит речь Цицерона:

«Я ссылаюсь на вас самих, на вашу совесть: будьте искренни и скажите, не желали ли бы вы сами прощения в том неумышленном проступке, которого другому теперь простить не хотите» (42, 127).

Речь пушкинского оратора с самого начала насыщена вопросами. Таким образом Пушкин преодолевает монологичность ораторской речи, вовлекает читателя в воображаемый диалог и тем самым устанавливает контакт с читательской аудиторией, возбуждает и удерживает ее внимание и интерес.

«Какова должность сего диктатора, как называет его шутливо князь Вяземский? Не настоящая ли каторга? (VIII, 97).

Полемическая направленность речи усиливается: пушкинский оратор выступает оппонентом князя Вяземского, точка зрения которого дана в эпиграфе к повести, взятом из его стихотворения «Станция»:

Коллежский регистратор.

Почтовый станции диктатор*.

* Полемической соотнесенности понести Пушкина «Станционный смотритель» со стихотворением П.А. Вяземского «Станция» посвящена статья Г.М. Фридлендера «Поэтический диалог Пушкина с Вяземским» (307).

Должность «диктатора» оказывается «настоящей каторгой», и пушкинский оратор доказывает это, рисуя перед читателями картины каждодневной жизни зрителя:

«Покою ни днем, ни ночью. Всю досаду, накопленную во время скучной езды, путешественник вымещает на зрителе. Погода несносная, дорога скверная, ямщик упрямый, лошади не везут — а виноват зритель. Входя в бедное его жилище, проезжающий смотрит на него как на врага; хорошо если удастся ему скоро избавиться от непрошеного гостя; но если не случится лошадей?.. Боже! какие ругательства, какие угрозы посыплются на его голову! В дождь и слякоть принужден он бегать по дворам; в бурю, в крещенский мороз уходит он в сени, чтоб только на минуту отдохнуть от крика и толчков раздраженного постояльца. Приезжает генерал; дрожащий зритель отдает ему две последние тройки, в том числе курьерскую. Генерал едет, не сказав ему спасибо. Через пять минут — колокольчик!.. и фельдъегерь бросает ему на стол свою подорожную!» (VIII, 97).

Пушкин использует здесь грамматическую форму настоящего времени в ее изобразительной функции: настоящее время создает иллюзию сиюминутности событий, совершающихся на глазах у читателей, и вместе с тем настоящее время подчеркивает их повторяемость, обыденность. Пушкин использует также вопросы и восклицания, усиливающие эмоциональность

описания, эмоциональные эпитеты, выражающие сочувствие оратора и призванные вызвать сочувствие у читателей.

Речь пушкинского оратора завершается призывом к состраданию, то есть, в соответствии с правилами «Риторики» Н.Ф. Кошанского, в заключении «...выводится следствие, согласное... с доказательствами» (42, 64):

«Вникнем во все это хорошенько, и вместо негодования сердце наше исполнится искренним состраданием» (VIII, 97).

Так, виртуозно используя различные риторические приемы, пушкинский оратор в своей исполненной силы чувств и убедительности речи ведет читателей от негодования к снисхождению и затем к состраданию к «маленькому человеку» — станционному зрителю. (Заметим, что вступление в «Станционном зрителе», по-видимому, мыслилось Пушкиным как своеобразная ораторская речь, призванная привлечь внимание к бедственному положению зрителей, уже в предварительной программе повести: «Рассуждение о см<отрителях> — вообще люди несч.<астные> и добр.<ые>» — VIII, 661.)

Для того чтобы закрепить доверие читательской аудитории к оратору, Пушкин после произнесенной оратором речи дает его автохарактеристику: это чиновник, «в течение двадцати лет сряду изъездивший всю Россию по всем направлениям»; ему «почти все почтовые тракты известны», «несколько поколений ямщиков знакомы», редкого зрителя не знает он в лицо (VIII, 97). И

именно этот человек, сочувственно относящийся к бедственному положению станционных зрителей, рассказывает историю одного из них — Самсона Вырина. Пушкин строит повесть от общего к частному: от рассказа о тяжелой жизни зрителей к истории одного из них. Трагическая судьба Вырина должна подтвердить справедливость произнесенной речи.

Повесть о Самсоне Вырине продолжает мотив сострадания, заявленный во вступительной речи: сочувствие рассказчика к зрителю сказывается на протяжении всего повествования в восклицаниях, эмоциональных эпитетах. «Бедный зритель», «бедный отец», «бедная Дуня» — такие эпитеты встречаются на протяжении всего рассказа титулярного советника А. Г. Н., тронутого историей Самсона Вырина и его дочери. При этом следует заметить (и это представляется нам весьма существенным), что во вступительной речи к повести, и в самой повести Пушкин не впадает в сентиментальную патетику благодаря иронии, которая присутствует и в рассказе о Самсоне Вырине, и в предваряющем этот рассказ ораторском монологе. Так, передавая рассказ самого Самсона Вырина о его несчастье, описывая его слезы, титулярный советник поясняет: «Слезы сии отчасти возбуждаемы были пуншем, коего вытянул он пять стаканов в продолжение своего повествования» (VIII, 105). И тем не менее ирония не снимает сочувствия, сострадания: «Но как бы то ни было, — продолжает рассказчик, — они сильно тронули мое

сердце» (VIII, 105). Во вступительной речи после призыва к состраданию рассказчик, продолжая защищать «сословие станционных смотрителей», которое «представлено общему мнению в самом ложном виде», снижает высокий пафос своей защиты исполненным внутренней иронии исчислением положительных качеств своих подзащитных: «Сии столь оклеветанные смотрители вообще суть люди мирные, от природы услужливые, склонные к общежитию, скромные в притязаниях на почести и не слишком сребролюбивые» (VIII, 98). И все же ирония не снимает высокого гуманистического смысла произнесенной ранее речи.

Повесть о Самсоне Вырине, так же как и вступительная речь к ней, полемична. Пушкин знает аудиторию, перед которой он выступает, знает ее литературные вкусы и социально-нравственный стиль жизни.

Полемика Пушкина направлена, с одной стороны, на литературную традицию: это спор с повестью Н.М. Карамзина «Бедная Лиза» и ее подражателями, развивающими в русле карамзинской традиции сюжет о жертвах обольщения, с современными Пушкину повестями о станционных смотрителях, с лубочными картинками, изображающими библейскую притчу о блудном сыне и в свою очередь изображенными в пушкинской повести. Вопросы, связанные с литературной полемикой, заключенной в «Станционном смотрителе», не раз освещались в

научной литературе (165; 117; 112; 131; 297 и др.), поэтому нет необходимости останавливаться на этом подробнее. С другой стороны, пушкинская полемика направлена на само понимание гуманизма в современном Пушкину обществе. В связи с этим интересно отметить полемическое соотнесение неоднократно повторяющегося в повести мотива денег с теми сообщениями о благотворительных пожертвованиях, о которых ежедневно писали русские газеты. Откроем, например, «Московские ведомости» номер 8, вышедший в субботу января 25-го дня 1830 года, и номер 9, вышедший в среду января 29-го дня этого же года. В этой газете — сто шестьдесят два рубля сорок три копейки, пожертвованные в пользу учеников Коломенских училищ, сорок шесть рублей, выданных Московским попечительным комитетом Императорского человеколюбивого общества девяти солдаткам, два рубля — приношение неизвестного на пользу несчастных узников в Орле. У Пушкина — пяти- и десятирублевые ассигнации, которыми Минский платит смотрителю за дочь, пятак, полученный Ванькой от «доброй барыни» Дуни, семь рублей, даром издержанных рассказчиком на последнюю поездку к Самсону Вырину. Пушкинская повесть преодолевает ограниченный гуманизм рассказчика; в ней — социальная трагедия «маленького человека», неизлечимая благотворительностью. При этом Пушкин не делает обидчика станционного смотрителя гусара Минского мелодраматическим злодеем, а дочь станционного

смотрителя его несчастной жертвой. Дуня любит Минского и счастлива его любовью. Правда, в судьбе Дуни есть некоторая недоговоренность. Остается неизвестным, стала ли она женой Минского. Однако конец повести говорит о том, что Дуня не покинута им. Мальчишка рассказывает титулярному советнику, что на могилу старого смотрителя приезжала «прекрасная барыня» «в карете в шесть лошадей, с тремя барчатами и с кормилицей, и с черной моською» (VIII, 106). Пушкин не превращает Дуню в жертву традиционного оболыщения, потому что в таком случае трагическая судьба Вырина объяснялась бы частной, случайной причиной — несчастием его дочери. Пушкин объясняет смерть смотрителя причиной общей — несправедливостью, которая неизбежна в исторических условиях социального неравенства. Дуня счастлива, но Вырин не может поверить в ее счастье, в силу своего предыдущего опыта притесняемого человека. А.В. Чичерин указал на значение эпитета «дрожащий» («дрожащий смотритель»), который «имеет в виду не мгновенное данное состояние данного персонажа, а устойчивое свойство, которое у всякого смотрителя постоянно проявляется» (316, 139); А.З. Лежнев тонко подметил, что даже красоту своей дочери Вырин измеряет тем, что «бывало барин, какой бы сердитый ни был, при ней утихает и милостиво с ним разговаривает» (VIII, 100; 193). Вырин считает неизбежным несчастье своей дочери: «Много их в Петербурге, молоденьких дур, сегодня в атласе да бархате, а

завтра, поглядишь, метут улицу вместе с голью кабацкою. Как подумаешь порою, что и Дуня, может быть, тут же пропадает, так поневоле согрешишь, да пожелаешь ей могилы...» (VIII, 105).

В конечном счете повесть перерастает задачи вступительной речи к ней, произнесенной рассказчиком; повесть становится как бы социально-политической речью самого Пушкина. Это тем более примечательно, что «Станционный смотритель» — одна из «Повестей Белкина», первого законченного прозаического произведения Пушкина, появившегося в печати. В 1819 году в стихотворении «Деревня» поэт, выступая «другом человечества», восклицал:

О, если б голос мой умел сердца тревожить!
Почто в груди моей горит бесплодный жар,
И не дан мне судьбой Витийства грозный дар?

(II,

90)

В 1830 году Пушкин использовал дар витийства, включив в свой дебют прозаика ораторскую речь о «маленьком человеке», речь, открывшую эту гуманистическую тему для русской классической литературы.

2. «В ПРОСТЫХ И ТРОГАТЕЛЬНЫХ ВЫРАЖЕНИЯХ...»

В «Пиковой даме», как и в других произведениях Пушкина, представлена материальная и духовная культура изображаемого им времени. Когда мы вместе с Германном оказываемся на «одной из главных улиц Петербурга, перед домом старинной архитектуры», когда мы смотрим на «два портрета, писанные в Париже М-me Lebrun», когда мы знакомимся с убранством спальни графини, где «по всем углам торчали фарфоровые пастушки, столовые часы работы славного Leroу, корбочки, рулетки, веера и разные дамские игрушки, изобретенные в конце минувшего столетия вместе с Монгольфьеровым шаром и Месмеровым магнетизмом», когда мы присутствуем при разговоре Томского с Лизой во время «бесконечной мазурки», когда мы узнаем суждения графини о новейших романах, то мы таким образом знакомимся с архитектурой, живописью, прикладным искусством, музыкой, наукой и литературой XVIII и XIX веков. В этом ряду занимает свое место и ораторское искусство.

Пушкин использует ораторские приемы и в авторском повествовании, и в монологе главного героя повести — Германа.

Во второй главе, вслед за драматизированной сценой, изображающей взаимоотношения вздорной старухи-графини и ее бедной воспитанницы, следует речь повествователя, проникнутая сочувствием к беззащитной девушке:

«В самом деле, Лизавета Ивановна была пренесчастное создание. Горек чужой хлеб, говорит Данте, и тяжелы ступени чужого крыльца, а кому и знать горечь зависимости, как не бедной воспитаннице знатной старухи?» (VIII, 233).

«В контраст эгоистической и своенравной старухи, — пишет В.В. Виноградов, — рисуется образ домашней мученицы*. Трагедия ее существования выражена синтаксически — формами неожиданных присоединительных противопоставлений, изображающих внутреннее противоречие ее действий с результатами их. Парные предложения с противительноследственным значением союза и выстроены в анафорический ряд:

* Сравним: станционный смотритель — «сущий мученик четырнадцатого класса» («Станционный смотритель»), бедная воспитанница — «домашняя мученица» («Пиковая дама»).

«Она разливала чай — и получала выговоры за лишний расход сахара; она вслух читала романы — и виновата была во всех ошибках автора; она сопровождала графиню в ее прогулках и отвечала за погоду и за мостовую...»

Принцип противительных присоединений с новым логическим смыслом продолжает затем действовать и в более сложных формах синтаксических сочетаний: «Ей было назначено жалованье, которое никогда не доплачивали; а между тем требовали от нее, чтоб она одета была, как и все, то есть как очень

немногие». Эта характеристика Лизаветы Ивановны, построенная на антитезах, развивается в контрастной симметрии с стилистическими формами образа старухи. Графиня изображается в домашнем обиходе и «в суетностях большого света», и образ Лизаветы Ивановны тоже проводится через мучительные коллизии домашнего обихода и жалкие унижения света.

«Все ее знали и никто не замечал; на балах она танцевала только тогда, как не доставало *vis-a-vis*, и дамы брали ее под руку всякий раз, как им нужно было идти в уборную поправить что-нибудь в своем наряде».

В этом приеме изображения посредством сопоставления и подчеркивания несоответствий и противоречий также проявляется горестное сочувствие автора «пренесчастному созданию», обреченному на жизнь, полную унижений. Эта экспрессия, логически вытекающая из авторской оценки Лизаветы Ивановны («Лизавета Ивановна была сто раз милее наглых и холодных невест...»), прорывается в патетическом восклицании: «Сколько раз, оставя тихонько скучную и пышную гостиную, она уходила плакать в бедной своей комнате, где стояли ширмы, оклеенные обоями, комод, зеркальце и крашенная кровать, и где сальная свеча темно горела в медном шандале!» (138, 601–602).

Речь повествователя о бедной воспитаннице, таким образом, риторически организована. Пушкин использует в ней ссылку на литературный авторитет Данте*, риторический вопрос и

восклицание, риторическую фигуру единоначатия, выразительный прием контрастного сопоставления и противопоставления. В речи логически выстроена своего рода система доказательств, с помощью которых Пушкин убеждает читателей в объективности изображенного им зависимого, униженного положения бедной воспитанницы, вызывает у читателей чувство сострадания к этой «домашней мученице». Вместе с тем, — и это необходимо отметить, — в «Пиковой даме», как и в «Станционном смотрителе», Пушкин далек от сентиментальной декламации. Мотив сострадания в контексте всей повести сосуществует с пушкинской иронией, ореол которой окружает героиню в заключении «Пиковой дамы»: «Лизавета Ивановна вышла замуж за очень любезного молодого человека; он где-то служит и имеет порядочное состояние: он сын бывшего управителя у старой графини. У Лизаветы Ивановны воспитывается бедная родственница» (VIII, 252). Иронично и сообщение о том, что избранник Лизаветы Ивановны — сын бывшего управителя у старой графини (ранее было сказано: «Многочисленная челядь ее, разжирев и поседев в ее передней и девичьей, делала что хотела, наперерыв обкрадывая умирающую старуху» — VIII, 235), и о том, что Лизавета Ивановна взяла себе на воспитание бедную родственницу, то есть не исключено, что сама завела себе «домашнюю мученицу». И в то же время, как и в «Станционном смотрителе», в «Пиковой даме» ирония не снимает мотива

сострадания к героине, которой суждено было пройти через тяжелое жизненное испытание, столкнуться с обманом, который она приняла за любовь. Повествуя о горестном прозрении Лизаветы Ивановны, Пушкин снова обращается к риторическим формам изложения: «Лизавета Ивановна выслушала его с ужасом. Итак, эти страстные письма, эти пламенные требования, это дерзкое, упорное преследование, все это было не любовь! Деньги, — вот чего алкала его душа! Не она могла утолить его желания и осчастливить его! Бедная воспитанница была не что иное, как слепая помощница разбойника, убийцы старой ее благодетельницы!.. Горько заплакала она в позднем, мучительном своем раскаянии» (VIII, 244–245). И эта риторика снова вызывает у читателя сочувствие к бедной воспитаннице.

* Следует указать на многозначность приведенной Пушкиным цитаты из Данте, которая, как нам представляется, заслуживает специального внимания. А.А. Илюшину принадлежит интересное наблюдение, полученное в результате сопоставления цитаты из Данте не только с ближайшим текстом, относящимся к Лизе, но и с текстом всей повести: в этом случае слова о горечи чужого хлеба и тяжести ступеней чужого крыльца относятся не только к Лизе, но и к Германну, который легко, а не тяжело поднимается по ступеням чужого крыльца, т. е. таким образом возникает еще и контрастное сопоставление Лизы с Германном (185, 150). Но при рассмотрении цитаты из Данте возможен и другой путь — обратиться к контексту песни «Божественной комедии», из которой взята цитата, и сопоставить уже этот контекст с текстом пушкинской повести. Обращает на себя внимание то, что Пушкин цитирует 17 песнь «Рая», т. е. образ

мученицы как бы подкрепляется темой рая. В этой песне предок Данте Каччагвиде предсказывает поэту его судьбу и пророчески предрекает гибель его гонителям. В связи с этим скрытый смысл соотнесения дантовского текста с пушкинским может заключаться в своеобразном предсказании гибели графини, тиранящей воспитанницу.

Тонкий стилистический анализ монолога Германна также дан В.В. Виноградовым, отметившим и использованные Пушкиным риторические приемы. Приведем этот анализ полностью:

«Речь Германна выражает то смиренную мольбу искателя счастья, то грубую дерзость романтического разбойника. Тон страстной просьбы, покорных убеждений («Не пугайтесь, ради бога, не пугайтесь... Я пришел умолять вас об одной милости». — «Вы можете составить счастье моей жизни, и оно ничего не будет вам стоить...») прерывается сердитыми репликами алчного игрока. От этого сочетания высокого со смешным, ужасного с комическим растет драматическая напряженность сцены, ее глубокий трагизм:

«— Это была шутка... — сказала графиня.

— Этим нечего шутить, — возразил сердито Германн».

В этом возражении сквозит авторская ирония, каламбурно сопоставляющая забавный авантюризм прошлого с тупой непреклонностью современного героя — Германна.

И далее опять лирический пафос Германна обрывается грубо-нетерпеливым «ну...», которым он заканчивает свои тирады

о социальной пропасти между собой и внуками графини — мотами, не знающими цены деньгам. Тут же проскальзывает намек на Чаплицкого: «Моту не помогут ваши три карты. Кто не умеет беречь отцовское наследство, тот все-таки умрет в нищете, несмотря ни на какие демонские усилия». «Графиня молчала; Германн встал на колени». Раздается лирический монолог Германны с призывом к любви и состраданию. В этом монологе все словесные краски, все смысловые оттенки отданы на службу выражению страстного томления по тайне, страстной жажды богатства. Симметрично поднимаются ступени мольбы: «если когда-нибудь сердце ваше знало чувство любви», «если вы помните ее восторги», «если вы хоть раз улыбнулись при плаче новорожденного сына», и достигают, наконец, предела в заклинании — «всем, что ни есть святого в жизни», «если что-нибудь человеческое билось когда-нибудь в груди вашей».

Эта романтическая риторика мобилизует и мотив искупления греха смертью, мотив дьявольского договора, связанного с тайной верных карт. «Может быть, она сопряжена с ужасным грехом, с пагубою вечного блаженства, с дьявольским договором...»

Так Германн патетически восходит на высоту романтического героя, предметом страсти которого являются деньги и старуха как хранительница их тайны.

Монолог Германна в течение этой сцены резко меняет свои краски. Коленопреклоненный Германн говорит книжным языком «Сердце ваше знало чувство любви...»; «с пагубою вечного блаженства»; «дети мои, внуки и правнуки благословят вашу память и будут ее чтить, как святыню» и т. п.). Речь Германна приобретает размеренность торжественного лирического периода. Анафористически построенные предложения первой части периода, начинаясь союзом если, становятся все эмоциональнее, все сильнее напрягают патетику книжно-риторических формул (ср.: «если когда-нибудь сердце ваше знало чувство любви... если что-нибудь человеческое билось когда-нибудь в груди вашей...»). Последовательности эмоционально-смыслового нарастания этих предложений соответствует во второй части градация слов — «чувствами супруги, любовницы, матери». Самый подбор образов и эпитетов решительно обособляет эту речь Германна как от общей системы повествовательного стиля, так и от других речей и реплик всех персонажей повести (ср.: «демонские усилия»; «с дьявольским договором»; «она сопряжена с ужасным грехом, с пагубою вечного блаженства» и др. под.). Характерен откровенно-романтический мотив продажи души дьяволу за обладание тайной трех верных карт.

И вслед за этим лирическим монологом разыгрывается трагическая сцена, где драматизм происшествия усугубляется

комическими деталями. От молений Германн переходит круто к злобным угрозам старухе:

«Старая ведьма! — сказал он, стиснув зубы, — так я ж заставлю тебя отвечать...»

И далее трагикомически звучит обращение Германна к трупку старухи с фамильярным предложением: не ребячиться. «Перестаньте ребячиться», — сказал Германн, взяв ее за руку. Эти комические контрасты и противоречия в отношениях Германна к старухе, образующие тонкий слой повествовательной иронии, намечены уже в начале сцены» (138, 612–614).

Наряду с ораторской речью повествователя, вызывающей сочувствие к бедной воспитаннице, риторическая организация патетического монолога Германна перед графиней, монолога, подчиненного ораторской задаче тронуть слушателя-графиню, убедить ее и подвигнуть на нужное оратору действие — открыть тайну трех верных карт, монолога, рассчитанного на декламацию, сопровождающегося театральным жестом, свидетельствует о том, что Пушкин в совершенстве владел ораторским мастерством. При этом в «Пиковой даме» он донес до нас ораторское искусство своей эпохи не только в творчески преображенном им виде. Он не только использовал его в стилевых поисках художественной выразительности — на общем сдержанном стилевом фоне пушкинской прозы риторически организованные части текста приобретали особый акцент. В «Пиковой даме» Пушкин сделал

ораторское искусство еще и объектом изображения. В данном случае мы имеем в виду надгробное слово молодого архиерея:

«Молодой архиерей произнес надгробное слово. В простых и трогательных выражениях представил он мирное усение праведницы, которой долгие годы были тихим, умирительным приготовлением к христианской кончине. “Ангел смерти обрел ее, — сказал оратор, — бодрствующую в помышлениях благих и в ожидании жениха полунощного”» (VIII, 246).

Так Пушкин вводит в «Пиковую даму» ораторскую речь в ее «чистом» виде. В повести звучит ораторское слово церковного проповедника, один из голосов эпохи. Надгробное слово — часть церковного обряда отпевания, воссозданного Пушкиным. Оно включается в общую картину жизни изображаемого общества. Но роль надгробного слова, прямой цитаты из него не сводится к иллюстративности, заключается не только в культурно-бытовой характеристике эпохи.

Д.П. Якубович, В.В. Виноградов, Л.С. Сидяков (328, 66; 138, 594; 262, 122) и другие исследователи отмечали художественный эффект пушкинской иронии, который достигается с помощью скрытого сопоставления реальной действительности, изображенной в авторском повествовании, с ее идеальной моделью, представленной в надгробном слове молодого архиерея; вздорная старуха-графиня названа праведницей, образ жениха полунощного иронически проецируется на Германна,

который «ровно в половине двенадцатого <...> ступил на графинино крыльцо» (VIII, 239). На наш взгляд, эти наблюдения можно дополнить, если обратиться к той ораторской культуре, частью которой является надгробное слово молодого архиерея, цитата из этого надгробного слова. Как образно заметил О. Мандельштам, «цитата не есть выписка. Цитата есть цикада. Неумолкаемость ей свойственна» (207, 10). Цитата из надгробного слова молодого архиерея, приведенная Пушкиным, звучит в хоре своего контекста. Восстановить этот контекст, рассмотреть соотношение с ним текста пушкинской повести — такова наша задача.

Итак, обратимся к жанру надгробного слова, сюжеты, мотивы и образы которого были хорошо известны Пушкину и его читателям. На наш взгляд, это обстоятельство, независимо от намерений автора, участвовало в процессе читательского восприятия пушкинского текста. Пушкин дает часть надгробной речи. Но, как сказано в «Каменном госте»: «Довольно с вас. У вас воображение / В минуту дорисует остальное» (VII, 143). Познакомившись с частью надгробной речи в «Пиковой даме», читатель не мог не воспроизвести невольно в памяти житейски привычную ситуацию похоронного обряда, много раз слышанные надгробные речи, должен был с помощью знакомых стереотипов как бы реконструировать произнесенное при отпевании графини надгробное слово в его полном объеме.

Надгробное слово включало жизнеописание усопшего, похвалу его христианским добродетелям. Оно было призвано не только утешить слушателей, но и укрепить их в вере, дать достойный образец для подражания.

Приведем несколько фрагментов из надгробных слов, тех самых, которые и подобные которым слышал Пушкин и его читатели-современники. Эти надгробные слова являются своеобразным комментарием и своего рода дополнением к надгробному слову молодого архиерея в «Пиковой даме» — они могли быть сказаны при отпевании старой графини. Так, в «Надгробном слове при погребении статской советницы Елизаветы Семеновны Смольянской, произнесенном в Сергиевской церкви, что в Рогожской, Спасо-Андрониевского монастыря Архимандритом и Кавалером Гермогеном, 1821 года, июля 22 дня» говорилось:

«При сем гробе преставльшейся Болярыни Елизаветы размыслим, Христиане, в наше назидание, что успокаивает и утешает праведника при праге отверзающейся для него вечности? <...>

— Не Херувим с пламенником в руках воспящет путь ему, но тьмы Ангелов преносят его к вечери, Агнцем, прежде мѣр не бысть закланным уготованной. Не Бог раздраженный, не Судия правосудный, мечом уст Своих поразить готовый, сретает его; но кроткий, чадолюбивый, милосердный Отец приемлет его на Отчее

лоно Свое. Не цепь злодеяний, на разпутях мира содеваемых, влечется за ним, но ряд добродетелей, рясны златыми одеявших душу его, сопровождают его. Нищета духовная, чистота сердечная, кротость благопокорливая, братолюбие безпритворное, самоотвержение кровавое, облекшее его в одежду белу заслуг Искупителя, последуют за ним. Вот краткое и слабое изображение торжественного вшествия, подвигами веры украшенного Христианина во врата Горняго Иерусалима!» (31, 4–6).

В «Слове о погребении действительной статской советницы и кавалерственной дамы Маргариты Александровны Волковой, говоренном Георгиевским, что на Красной горке при Университете священником Захарием Иаковлевым Виноградовым, в церкви Николая Чудотворца, что в Хлынове, ноября 3 дня 1820 года» было сказано:

«Блажен и премудр тот, что непрестанно бодрствует над собою, дабы быть готову всегда явиться с чистою и непорочною совестью пред правосудного Судию — Бога для ответа в делах своих. <...>

Наука счастливо умирать — заключается в науке благочестиво жить.

Творить добро несчастному и бедному — она поставляла священною обязанностию. Как нежная и добродетельная мать, достойная любви, уважения и почтения, — она пламенно любила чад своих, занималась устройением их жребия до возможности, и

сердечно быв ими любима, в том единственном обрела утешение и радость. Благоустройство и добрый порядок во всем сохранялись ее благоразумием и попечительностью. Она была сердобольною матерью для всех служащих ей: они под ее покровом благославляли ее участь и преданы были ей душевно.

Можно ли забыть родным и другим о том христианском добродушии, которым она пленяла каждого? Вы знаемые любили и уважали ее: ибо она всех любила от доброго сердца. Уважение всего священного и благоверие возбуждали к ней в сердцах почтение и уважение — кротость и приветливое обхождение, — привлекали к ней души.

Великий Монарх обратил особенное внимание на ея доблести, украсил и почтил оные знаком отличия» (25, 8–10).

В «Слове при отпевании ея сиятельства генерал-лейтенантши, Ордена Святыя Екатерины кавалерственной Дамы, княгини Анны Александровны Голицыной, урожденной Баронессы Строгановой, произнесенном Синодальным членом, управляющим Московскою Митрополиею, Преосвященным Августинем, Архиепископом Дмитровским, Свято-Троицкая Сергиевы Лавры Архимандритом и кавалером 1816 года, апреля 25 дня» были следующие наставления:

«Жены! будьте столь же благонравны, столь же удалены от празднословия, от злоречия и от всяких суетных занятий, как преставляшаяся. Матери! потщитесь также воспитывать чад ваших

в вере, в благочестии и в страхе Божиим, как преставльшаяся. Господіе! Управляйте подвластными вам с тою же кротостию, как преставльшаяся. Христиане! будьте столь же верны и послушны общей матери нашей, святой православной Церкви, храните с тою же строгостию все спасительные уставы, как представлявшаяся. <...>

Праведницы во веки живут. —

Боже наш! Сим вечным глаголом твоим умоляем Тебя, да преставльшаяся Княгиня Анна, ради веры своея и правды, живет во веки веков на небеси в недрах Твоего блаженства и славы; да живет и на земли примером своих добродетелей в сердцах всех, которые искренно почитают благословенную память ея!» (I, 67).

Подобные ораторские тексты, привычные для читателя пушкинского времени и как бы достраивающие в его сознании фрагмент надгробного слова из «Пиковой дамы», соотносились с текстом повести в целом. При этом оказывалось, что данные в авторском повествовании характеристические черты, детали, подробности, связанные с графиней, прямо противоположны традиционным наставлениям церковных проповедников: сравним — «будьте удалены <...> от всяких суетных занятий» и «она участвовала во всех суетностях большого света» (VIII, 233); если церковные ораторы, говоря о добродетелях усопшей, призывали к кротости, самоотверженной любви к ближнему, попечительной заботе о служителях своих, то повествователь сообщал о своенравии, холодном эгоизме графини, описывал ее

безразличие к многочисленной челяди, которая «делала, что хотела, наперерыв обкрадывая умирающую старуху» (VIII, 234); требование исполнения церковных уставов в действительности заменялось участием в светском обряде — графиня «таскалась на балы <...>; к ней с низкими поклонами подходили приезжающие гости, как по установленному обряду» (VIII, 233). У праведницы была домашняя мученица. Идея примера праведной жизни усопшей воплотилась в том, что после смерти графини Лиза также взяла себе воспитанницу. Мотив вечной жизни праведницы обернулся дьявольским явлением призрака графини. Любопытна и такая подробность: праведницы в надгробных речах облечены в белые одежды, символизирующие их безгрешность; Пушкин, описывая похороны графини, замечал — «Усопшая лежала <...> в белом атласном платье» (VIII, 246). Призрак графини — женщина в белом платье.

Так идеальный образ покойницы, созданный на основе приведенного Пушкиным фрагмента из надгробного слова и типологических ораторских текстов, это слово дополнявших и включавшихся в механизм читательского восприятия, в применении к графине разрушался, сталкиваясь с авторским повествованием. Образ графини окружался не просто ироническим смыслом, но ореолом иронических смыслов. Несоответствие жизни и идеала, начертанного в надгробном слове, несоответствие, возможное и бывшее в самой жизни, создавало в повести

иронический эффект, причем этот эффект имел свою глубину, свою многоплановость. При этом иронический ответ ложился и на изображенную действительность, и на ирреальную ее модель, представленную Пушкиным в надгробном слове молодого архиерея.

Но ироничен ли Пушкин по отношению к самому надгробному слову молодого архиерея, или славного проповедника, как назван он в журнальной публикации повести? Думается, что пушкинская ирония не дискредитирует этот жанр церковного красноречия как таковой.

В шестой главе «Евгения Онегина», в рассказе о смерти Ленского Пушкин преобразовал жанр надгробной речи в выразительный поэтический текст. Мотивы и образы церковного красноречия, его стилистика, риторические приемы повествования в романе в стихах были подчинены творческой задаче поэта передать трагедию происшедшего, вызвать у читателей чувство скорби и сострадания.

В «Пиковой даме» задача Пушкина — иная: иронически представить жизнь, в которой трагедия оборачивается фарсом, лицемерие общества, ханжески прикрывающего свою безнравственность нормами официально-религиозной морали. И в решении этой задачи играют свою роль «простые и трогательные» выражения надгробной речи, ее «возвышающий» обман, в

контексте повести не прикрывающий низких истин, но резко выявляющий их в свете пушкинской иронии.

3. «УДИВИТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ НАРОДНОГО КРАСНОРЕЧИЯ»

Воспитанный на классических текстах античных, европейских и русских ораторов, изучавший в Лицее риторику, живший в эпоху высокой культуры светского и церковного красноречия, Пушкин ценил народное ораторское слово. Он прислушивался к нему в городской толпе и на сельской ярмарке. Оно было предметом его пристального внимания и тогда, когда, сохраненное временем, доходило до него в летописях и документах.

Историк пугачевского движения, Пушкин ознакомился в архиве инспекторского департамента Военного министерства с указами, манифестами и воззваниями Пугачева, переписал их почти полностью. Для Пушкина это не только ценнейшие исторические источники, раскрывающие характер народной войны, политические цели восставших, но и памятники народного ораторского искусства.

«Первое возмутительное воззвание Пугачева к яицким казакам есть удивительный образец народного красноречия, хотя и

безграмотного, — писал Пушкин в “Замечаниях о бунте”. — Оно тем более действовало, что объявления, или публикации Рейнсдорпа были писаны столь же вяло, как и правильно, длинными обиняками, с глаголами на конце периодов» (IX, 371).

Пушкин в данном случае оценивает пугачевское воззвание как произведение ораторского искусства. Критерии его оценки — самые высокие. Еще Цицерон полагал, что победа оратора, действенная сила его слова — в подчинении слушателя; для достижения же победы нужна прежде всего ясность, в которой заключается главное достоинство стиля ораторской речи. Положения Цицерона вошли в русские учебники красноречия, в «Общую риторику» Н.Ф. Кошанского. В пушкинской оценке пугачевского ораторского текста именно за счет ясности, силы воздействия на слушателя искупается его безграмотность, неправильность.

Те же достоинства пугачевского воззвания, как, впрочем, и его безграмотность, отмечены Пушкиным и в «Капитанской дочке»:

«Иван Кузьмич в присутствии жены прочел нам воззвание Пугачева, писанное каким-нибудь полуграмотным казаком. Разбойник объявлял о своем намерении немедленно идти на нашу крепость; приглашал казаков и солдат в свою шайку, а командиров увещевал не супротивляться, угрожая казнию в противном случае. Воззвание написано было в грубых, но сильных выражениях и

должно было произвести опасное впечатление на умы простых людей» (VIII, 317).

В «Капитанской дочке» Пушкин не ограничивается изложением содержания пугачевского воззвания, его оценкой как риторического произведения. Здесь народное красноречие потребовало от Пушкина художественного осмысления и воплощения. Эта задача всегда вставала перед писателями, изображавшими народные движения, но решение этой задачи далеко не всегда им удавалось. В рецензии на роман М.Н. Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» Пушкин заметил: «Речь Минина на нижегородской площади слаба: в ней нет порывов народного красноречия» (XI, 33). Как решает эту задачу Пушкин в «Капитанской дочке?»

Комментаторы и исследователи языка «Капитанской дочки» указали на использование Пушкиным отдельных словосочетаний из пугачевских указов, манифестов, воззваний в речи персонажей романа, главным образом в речи Пугачева (146; 152). В самом деле, в первом указе Пугачева говорится: «...ожидать меня старайтесь к себе с истинною верностию, верноподданническою радостью и детскою ко мне, государю вашему и Отцу, любовью» (IX, 680). В «Капитанской дочке» Пугачев говорит Гриневу: «Присоветуй им встретить меня — с детской любовью и послушанием...» (VIII, 334). В другом пугачевском указе сказано: «ежели же кто <...> дерзнет сего имянного моего повеления не

исполнить, <...>, то увидит на себе праведный мой гнев, а потом и казнь жестокою» (IX, 685). Сравним в «Капитанской дочке»: «...не то не избежать им лютой казни» (VIII, 334). Однако, на наш взгляд, к наблюдениям такого рода не может быть сведена проблема народного красноречия в «Капитанской дочке». Повторяем, суть ее, как нам представляется, — в художественном осмыслении и воплощении Пушкиным в его романе этого пласта народной культуры. И дело здесь не в отдельных текстовых соответствиях и параллелях. Обратимся к анализу одного из эпизодов пушкинского романа с тем, чтобы выявить некоторые аспекты поставленной проблемы.

В XI главе Гринев оказывается в мятежной слободе. По воле Пушкина он становится участником и свидетелем сцены, в которой действуют, произносят речи народные ораторы — Пугачев, Хлопуша и Белобородое. Сподвижники Пугачева Хлопуша и Белобородое не появятся больше на страницах пушкинского романа; они выступают только в этой сцене, причем выступают именно как ораторы, и это весьма знаменательно. На наш взгляд, это еще одно свидетельство художественного осознания Пушкиным творческих сил народа, разбуженных бунтом.

Самодержавное государство сковывает ораторское искусство, по существу исключает состязательное политическое и судебное красноречие. В 1788 году Д.И. Фонвизин, размышляя о том, почему в России мало ораторов, писал: «Истинная причина

малого числа ораторов есть недостаток в случаях, при коих бы дар красноречия мог показаться. Мы не имеем тех народных собраний, как витии большую дверь к славе отворяют и где победа красноречия не пустою хвалою, но претурою, архонциями и консульствами награждается. Демосфен и Цицерон в той земле, где дар красноречия в одних похвальных словах ограничен, были бы риторы не лучше Максима Тиряннина, а Прокопович, Ломоносов, Елагин и Поповский в Афинах и Риме были бы Демосфены и Цицероны...» (306, 553). Автор «Недоросля» справедливо полагал, что российское витийство достигло бы большей силы, «...если бы имели мы где рассуждать о законе и податях и где судить поведения министров, государственным рулем управляющих» (306, 553).

По-видимому, понимал это и автор «Капитанской дочки». Несмотря на монархический характер пугачевского бунта, это широкое народное движение, создающее необходимость и условия для развития народного красноречия*. Монархия Пугачева — Петра III, как она показана в «Капитанской дочке», в то же время и государство восставшего народа: недаром Пушкин особо отмечает дух равенства, царящий в ставке Пугачева, контрастно подчеркивая притворное подобострастие, которым окружают самозванца на людях его сподвижники. В контексте мировой истории государство, возникшее в огне народной войны,

соотносится с республиками Древней Греции и Рима, с государством, рожденным Великой французской революцией. И, возможно, с этим соотношением связана установка Пушкина в рассматриваемой нами сцене из «Капитанской дочки» на известные ему модели политического и судебного красноречия.

* Разумеется, и об этом будет сказано далее, народное красноречие пугачевской войны носит политический характер. В связи с этим небезынтересно привести следующее суждение, высказанное министром народного просвещения А.С. Шишковым в собрании членов главного управления училищ в 1824 году: «Науки, изошряющие ум, не составят без веры и без нравственности благоденствия народного. <...> Обучать грамоте весь народ, или несоразмерное числу онаго количество людей, принесло бы более вреда, нежели пользы. Наставлять земледельческого сына в Риторике было бы готовить его быть, худым и бесполезным, или еще вредным гражданином» (88, 1235).

Роли распределяются следующим образом: Гринев из обвинителя (он обвиняет Швабрина в том, что тот держит в неволе сироту Машу Миронову) становится, как и Швабрин, обвиняемым; Хлопуша и Белобородое выступают в ролях адвоката и прокурора, Пугачев — в роли судьи.

Суд в ставке Пугачева над Гриневым и Швабриним выстраивается Пушкиным как суд угнетенного народа над угнетателями. Обвинение, выдвинутое против Швабрина, потому и достигает цели, что Маша Миронова названа Гриневым сиротой.

Ведь сирота в народном понимании не только тот, у кого нет родителей; это еще и «беспомощный, бесприютный человек, бедняк» (168, т. IV, 188). Этим вызван приговор, вынесенный Пугачевым, и его мотивировка: «Я проучу Швабрина. <...> Он узнает, каково у меня своевольничать и обижать народ. Я его повешу» (VIII, 348).

И Швабрин, и Гринев для пугачевского суда — представители враждебного сословия, дворяне. Именно в этом плане рассматриваются и оцениваются народными ораторами их поступки, определяется их вина, выносятся им приговор. При этом действия обвиняемых, носящие, казалось бы, частный характер, становятся в романе Пушкина поводом для ораторского диалога-спора, в котором поднимаются важные вопросы политических и нравственных взаимоотношений восставшего народа с дворянством: «Ты поторопился назначить Швабрина в коменданты крепости, а теперь торопишься его вешать, — говорит Пугачеву Хлопуша. — Ты уж оскорбил казаков, посадив дворянина им в начальники; не пугай же дворян, казня их по первому наговору» (VIII, 348).

Право на казнь угнетателей, на пролитие вражеской крови в его сознании законно, что и не обсуждается народными ораторами; но в конкретном применении этого закона могут быть свои градации, также, впрочем, определенные народным законом, имеющим большой нравственный смысл, — и это становится

предметом спора Хлопуши и Белобородова. Пушкин, выявляя их позиции, опирается на известные ему подлинные ораторские тексты времени пугачевской войны. Если в манифестах Екатерины II, увещаниях пастырей церкви, оставшихся верными ее престолу, Пугачев и его войско обвиняются в пролитии невинной христианской крови, то в указах, манифестах и воззваниях Пугачева, т. е. в документах, имеющих в глазах народа силу закона, народ призывается к тому, чтобы проливать кровь «без всякого сомнения», «как отцы и деды <...> выходили против злодеев в походы, проливали кровь, а с приятелями были приятели» (IX, 682). Как мы видим, пугачевский документ дает возможность дифференцировать злодеев и приятелей, противников и сторонников восставшего народа, причем эта дифференциация может быть и внесловной. На этом во много строится сюжет «Капитанской дочки». В сцене же из XI главы, о которой идет речь, Пугачев не случайно говорит Белобородову о дворянине Гриневе: «Мы с его благородием старые приятели» (VIII, 350). Хлопуша оспаривает Белобородова, призывающего к тому, чтобы и дворянина Швабрина, и дворянина Гринева повесить на одной виселице. Он отвечает в то же время и на обвинения правительственного лагеря: «Конечно, <...> и я грешен, и эта рука <...> и эта рука повинна в пролитой христианской крови. Но я губил супротивника, а не гостя; на вольном перепутье да в темном

лесу, не дома, сидя за печью; кистенем и обухом, а не бабьим наговором» (VIII, 349).

Приведенные слова Хлопуши, как, впрочем, и высказывания Пугачева и Белобородова, свидетельствуют о том, что Пушкин учитывал подлинные ораторские тексты пугачевского лагеря не только в самом содержании ораторских выступлений своих героев, но и в их речевой организации.

Указы, манифесты, воззвания Пугачева написаны народным разговорным языком, органично связаны с фольклорной традицией (172, 163). Слово Пугачева должно было быть понятным простому народу, темному и забитому, и именно образный язык известных ему песен, пословиц, поговорок мог дойти до его сознания, убедить его разум, тронуть его сердце. Фольклорные элементы отмечены исследователями и в речах народных героев «Капитанской дочки». Вместе с тем подлинные ораторские тексты Пугачева строятся не только на фольклорной традиции, но ориентируются и на царские манифесты. Это также связано с задачей убедить слушателей, подвигнуть их на действие: народные требования земли и воли для того, чтобы обрести в народном сознании силу законности, должны быть упакованы в привычную для народа форму царского указа, в значительной степени безграмотному народу непонятного.

Сочетание народного языка с оборотами, механически заимствованными из официальных документов, создавало для

образованного слушателя и читателя комический эффект: народный ораторский текст как бы пародировал официальный документ. В «Капитанской дочке» этот комический эффект тонко передан Пушкиным: «Господа енералы! — провозгласил важно Пугачев. — Полно вам ссориться. Не беда, если б и все оренбургские собаки дрыгали ногами под одной перекладиной: беда, если наши кобели меж собой перегрызутся. Ну, помиритесь» (VIII, 350). Фонетически искаженное слово «генерал» выстраивается в один сопоставительный ряд с «собаками» и «кобелями», причем речение это произносится пушкинским оратором важно. Однако Пушкин не увлекается комическим эффектом, как бы подсказанным ему подлинными ораторскими текстами Пугачева. Сохраняя и передавая в «Капитанской дочке» их характерные особенности, в том числе и отмеченную безграмотность, Пушкин не сводит свою задачу ни к их натуралистическому воспроизведению, ни к стилизации. Его задача, как уже было сказано выше, шире; это художественное осмысление и воплощение в романе народного красноречия как заметного явления русской народной культуры. Для решения этой задачи Пушкин обращается не только к подлинным ораторским текстам Пугачева, но и к хорошо известной ему классической риторике, к веками разработанным риторическим приемам изложения. Рассмотрим некоторые из них.

Белобородов, выдвигая обвинение против Гринева, в котором он видит вражеского лазутчика, выстраивает цепь доказательств, изложенных Пушкиным с учетом требований риторики: «Если он тебя государем не признает, так нечего у тебя и управы искать; а коли признает, то что же он до сегодняшнего дня сидел в Оренбурге с твоими супостатами?» (VIII, 348). Рассуждение Белобородова не что иное, как риторический силлогизм в форме дилеммы, логически организованной и, следовательно, убедительной. В данном случае цель оратора достигнута, и это отмечает Пушкин: «Логика старого злодея показалась мне довольно убедительною» (VIII, 348).

Предложение Белобородова повесить Швабрина и Гринева Хлопуша оспаривает с помощью риторического приема подмены доказательства тезиса ссылкой на личные качества своего оппонента: тщедушный и сгорбленный старичок Белобородов в обращенном к нему риторическом вопросе иронически назван богатырем: «Полно, Наумич, — сказал он (Хлопуша — *Н.М.*) ему. — Тебе бы все душить, да резать. Что ты за богатырь? Поглядеть, так в чем душа держится. Сам в могилу смотришь, а других губишь» (VIII, 349).

Пушкин заставляет Хлопушу использовать и риторическую фигуру — обращение к совести Белобородова: «Разве мало крови на твоей совести?» (VIII, 349). Как мы отмечали ранее,

Н.Ф. Кошанский, перечисляя фигуры мыслей, пленяющих сердце, особо выделяет ссылку на совесть слушателей.

Рассуждение Пугачева: «Не беда, если б и все оренбургские собаки дрыгали ногами под одной перекладиной: беда, если наши кобели меж собой перегрызутся» (VIII, 350) в черновом варианте звучало иначе: «Не беда, если б и все оренбургские собаки дрыгали ногами под одной перекладиной: беда, если в нашем табуне кони станут между собою лягаться» (VIII, 893). Правка, внесенная Пушкиным в рукопись, свидетельствует о его желании организовать текст в большей степени риторически: «собаки — кони» не создавали как «собаки — кобели» синонимического ряда, выразительного приема ораторского искусства.

В диалоге-споре своих героев — народных ораторов Пушкин использует риторические фигуры единоначатия — «Ты поторопился <...> Ты уже оскорбил...», усугубления — «...и эта рука... <...> эта рука», а также другие риторические фигуры и тропы.

Разумеется, можно было бы подобно Савельичу, представившему Пугачеву реестр раскраденного добра барского дитяти, дать подробный список всех риторических приемов и украшений, использованных Пушкиным в рассматриваемой нами сцене. Однако и приведенные примеры дают, на наш взгляд, достаточное основание для заключения о том, что народное красноречие, явившееся в «Капитанской дочке» объектом

изображения Пушкина, переработано им еще и в соответствии с правилами классической риторики. В данном случае уместно, как нам кажется, напомнить рассуждение Пушкина из письма к А.А. Дельвигу о Г.Р. Державине: «Этот чудак не знал ни русской грамоты, ни русского языка <...> Он не имел понятия ни о слоге, ни о гармонии — ни даже о правилах стихосложения. Вот почему он и должен бесить всякое разборчивое ухо. <...> Что ж в нем: мысли, картины и движения, истинно поэтические; читая его, кажется, читаешь дурной, вольный перевод с какого-то чудесного подлинника. Ей богу, его гений думал по-татарски — а русской грамоты не знал за недосугом. Державин, со временем переведенный, изумит Европу...» (XIII, 181–182). Не обсуждая справедливость такой оценки, хотелось бы отметить своеобразие пушкинского восприятия поэзии Г.Р. Державина. Нечто подобное есть, с нашей точки зрения, и в пушкинском восприятии народных ораторских текстов: безграмотные и вместе с тем удивительные образцы народного красноречия (напомним, что это выражение самого Пушкина) как бы переведены Пушкиным в «Капитанской дочке» на грамотный язык риторики, преобразованы по законам классического ораторского искусства. При этом у читателя романа не возникает ощущения искусственности, нарочитой сделанности народного ораторского диалога. Своего рода двуплановость речи народных ораторов, организованной Пушкиным по законам и народного, и классического ораторского искусства, органично

соотносится с двуплановостью описания места действия, облика действующих лиц. Читая сцену суда у Пугачева, мы ни на минуту не забываем о том, что пушкинские ораторы выступают не на форуме и не в парламенте. Суд происходит во дворце Пугачева, но дворец этот — оклеенная золотой бумагой изба, заполненная крестьянской утварью. Народные ораторы облечены не в тоги и мантии, не в парадные придворные костюмы, а в красный кафтан, красную рубаху, серый армяк, но поверх армяка надета голубая лента. В ролях судьи, адвоката и прокурора выступают беглый казак Пугачев, ссыльный преступник Хлопуша, беглый капрал Белобородов, но Пугачев еще и мужицкий царь, Хлопуша — генерал, Белобородов — фельдмаршал армии восставшего народа.

Сохраняя и передавая дух подлинника, содержание и форму народного ораторского текста, вместе с тем преобразуя его в соответствии с требованиями риторики, Пушкин создает иллюзию живой речи. Этому способствуют указания на интонацию, мимику, жест народных ораторов — такими указаниями густо насыщен пушкинский текст. Читатель видит то сверкающие, а то подмигивающие и прищуренные глаза Пугачева, слышит его грозный голос, его крик, видит «сжатый костливый кулак» и «косматую руку», обнаженную Хлопушей, слышит его хриплый голос, ворчание Белобородова, замечает мрачные взгляды, которыми обмениваются сподвижники народного вождя.

Таким образом, Пушкин в сцене из XI главы «Капитанской дочки» сделал не только Гринева, но и читателя свидетелем диалога-спора народных ораторов, в творчески преобразованном виде донес до нас народное красноречие эпохи пугачевской войны. И если творчество Пушкина в целом можно считать энциклопедией русской и мировой культуры, то «Капитанская дочка» заключает в себе страницу этой энциклопедии, страницу, которая посвящена русскому народному красноречию XVIII века, воплощенному в слове Пушкина и осмысленному им в широком контексте как истории, так и классического ораторского искусства.

III. ПУБЛИЦИСТИКА ПУШКИНА И ОРАТОРСКИЕ ТРАДИЦИИ

Ораторская традиция, так или иначе сказавшаяся в поэзии, драматургии и художественной прозе Пушкина, проявилась и в его критике и публицистике. Обращение к ораторскому слову было вызвано задачами острой общественно-литературной борьбы, продиктовано полемическими мотивами. При этом именно в критических и публицистических жанрах — статьях, очерках, памфлетах, фельетонах риторическая система выступала в наиболее чистом виде, определяя разные уровни их построения.

В журнальной полемике 1830-х годов заметное место принадлежит выступлениям Пушкина под именем Феофилакта Косичкина. Напечатанные в «Телескопе» статьи «Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов» (1831, № 13) и «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем» (1831, № 15) нанесли сокрушительный удар его противникам, заставили надолго замолчать Ф.В. Булгарина и Н.И. Греча. С помощью каких ораторских приемов это было сделано?

Уже само заглавие статьи «Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов» включает в своей пародийной многоплановости и ораторский план. Помимо указания на традицию нравоописательного романа, которому, как, впрочем, и вообще всем родам литературы XVIII — первой трети XIX века, были свойственны двойные заглавия (например, «Иван Выжигин, или Российский Жильблаз» Ф.В. Булгарина, «Хлыновские степняки Игнат и Сидор, или Дети Ивана Выжигина» А.А. Орлова), помимо намека на драматическое комедийное представление (в репертуаре петербургских и московских театров второй половины XVIII — первой трети XIX века — драма и комедия под названием «Торжество дружбы», а также несколько пьес, название которых начинается словом «Торжество» — 247, 499; 468; 248, 487, 529), здесь присутствует установка на торжественное и судебное красноречие («Торжество православное свободителя Ливонии» — так была названа речь

Иосифа архимандрита Туробойского, изданная в Москве в 1704 году и включенная М.А. Корфом в составленный для Пушкина библиографический список по эпохе Петра I; «Торжество московских муз, праздновавших громкие победы, и достославное покорение гордой столицы Франции, апреля 25-го 1814 года» — речь Р.Ф. Тимковского с таким названием, напечатанная впервые в «Сыне Отечества» в 1814 году, не раз уже нами упоминалась.) Эпитет «оправданный» предполагает защитительную речь. Небезынтересно отметить, что установка на ораторскую речь была и в черновом варианте заглавия статьи — «Глас дружбы, или (торжествующий?) Оправданный Александр Анфимович Орлов» (XI, 449). Заглавие статьи-речи должно было привлечь внимание читателей-слушателей — в нем дана броская, интригующая формулировка темы, вызывающая интерес аудитории, активизирующая ее внимание.

Следующий за заглавием статьи эпиграф укрепляет заявку на ораторскую речь, расширяет и уточняет ее возможные значения, определяет (пока еще в общей форме) ее направленность. Эпиграф — мистификация Пушкина, сконструированная им самим фраза Цицерона: *In arenam cum aequalibus decendi. Sic* (Я вышел на арену против своих современников. Цицерон). Источник эпиграфа — «Диалог об ораторах» Тацита (122, 117), где сторонник нового красноречия Марк Апр ссылается на Цицерона: «Перехожу к Цицерону, у которого шли такие же сражения с его

современниками, какие у меня с вами. Ведь они восхищались древними, а он предпочитал красноречие своего времени» (122). Значение пушкинского эпиграфа выявляется не только из сопоставления с приведенным текстом источника, сопоставления, свидетельствующего о намерении Пушкина, подобно Цицерону, в сражении с современниками утвердить новое красноречие, но и в свете того осмысления личности и литературного наследия Цицерона, которое бытовало в России в первой трети XIX века.

С именем Цицерона связывали представление о выдающемся ораторе, мастере судебного красноречия — его речи приводились в качестве образцовых во всех «Риториках».

Н.Ф. Кошанский, оценивая мастерство Цицерона, «знаменитейшего римского оратора», считал, что «в красноречии соединял он: силу Демосфена, обилие Платона и сладость Исократа» (44, 129–130).

В.Л. Пушкин в послании «К Д.В. Дашкову» писал:

Науки перешли в Рим гордый из Афин,
И славный Цицерон, оратор-гражданин,
Сражая Верреса, вступаясь за Мурену,
Был велеречием обязан Демосфену.

(236, 140)

С.П. Жихарев, характеризуя Жозефа де Местра, отмечал: «Ума палата, учености бездна, говорит как Цицерон, так

убедительно, что нельзя не увлекаться его доказательствами» (175, 390).

Цицерона считали видным государственным деятелем.

Ф.Ф. Вигель называл Цицероном Н.С. Мордвинова, «политического сего мечтателя» (134, т. 1, 158).

Цицерон назван И.Д. Якушкиным в числе «почти настольных книг» декабристов — они видели в нем замечательного представителя политического красноречия, защитника римской республики.

И.Д. Якушкину принадлежит рассказ о том, как под влиянием прочитанного письма Брута к Цицерону Н.Х. Граббе отказался от визита к А.А. Аракчееву (330, 20).

Таким образом, весьма вероятно, что эпитафия из Цицерона в пушкинской статье мог восприниматься и как намек на гражданственный характер следующей за ним статьи-речи*. Кроме того, имя Цицерона, поставленного в эпитафии статьи «Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов», могло напомнить известный диалог Цицерона «Лелий, или О дружбе», который оказал влияние на мыслителей последующих времен, в частности — на французских просветителей (в русском переводе диалог был издан в 1781 году). В данном случае существенно, что это произведение римского автора, написанное в ораторской форме, с которым возможно соотнесение публицистического

сочинения Пушкина, также имело гражданственную направленность.

* Интересно отметить, что в черновой рукописи XXII строфы VII главы «Евгения Онегина» Пушкин включил Цицерона в число «избранных томов» Онегина. Что же касается признания поэта в начале VIII главы романа:

В те дни, когда в садах Лицея
Я безмятежно расцветал,
Читал охотно Апулея,
А Цицерона не читал...
(VI, 165)

Черновой вариант:

Читал охотно Елисея,
А Цицерона проклинал...
(VI, 619),

то оно может быть понято как своего рода ретроспекция юношеской бравады — противопоставления занимательного эротического чтения серьезному, да к тому же еще рекомендуемому преподавателями. В таком плане имя Цицерона упоминается и в лицейском «Послании к Лиде» 1816 г., где Пушкин декларирует:

Дороже мне хороший ужин
Философов трех целых дюжин.
(I, 227)

Композиция статьи Пушкина в целом ориентирована на классическую схему защитительной речи, разработанной античным красноречием. Судебная речь должна была прежде всего изложить фактический состав дела, затем дать истолкование и

оценку приведенных фактов и наконец познакомить слушателей со сделанными из всего сказанного выводами. Речь защитника соотносилась с речью обвинителя: каждый освещал события и факты со своей точки зрения; обвинитель требовал наказания, защитник — оправдания подсудимого. Так как обвинитель выступал первым, -защитник должен был опровергнуть доказательства обвинителя. Защитительная речь, помимо вступления и заключения, состояла из трех основных частей: повествования, утверждения и опровержения.

Вступление к статье Пушкина — изложение того, что предшествовало обвинению книг А.А. Орлова в глупости: это рассказ о дружбе Н.И. Греча и Ф.В. Булгарина, которая и привела Н.И. Греча к заявлению о «двух глупейших, вышедших в Москве (да, в Москве), книжонках, сочиненных каким-то А.А. Орловым» (XI, 205). Повествуя о «почтенных памятниках» этой дружбы, Пушкин дает своеобразную пародийную отсылку к «Сравнительным жизнеописаниям» Плутарха: после тезиса о «сходстве душ и занятий гражданских (намек на близость к III отделению — *Н.М.*) и литературных» следует раскрытие тезиса — ироническое описание деяний как Ф.В. Булгарина, так и Н.И. Греча в честь дружбы, следствием которых явились «литературные замечания» Н.И. Греча в «Сыне Отечества», защищавшие его «ловкого товарища» от нападок помещенной в «Телескопе» рецензии Н.И. Надеждина на роман Ф.В. Булгарина

«Петр Иванович Выжигин». Пушкин, указывая соответствующие страницы, пародийно цитирует статью Н.И. Греча, используя, как было отмечено В.В. Виноградовым, «полемический прием невозмутимо серьезного и точного, но абсурдно-логического изложения основных мыслей противника» (139, 592). «Острота этого приема, — писал В.В. Виноградов, — углубляется буквальным и старательным выполнением школьных правил формальной логики» (139, 592). Логичность построения с древних времен считалась обязательным признаком хорошей речи. Продемонстрировав отсутствие логики у противника, Пушкин тем самым уже во вступлении к своей статье дискредитировал и Н.И. Греча, и Ф.В. Булгарина. Так, уже во вступлении он начал осуществление истинной цели своего сочинения — разоблачения литературных врагов. Пародийная двуплановость, ирония, намеки — все это получает развитие по ходу дальнейшего изложения.

Информацию о фактическом составе дела, также обвинении, предъявленном А.А. Орлову, заменяют цитаты из ранее названной статьи Н.И. Греча и фрагмент рецензии на сочинения А.А. Орлова из болгаринской «Северной пчелы». Вокруг этих текстов строит Пушкин свою защитительную речь, которая в то же время является обвинительной речью против Ф.В. Булгарина. Разоблачая Ф.В. Булгарина, опровергая Н.И. Греча, Пушкин использует весь арсенал ораторского

искусства: риторические вопросы, восклицания, риторические фигуры. Здесь есть и возвращение — «...Орлов — жив! Он жив...» (XI, 205), и обращение — «О Николай Иванович, Николай Иванович!» (XI, 205), и ответствование — «Между тем какие вспомогательные средства употреблял Александр Анфимович Орлов? Никаких, любезные читатели!» (XI, 208). «Но — обезоружил ли тем он многочисленных врагов? Нимало» (XI, 208).

Приводя факты, оправдывающие А.А. Орлова и обвиняющие Ф.В. Булгарина, убеждая читателей-слушателей (слушателями читатели названы в тексте статьи) в своей правоте, Пушкин постоянно апеллирует к аудитории, устанавливает контакт с ней. Он преодолевает монологичность ораторской речи обращениями к «любезным читателям», «любезным слушателям», использует для этого примечания, которые являются как бы репликами оратора, или поясняющими его собственную речь, или иронически комментирующими цитируемые им тексты противника: «Важное сознание! прошу прислушать» (XI, 209), «Историческая истина!» (XI, 209).

Один из приемов ораторской речи — ссылка на авторитет. В примечании Пушкин приводит высказывание Бюффона «Гений есть терпение в высочайшей степени» (XI, 207). Ссылка на известного французского писателя должна подтвердить гениальность Ф.В. Булгарина, ибо его романы «доказывают большое терпение в авторе» (XI, 207). Однако следующее

суждение иронически парадоксально разрушает только что сказанное: «и требуют еще большего терпения в читателе», — говорит далее Пушкин.

Любопытно, что Н.И. Греч в разбираемой Пушкиным статье ссылается на авторитет В. Л. Пушкина, цитируя его послание к В.А. Жуковскому (1810):

Кто мыслит правильно, кто мыслит благородно,
Тот изъясняется приятно и свободно.

(158, 65)

Эта цитата метит в Н.И. Надеждина. Пушкин, следуя принципу соотнесенности текста защитника тексту обвинителя и пользуясь анонимностью своего выступления, ссылается на авторитет племянника В.Л. Пушкина, уничтожая тем самым Ф.В. Булгарина:

«Этого недовольно: грозно требуют ответа от моего друга: как дерзнул он присвоить своим лицам имя, освященное самим Фаддеем Венедиктовичем? — Но разве А.С. Пушкин не дерзнул вывести в своем Борисе Годунове все лица романа г. Булгарина и даже воспользоваться многими местами сего романа в своей трагедии (писанной, говорят, пять лет прежде и известной публике еще в рукописи?)» XI, 209–210).

Напомним, что в пушкинское время фактически не существовало русского судебного красноречия, так как в России до

1864 года не было гласности суда. Поэтому тем интереснее обращение Пушкина к судебному красноречию: в данном случае он выступает как бы миссионером, который, используя трибуну публициста для ораторской речи гражданина, приобщает русских читателей-слушателей к культуре судебного ораторского искусства.

Традиция судебного красноречия в пушкинской статье переплетается с традицией торжественного витийства.* Пушкин создает пародийную похвальную речь дружбе, связующей Ф. В. Булгарина и Н. И. Греча**, панегирик Ф.В. Булгарину и А.А. Орлову. Лексика высокого стиля в контексте статьи также создает иронический эффект: «назидательный союз», «почтенные памятники», «сей великий писатель», «два блистательные солнца нашей словесности», «бессмертная слава».

* Н.Ф. Кошанский, отмечая соединение различных родов речей у древних, приводит в пример Цицерона: «...Цицерон в Речи за Архия, судебным образом доказывает права Архия на достоинство Римского Гражданина, но Архий был учитель его и Поэт; по сему Цицерон в той же Речи говорит похвальное Слово изящным Искусствам, и соединяет Судебный род Красноречия с Торжественным» (44, 83).

** В данном случае возможное соотнесение статьи Пушкина с диалогом Цицерона «Лелий или о дружбе» дает пародийный эффект. Взаимовыгодный союз Ф.В. Булгарина и Н.И. Греча, людей известной запятнанной репутации, как бы вырисовывается на фоне утверждений Цицерона о том, что «дружество только между честными людьми быть может», «надобно

в дружестве установить сей закон, чтоб мы ничего безчестного не просили и не делали по прошению других», «дружество утвердить желаем не надеждою мзды прельщался», «в дружестве нет столь великой заразы как ласкательство, похлебство и снисхождение» (311, 48, 33, 28, 63). Цицерон называет дружбу даром «богов бессмертных»; пушкинская пародийная параллель к этому — «дружба (сие священное чувство)». В связи с этим любопытно отметить, что Пушкин косвенно упоминает Цицерона — «Цицероновы Авгуры» — в черновой рукописи «Путешествия Онегина» в таком контексте:

«Святая дружба глас натуры
(Взглянув) друг на друга потом
Как Цицероновы Авгуры
Мы засмеялися тишком».

(VI, 491)

Сравнение Ф.В. Булгарина с А.А. Орловым, которое, как известно, Ф.В. Булгарин воспринимал для себя как оскорбительное, проходит через всю статью, наиболее полно развертывается в сопоставлении их сочинений. Пушкин надевает маску творца академического красноречия, который с научным беспристрастием разбирает достоинства и недостатки сочинений двух великих романистов. Избранная форма изложения — литературная параллель — позволяет вывести убийственный приговор Ф.В. Булгарину, высмеять ничтожество его творений. Пушкин говорит об однообразии произведений Ф.В. Булгарина, их дидактизме, скуке, которую они вызывают в читателе.

Для того чтобы осветить личность Ф. В. Булгарина, его общественную деятельность, Пушкин пародийно прибегает к

формам церковного красноречия. Повествование об А.А. Орлове приобретает характер церковного поучения и вместе с тем надгробного слова, где перечисляются добродетели покойного. (В данном случае уместно вспомнить пародийные надгробия речи «Арзамаса».) Ритмичность, эмоциональную выразительность тексту придает риторический прием единоначатия:

«Он не задавал обедов иностранным литераторам, не знающим русского языка, дабы за свою хлеб-соль получить местечко в их дорожных записках.

Он не хвалил самого себя в журналах, им самим издаваемых.

Он не заманивал унижительными ласкательствами и пышными обещаниями подписчиков и покупателей.

Он не шарлатанил газетными объявлениями, писанными слогом афиш собачьей комедии.

Он не отвечал ни на одну критику: он не называл своих противников дураками, подлецами, пьяницами, устрицами и тому под». (XI, 203).

Деяния, не совершенные А.А. Орловым, совершал Ф.В. Булгарин. Даже непосвященные читатели должны были догадаться об этом, так как данное рассуждение о добродетелях А.А. Орлова соотносится с предыдущим текстом, где превозносилась оборотливость Ф.В. Булгарина. Так, если А.А. Орлов «не задавал обедов иностранным литераторам, не

знающим русского языка, дабы за свою хлеб-соль получить местечко в их дорожных записках», то Ф.В. Булгарин поступал именно таким образом, и «Г. Ансело в своем путешествии, возбудившем в Париже общее внимание, провозгласил сего, еще несуществовавшего, Ивана Выжигина лучшим из русских романов» (XI, 203). Если А.А. Орлов «не хвалил самого себя в журналах, им самим издаваемых», то Ф.В. Булгарин — издатель «Северного Архива», «Северной пчелы» и «Сына Отечества» позаботился о своем сочинении: «Иван Выжигин существовал еще только в воображении почтенного автора, а уже в *Северном Архиве*, *Северной пчеле* и *Сыне Отечества* отзывались о нем с величайшей похвалою. <...> Наконец Иван Выжигин явился: *Сын Отечества*, *Северный Архив* и *Северная пчела* превознесли его до небес. <...> похвалы ему не умолкали в каждом номере *Сев. Архива*, *Сына Отеч.* и *Сев. пчелы*» (XI, 208). Если А.А. Орлов «не заманивал унижительными ласкательствами и пышными обещаниями подписчиков и покупателей», то журналы Ф.В. Булгарина «...ласково приглашали покупателей; ободряли, подстрекали ленивых читателей» (XI, 208). Ф.В. Булгарин — автор высоконравственных сочинений, доказывающих, «сколь не похвально лгать, красть, предаваться пьянству, картежной игре и тому под.» (XI, 207), представлен в конечном счете безнравственной личностью, человеком, совершающим низкие поступки.

Завершается статья Пушкина как классическая защитительная речь ссылкой на совесть тех, кто обвинял А.А. Орлова:

«Смело ссылаюсь на совесть самих издателей *Сев. пчелы*: справедливы ли сии критики? виноват ли Александр Анфимович Орлов?

Но еще смелее ссылаюсь на почтенного Николая Ивановича: не чувствует ли он глубокого раскаяния, оскорбив напрасно человека с столь отличным дарованием (и далее Пушкин цитирует Н.И. Греча, обратив против него его собственные слова, сказанные в адрес Н.И. Надеждина — *Н.М.*), *не состоящего с ним ни в каких сношениях, вовсе его не знающего и не писавшего о нем ничего дурного?*» (XI, 210). Обращение к совести Н.Ф. Кошанский называл среди риторических фигур, пленяющих сердце, замечая при этом, что так оканчивал свои речи и Цицерон.

По ходу изложения Пушкин создает образ оратора — почитателя Н.И. Греча и Ф.В. Булгарина, поклонника, друга и защитника А.А. Орлова. Он простодушен и искренен. Его речь убедительна и эмоциональна. Вместе с тем, при всей ее непосредственности, в ней есть определенная стилевая установка, отражающая литературные вкусы оратора. При этом нельзя не заметить, что это — антипушкинская, лишенная простоты, украшенная стилистика. Еще в 1822 году Пушкин осмелял тех писателей, которые «никогда не скажут дружба, не прибавя: сие

священное чувство, коего благородный пламень, и проч.» (XI, 18). Между тем пушкинский оратор говорит в своей речи: «Но дружба (сие священное чувство) слишком далеко увлекала пламенную душу Николая Ивановича...» (XI, 205). Созданный в таком антипушкинском стилевом ключе образ давал Пушкину возможность намека на пародийные параллели с собственными произведениями. Сравним:

Москва... как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!
(VI, 155)

«Больно для русского сердца слышать таковые отзывы о матушке Москве, о Москве белокаменной, о Москве, пострадавшей в 1612 году от поляков, а в 1812 году от всякого сброду» (XI, 206).

Главное же, образ оратора позволил Пушкину в литературной игре ораторскими стилями разоблачить своих противников, уничтожить их неотразимым оружием смеха.

Имя и фамилия оратора названы в конце статьи — Феофилакт Косичкин. Исследователи связывают их с полемическим намеком Пушкина на Н.И. Надеждина (225, 187). Н.И. Греч и Ф.В. Булгарин высмеивали происхождение Н.И. Надеждина из духовенства, его духовно-богословское

образование, преподавательскую деятельность в духовной семинарии. Как писал Н.И. Греч в цитируемой Пушкиным статье, «...издатель Телескопа растянулся плашмя, потряхивая косичкою» (158, 64). Отсюда фамилия — Косичкин. Что же касается имени Феофилакт (в переводе с греческого — боголюбивый, любимый Богом), то и в нем обнаруживается связь с Н.И. Надеждиным, знатоком древних языков, которого тем не менее Н.И. Греч и Ф.В. Булгарин объявляли отвергнутым и читателями, и Богом недоумком. Думается, однако, что в имени Феофилакт мог быть заключен еще один смысл: Феофилактом звали Малиновского, автора «Правил красноречия, в систематический порядок науки приведенных и Сократовым способом разположенных» (Спб., 1816), — не только фамилия, но и его имя стояло на титульном листе этой книги. Так, начав свою статью установкой на ораторскую речь, Пушкин заканчивает ее именем, которое носил создатель сочинения по теории красноречия.

Статья «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем», — еще одна напечатанная под именем Ф. Косичкина, — также обнаруживает связь с ораторской традицией. При этом Косичкин выступает здесь в иной ипостаси: это уже не доброжелательный, но рассерженный оратор, так как он заметил, что оскорбили не только его подзащитного, но и его самого. Речь Косичкина исполнена гнева — она поражает противника. Если в первой статье были только намеки на связь Ф.В. Булгарина с III

отделением (говорилось о его «гражданских занятиях»), на его темное прошлое (он сражался в 1812 году на стороне французов), то во второй статье, в пародии на болгаринские романы — в оглавлении будто бы готовящегося к печати «Настоящего Выжигина, историко-нравственно-сатирического романа XIX в.», грязные факты общественной и частной жизни Ф.В. Булгарина названы своими именами: «Московский пожар. Выжигин грабит Москву. <...> Выжигин ищет утешения в беседе муз и пишет пасквили и доносы» (XI, 214–215). Н.И. Греч кончал статью в «Сыне Отечества» заявлением о том, что он писал ее «для того, чтоб сорвать личину с шарлатанства» (158, 64), разумея под шарлатаном Н.И. Надеждина. Пушкин одну из глав «Настоящего Выжигина» назвал «Видок, или Маску долой!» (XI, 215), отослав тем самым читателей к своим эпиграммам, к статье «О записках Видока», где в Видоке он изобразил именно Ф.В. Булгарина.

Статья «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем» по сравнению со статьей «Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов» приобретает еще более острую направленность; по-видимому, в связи с этим в пародийную игру ораторскими формами Пушкин включил здесь и политическое красноречие. Е.И. Журбиной во второй статье Пушкина-Косичкина отмечено четырехкратное повторение мотива «Всей Европе известно» (177, 88):

«Всей Европе известно, что Телеграф состоит в добром согласии с Северной Пчелой и Сыном Отечества...» (XI, 212).

«Всему свету известно, что никто постояннее моего не следовал за исполинским ходом нашего века.

Сколько глубоких и блистательных творений по части политики, точных наук и чистой литературы вышло у нас из печати в течение последнего десятилетия (шагнувшего так далеко вперед) и обратило на себя справедливое внимание завидующей нам Европы!» (XI, 212).

«Г. Греч в журнале, с жадностью читаемом во всей просвещенной Европе, дает понимать, будто бы в мизинце его товарища более ума и таланта, чем в голове моей!» (XI, 212).

«Полагаю себя в праве объявить *во всеуслышание всей Европы*, что я ничьих мизинцев не убоюсь...» (XI, 212).

Источник указанного сатирического мотива Е.И. Журбина находит в письме Н.В. Гоголя к Пушкину от 21 августа 1831 года, где Н.В. Гоголь, излагая проект новой статьи Косичкина, включает в предполагаемое вступление к ней насмешливую фразу: «Россия, мудрости правления которой дивятся все образованные народы Европы, и проч., и проч., не могла оставаться также в одном положении» (XIV, 211). Но здесь нужно учесть и то, что пушкинский мотив близок по своему построению к конструкциям, характерным для правительственных манифестов. Ср.:

«Объявляем во всенародное известие. Всему свету ведомо есть и многими опытами дел наших повсюду доказано, что мы, приняв от промысла божия самодержавную власть Всероссийской империи, главнейшим правилом в царствование наше положили пещись о благосостоянии вверенных нам от всевышнего верноподданных, по намерениям и в угодность подателя всякого блага, творца, несмотря ни на какой род препятствия» — так начинался Манифест от 19 декабря 1774 года о преступлениях казака Пугачева (IX, 175).

«Бог и весь свет тому свидетель, с какими желаниями и силами неприятель вступил в любезное наше отечество» — первая фраза Манифеста от 25 декабря 1812 года об изгнании французских захватчиков за пределы России (77, 114).

Таким образом речь Ф. Косичкина пародийно приравнивалась к важнейшим государственным заявлениям, а литературное сражение тем самым уподоблялось политическим потрясениям и войнам.

Статьи Пушкина-Косичкина оказали влияние на революционно-демократическую публицистику, отразились в статьях В.Г. Белинского, Н.А. Добролюбова, А.И. Герцена, М.Е. Салтыкова-Щедрина (222, 468–469). Это не только свидетельствует о важности выявления ораторских приемов Пушкина-публициста, смысл которых дополняет и углубляет представление о многозначности его текстов, но и ставит

исследователя перед задачей дальнейшего изучения пушкинской риторической системы в ее соотношении с последующим развитием русской публицистической прозы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«...Мы, равнодушные к ораторскому искусству, лишаем себя одного из высших и благороднейших наслаждений, доступных человеку. Но если не хочется наслаждаться, то по крайней мере не мешало бы вспомнить, что во все времена богатство языка и ораторское искусство шли рядом. В обществе, где презирается истинное красноречие, царят риторика, ханжество слова или пошлое краснбайство. И в древности и в новейшее время ораторство было одним из сильнейших рычагов культуры. Немыслимо, чтобы проповедник новой религии не был в то же время и увлекательным оратором. Все лучшие государственные люди в эпоху процветания государств, лучшие философы, поэты, реформаторы были в то же время и лучшими ораторами. «Цветами» красноречия был усыпан путь ко всякой карьере, и искусство говорить считалось обязательным. Быть может, и мы когда-нибудь дождемся, что наши юристы, профессора и вообще должностные лица, обязанные по службе говорить не только учено, но и вразумительно и красиво, не станут оправдываться тем, что они «не умеют» говорить. В сущности, ведь для интеллигентнейшего человека дурно говорить должно бы считаться таким же неприличным, как не уметь читать и писать, и в деле образования и воспитания обучение красноречию следовало бы считать неизбежным» (314, 267) — так в 1893 году А.П. Чехов

приветствовал введение в Московском университете преподавания красноречия.

Рассуждение А.П. Чехова в полной мере может быть отнесено и к пушкинской эпохе, и к нашему времени. Если в эпоху Пушкина ораторское искусство было необходимо каждому образованному человеку, то в наше время эта необходимость лишь сейчас начинает остро ощущаться. Политика, философия, религия, наука, литература и вообще жизнь, которая нас окружает и в которой мы живем, слушая других людей и обращаясь ко многим другим людям, — все это невозможно без звучащего ораторского слова. Но чтобы оно было не только сказано, но и услышано, чтобы оно дошло до умов и сердец слушателей, стало действенной силой, нужно восстановить прерванную связь с культурой прошлого, обратиться к богатейшей многовековой ораторской культуре.

Сегодня можно говорить о том, что в нашей стране вновь пробудился интерес к риторике. Об этом свидетельствуют вышедшие в новых переводах риторические сочинения Цицерона, Аристотеля и других античных авторов (87; 15), недавно изданный сборник ораторских текстов «Красноречие Древней Руси» (46). Античное ораторское искусство — предмет исследований С.С. Аверинцева (92; 93 и др.). «Риторика» — так названа статья Ю.М. Лотмана (203). Проблемам риторики и стиля посвящен сборник статей под редакцией Ю.В. Рождественского,

объединивший работы сотрудников кафедры сравнительно-исторического, общего и прикладного языкознания МГУ (251). Вопросы теории и истории красноречия нашли свое освещение в учебниках, трудах Г.З. Апресяна, Е.А. Ножина и других исследователей (100; 218; 167 и др.).

Ряд подобных свидетельств возрождения интереса к ораторскому искусству, разумеется, можно было бы продолжить. И он будет продолжен не только теми работами, которые уже написаны и вышли в свет, но и теми статьями и монографиями, которые еще будут созданы и несомненно найдут своего издателя и читателя. Хотелось бы, чтобы среди них были и исследования ораторского искусства пушкинского времени, ораторских традиций, оказавшихся в творчестве Пушкина.

В нашей книге мы познакомили читателя с небольшой частью памятников русского красноречия первой трети XIX века, этого значительного явления русской культуры. За каждым из них — история и быт, люди и судьбы эпохи, ее живая жизнь, выраженная в ораторском слове. Конечно же, круг этих памятников, сохранивших ценность и значение и в наши дни, может и должен быть расширен. Конечно же, русское красноречие пушкинского времени может и должно изучаться и изучаться.

В нашей книге мы познакомили читателя с некоторыми результатами предпринятого нами исследования. Пушкин-поэт, прозаик, критик и публицист предстал перед нами и как

выдающийся оратор, мастер ораторского слова, обращенного и к его современникам, и к нам, его потомкам. И все же, хотя в нашей книге есть заключение, сама книга — лишь начало изучения творческого наследия Пушкина в контексте ораторской культуры.

1989

ЦИТИРУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

МВ — Московские ведомости

ОА — Остафьевский архив князей Вяземских

РА — Русский архив

РС — Русская старина

СО — Сын Отечества

СпбВ — Санкт-Петербургские ведомости

ЦГАДА — Центральный государственный архив древних

актов

I

1. Августин, архиепископ. Слово при отпевании ея сиятельства генерал-лейтенантши, Ордена Святыя Екатерины кавалерственной Дамы, княгини Анны Александровны Голицыной, урожденной Баронессы Строгановой, произнесенное Синодальным членом, управляющим Московскою Митрополиею Преосвященным Августином, Архиепископом Дмитровским, Свято-Троицкия Сергиевы Лавры Архимандритом и кавалером 1816 года, апреля 25 дня. М., 1816.

2. Августин, епископ. Слово, говоренное при погребении его сиятельства князя Павла Михайловича Дашкова

Преосвященным Августином, епископом Дмитровским, викарием Московским, 1807 года. М., 1807.

3. Августин, епископ. Слово, говоренное при погребении его сиятельства господина Канцлера и разных орденов Кавалера Графа Ивана Андреевича Остермана преосвященным Августином. Епископом Дмитровским, Викарием Московским и Кавалером 1811 года, апреля 23 дня. М., 1811.

4. Августин, епископ. Слово к жителям Москвы, пострадавшим от жестокого и хищного врага человечества // МВ. 1812. № 98.

5. Августин, епископ. Слово при совершении годичного поминовения по воинам, за Веру и Отечество на брани Бородинской живот свой положивших, говоренное Преосвященным Августином, Епископом Дмитровским, викарием Московским и Орденов Св. Александра Невского и Св. Анны I класса Кавалером, 1813 года, августа 26 дня в Московском Сретенском монастыре. М., 1813.

6. Августин, епископ. Слово в Высокоторжественный День Высочайшего Тезоименитства Его императорского Величества Государя Императора и Самодержца Всероссийского Александра I и по освящении большого Успенского собора, говоренное Преосвященным Августином, Епископом Дмитровским, Викарием Московским и Орденов Св. Александра Невского и Св. Анны I

класса Кавалером, в означенном Успенском соборе 1812 года, августа 30 дня. М., 1813.

7. Августин, епископ. Слово на высокаторжественный день священной коронации Его Императорского Величества, Благочестивейшего Государя Императора Александра I, говоренное Преосвященным Августином, Епископом Дмитровским, Викарием Московским и Орденов Св. Александра Невского и Св. Анны I класса Кавалером в большом Успенском соборе 1813 года, сентября 13 дня. М., 1813.

8. Августин, епископ. Слово по случаю знаменитой и вечно-славной победы, одержанной при Лейпциге Российскими и Союзными войсками над французской армиею, перед начатием благодарственного Господу Богу молебствия, произнесенное в Московском большом Успенском соборе 1813 года, ноября 29 дня. М., 1813.

9. Августин, епископ. Слово перед начатием благодарственного Господу Богу молебствия по случаю покорения французской столицы победоносными Российскими и союзными войсками, произнесенное Преосвященным Августином, Епископом Дмитровским, Викарием Московским и разных орденов Кавалером, в Московском большом Успенском Соборе, апреля 23 дня 1814 года // СО. 1814. Ч. 14. XXIV.

10. Августин, епископ. Слово по случаю заключения вожделенного и вечнославного мира победоносной России с

Франциею и восстановления свободы и спокойствия во всей Европе перед начатием благодарственного Господу Богу молебствия, произнесенное Преосвященным Августиним, Епископом Дмитровским, Викарием Московским и разных орденов Кавалером в Московском большом Успенском соборе 1814 июля 21 дня // СО. 1814. Ч. 16. № XXXIII.

11. Речь императора Александра Павловича в первом заседании Государственного совета 1 января 1810 года // РС. 1872. Т. 5. № 3.

12. Амвросий, епископ. Слово, говоренное преосвященным Амвросием, епископом Тульским и Белевским, к сочетанным браком в Туле, по случаю заключенного мира между Россиею и Франциею, благотворением Московского первостатейного купца Федора Васильевича Ливенцова, июля 20 дня, 1814 года. М., 1814.

13. Амвросий, митрополит. Собрание поучительных слов, в разное время проповеданных Амвросием, митрополитом Новгородским и Санкт-Петербургским. 2-е изд. М., 1816. Ч. 1–3.

14. Анекдоты или достопамятные сказания о его светлости генерал-фельдмаршале князе Михаиле Ларионовиче Голенищеве-Кутузове Смоленском. Начиная с первых лет его службы до кончины, с приобщением некоторых его писем, достопамятных его речей и приказов. Спб., 1814.

15. Античные риторики. М., 1978.

16. Антоний, епископ. Слово на погребение Его Превосходительства, Г. Гражданского Воронежского губернатора, Тайного Советника и разных орденов Кавалера, Александра Борисовича Сонцова, говоренное в Кафедральном Архангельском Соборе Преосвященным Антонием, Епископом Воронежским и Черкасским и Кавалером, 1811 года, февраля, 23 дня. М., 1811.

17. Антоний, архиепископ. Слова и речи на торжества, при особенных случаях говоренные Антонием, архиепископом Подольским и Брянцлавским и Кавалером. М., 1825. Ч. 1.

18. Арзамас и арзамасские протоколы / Вводная ст., ред. протоколов и примеч. к ним М.С. Боровковой-Майковой. Л., 1933.

19. Аристотель. Риторика // Античные риторики. М., 1978.

20. Батюшков К.Н. Речь о влиянии легкой поэзии на язык, читанная при вступлении в Общество любителей русской словесности в Москве июля... 1816 // Батюшков К.Н. Опыты в стихах и прозе. М., 1977.

21. Беседа русского с соотчичами своими на развалинах Москвы // СО. 1812. № 6.

22. Боголепов И. Слово на кончину госпожи статской советницы Елизаветы Семеновны Смольянской, последовавшую 20 июня 1821 года, сочиненное студентом Академии Иваном Боголеповым. М., 1821.

23. Надгробные слова Боссюэта, епископа Мосского. Спб., 1822.

24. Бужинский Гавриил, епископ Рязанский и Муромский. Слово в похвалу Санкт-Петербурга и его Основателя, Государя Императора Петра Великого, говоренное пред лицом сего Монарха, Преосвященным Гавриилом Бужинским, Епископом Рязанским и Муромским, бывшим тогда Префектом и Обер Иеромонахом флота, при поднесении Его Величеству первовырезанного на меди плана и фасада Петербургу. Спб., 1772.

25. Виноградов Захарий, священник. Слово о погребении действительной статской советницы и кавалерственной дамы Маргариты Александровны Волковой, говоренное Георгиевским, что на Красной горке при Университете священником Захарием Иаковлевым Виноградовым, в церкви Николая Чудотворца, что в Хлынове, ноября 3 дня 1820 года. М., 1820.

26. Воззвание Александра I от 6 июля 1812 г. // МВ. 1812. №56.

27. Воззвание к Пруссакам / Пер. с нем. // СО. 1813. Ч. 4. № 8.

28. Воззвание Св. Синода, произнесенное в Казанской соборной церкви Митрополитом Амвросием 17 июля 1812 г. // МВ. 1812. № 60.

29. Галич А.И. Теория красноречия для всех родов прозаических сочинений, извлеченная из немецкой библиотеки словесных наук А. Галичем. Спб., 1830.

30. Геннадий, игумен. Слово в высокаторжественный день рождения Ее Императорского Величества, Благочестивейшая Государыни Императрицы Елизаветы Алексеевны, говоренное в Московском большом Успенском Соборе, Префектом Знаменского монастыря игуменом Геннадием 1809 года, генваря 13 дня. М., 1809.

31. Гермоген, архимандрит. Надгробное слово при погребении статской советницы Елизаветы Семеновны Смольянской, произнесенное в Сергиевской церкви, что в Рогожской, Спасо-Андрониевского монастыря Архимандритом и Кавалером Гермогеном, 1821 года, июня 22 дня. М., 1821.

32. Георгиевский П.Е. Руководство к изучению русской словесности... Спб., 1936. Ч. 2.

33. Глинка Ф.Н. Речь на годичном собрании Вольного общества любителей российской словесности 29 декабря 1824 г. // Соревнователь просвещения и благотворения. 1825. № 2.

34. Гнедич Н.И. Рассуждение о причинах, замедляющих успехи нашей словесности. Спб., 1814.

35. Греч Н.И. Учебная книга русской словесности, или Избранные места из русских сочинений и переводов в стихах и прозе, с присовокуплением Кратких правил риторики и пиитики и истории русской литературы. 2-е изд. Спб., 1830. Ч. 1.

36. Евгений, епископ. Слово на день торжественного воспоминания и Господу Богу благодарения о поражении врагов

Отечества нашего и о прогнании их из пределов Калужския губернии, проповеданное в Калужской Иоаннопредтеченской церкви Окт. 12. 1813 года Епископом Калужским и Боровским и Кавалером Евгением. М., 1813.

37. Евграф, архимандрит. Слово, говоренное при погребении Бригадира Петра Алексеевича Булгакова, бывшим Троицкой Лаврской Семинарии Ректором и Волоколамского Иосифова монастыря Архимандритом Евграфом Московской Епархии в селе Подсосенье 1806 года, ноября 11 дня. М., 1810.

38. Загорский Н., протоиерей. Речь, говоренная в Рижском Петропавловском соборе Протоиереем Николаем Загорским при праздновании заключения мира с Франциею. Июня 21, 1814 // СО. 1814. Ч. 16. № 33.

39. Известия из армии от 30 сентября 1812 г. // МВ. 1812. № 100.

40. Карамзин Н.М. Речь, произнесенная в торжественном собрании Императорской Российской Академии 5 декабря 1818 г. // Соч. 3-е изд. М., 1820. Т. 9.

41. Кирилл, архиепископ Вятский. Собрание некоторых поучительных слов и речей. М., 1832.

42. Кошанский Н.Ф. Общая Реторика. 3-е изд. Спб., 1834.

43. Кошанский Н.Ф. Частная Реторика. 3-е изд. Спб., 1836.

44. Кошанский Н.Ф. Частная Реторика. 4-е изд. Спб., 1837.

45. Краткое пастырское увещание о прививании предохранительной коровьей оспы. Спб., 1829.

46. Красноречие Древней Руси / Вступ. ст. и коммент. Т.В. Черторицкой. М., 1987.

47. Кюхельбекер В.К. Речь о русской литературе и русском языке, прочитанная в Париже в июне 1821 г. // Лит. наследство. М., 1954. Т. 59.

48. Лицейские лекции (по записям А.М. Горчакова) / Публ. Б.С. Мейлаха // Красный архив. 1937. № 1.

49. Ломоносов М.В. Похвальное слово Петру Великому // Ломоносов М.В. Полн. собр. соч. М.; Л., 1959. Т. 8.

50. Малиновский Ф. Правила красноречия, в систематический порядок приведенные и Сократовым способом расположенные. Спб., 1816.

51. Манифест от 6 июля 1812 г. // МВ. 1812. № 57.

52. Манифест от 3 ноября 1812 г. // Прибавление к СпбВ. 1812. № 90.

53. Манифест от 25 декабря 1812 г. // Толмачев Я.В. Военное красноречие. Спб., 1825.

54. Манифест от 13 июля 1826 г. // МВ. 1826. № 59.

55. Мерзляков А.Ф. Краткая риторика, или Правила, относящиеся ко всем родам сочинений прозаических. 3-е изд. М., 1821.

56. Мысли и правила Бонапарте // СО. 1812. Ч. 2. № 8.

57. Речь императора Николая I к народу по случаю беспорядка в С.-Петербурге, во время холеры 1831 года // Чтения в обществе Истории и Древностей Российских. 1866. № 3.

58. Никольский А.С. Основания российской словесности. 2-е изд. Спб., 1809. Ч. 2.

59. О речах, говоренных в Париже Наполеоном // СО. 1813. Ч. 3. № 111.

60. Облик, или Портрет Великого Князя Святослава Игоревича, писанный современником его Византийским Историком Львом Дьяконом, по словам очевидца // СО. 1814. 4.2. №2.

61. Поликарп, архимандрит. Беседы и слова, сочиненные Московской Духовной Академии Ректором, Первоклассного Ставропигиального Новоспасского Монастыря Архимандритом Поликарпом. М., 1835.

62. Прокопович Ф. Слова и речи... Спб., 1760. Ч. 1.

63. Последний бюллетень Бонапарта // СО. 1814. Ч. 12. № 17.

64. Приказ Александра I по армиям от 27 июня 1812 г. // МВ. 1812. № 55.

65. Размышления о речи Г. Фонтана и об ответе Наполеона Сенату // СО. 1814. Ч. 2. № 5.

66. Ростопчин Ф.В. Сообщение от 18 августа 1812 г. // МВ. 1815. № 68.

67. Рескрипт Александра I графу Ф.В. Ростопчину от 11 ноября 1812 г. // МВ. 1812.

68. Речь Новгородского гражданского губернатора к дворянству 12 августа 1812 г. // МВ. 1812. № 69.

69. Речи, произнесенные при открытии Императорского Царскосельского лицея. Спб., 1811.

70. Речи, произнесенные в торжественных собраниях Императорского Московского университета русскими профессорами оног с краткими их жизнеописаниями. М., 1819. Ч. 1; М., 1821. Ч. 3.

71. Руководство к церковному красноречию, с примерами из Священного Писания, Святых Отец и славнейших Ораторов Христианских. Сочинение полезное для духовных училищ и для младых Священнослужителей, посвятивших себя проповеданию Слова Божия / Пер. с иностранного. I. 3-е изд. М., 1833.

72. Русские анекдоты // СО. 1813. Ч. 3. № 6.

73. Симеон, архимандрит. Речь при отправлении поминовения православных воинов, за Веру и Отечество живот свой положивших 1812 года, августа 26 дня во брани под селом Бородиным, на том самом месте, где была главная батарея Российской армии, говоренная Святейшего Правительственного Синода Конторы Членом, Ставропигиального Законоспасского училищного монастыря Архимандритом, Московской Славяно-

Греко-Латинской Академии Ректором и Кавалером Симеоном, августа 26 дня, 1813 года. М., 1813.

74. Сперанский М. М. Правила высшего красноречия. Спб., 1844.

75. Тимковский Р.Ф. Торжество Московских Муз, праздновавших громкие победы и достославное покорение гордой столицы Франции, апреля 25-го, 1814 года // СО. 1814, Ч. 14. № 20.

76. Тихомиров А. Слово на всерадостнейшее торжество о заключении всеобщего в Европе мира, празднованное в Калуге июня 27 1814 года. Говорено по прочтении Высочайшего Манифеста в Калужском Соборе учителем поэзии А. Тихомировым // СО. 1814. Ч. 15. № 30.

77. Толмачев Я. В. Военное красноречие, основанное на общих началах словесности, с присовокуплением примеров в разных родах оного. Спб., 1825.

78. Феофан, архимандрит. Слово, произнесенное в Москве в приходской церкви положения Ризы Господней 9-го ноября 1835 года, при погребении скончавшегося 6-го того же ноября Коммерции Советника и разных орденов Кавалера Михаила Ивановича Титова, архимандритом Донского Монастыря Феофаном, в присутствии Преосвященнейшего Исидора, Епископа Дмитровского, совершавшего в сей день в оном Храме литургию // ЦГА-ДА, ф. 381, ед. хр. 761.

79. Филарет, архимандрит. Слово, говоренное при гробе князя Смоленского архимандритом Филаретом в день погребения 13 июня 1813 г. в Казанском соборе // СО. 1813. Ч. 6. № 26.

80. Филарет, архимандрит. Слово, говоренное в Благовещенской церкви Святотроицкой Александровской лавры в высочайшем присутствии Его Императорского Величества Благочестивейшего Государя Императора Александра Павловича и их Императорских Высочеств Государей Великих Князей Цесаревича Константина Павловича и Михаила Павловича пред отпеванием тела покойного и Его Императорского Величества Генерал-адъютанта, командовавшего Лейб-гвардии 2-ю Дивизией, Российских Орденов Св. Александра Невского, Св. великомученика и победоносца Георгия 2 класса, Св. Равноапостольского Князя Владимира 2 степени большого креста и Св. Анны I класса Кавалера, иностранного ордена Св. Иоанна Иерусалимского командора и проч. графа Павла Александровича Строганова в 5 день июля сего года Санкт-Петербургской Духовной Академии Ректором Архимандритом Филаретом. Спб., 1817.

81. Филарет, митрополит. Слово в день обретения мощей иже во святых отца нашего Алексия митрополита Московского и всея России чудотворца и по случаю возвращения к Московской пастве, говоренное 20 мая 1830 г. // Чтения в Московском обществе любителей духовного просвещения. М., 1871. Кн. 13.

82. Филарет, митрополит. Слово в день Тезоименитства Благословенного государя, наследника Цесаревича В.К. Александра Николаевича, говоренное в Успенском Соборе 30 авг. 1830 г. // Чтения в Московском обществе любителей духовного просвещения. М., 1871. Кн. 13.

83. Филарет, митрополит. Речь Благочестивейшему Государю Императору Николаю Павловичу пред Высочайшим вшествием в Большой Успенский собор в 29 день сентября 1830 года, говоренная Синодальным членом, Филаретом, Митрополитом Московским // МВ. 1830. № 8.

84. Филарет, митрополит. Слова и речи, во время управления московского паствою говоренные, и житие преподобного Сергия Радонежского и всея России чудотворца из достоверных источников почерпнутое Синодальным членом Филаретом, Митрополитом Московским. М., 1835.

85. Фукс Е. Б. О военном красноречии. Спб., 1825.

86. Цицерон. Речи. В 2 т. М., 1962.

87. Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве. М., 1972.

88. Шишков А.С. Речь в собрании членов Главного управления училищ в 1824 г. // СпбВ. № 101.

89. Язвительные насмешки ораторов Французских // СО. 1813. Ч. 3. № 6.

90. Ярославский Иосиф, протоиерей. Слово на всерадостный день отправляемого в городе Петрозаводске торжества о взятии столицы Французской, говоренное тамошнего Духовного Училища Ректором Протоиереем Иосифом Ярославским в Соборной церкви, мая 3 1814 года // СО. 1814. Ч. 12. № 23.

II

91. Аверинцев С.С. Спасение // Философская энциклопедия. М., 1970. Т. 5.

92. Аверинцев С.С. Риторика как подход к обобщению действительности // Поэтика древнегреческой литературы. М., 1981.

93. Аверинцев С.С. Античный риторический идеал и культура Возрождения // Античное наследие в культуре Возрождения. М., 1984.

94. Адамов Е.А. Выдающиеся русские ораторы. М., 1961.

95. Акимов Г.Н. Стилистические и синтаксические особенности ораторской прозы XVIII века (на материале похвальных слов Ломоносова и Сумарокова) // Язык русских писателей XVIII века. Л., 1981.

96. Аксаков С.Т. Воспоминание об Александре Семеновиче Шишкове // Аксаков С.Т. Собр. соч.: В 4 т. М., 1955. Т. 2.

97. Алексеев М.П. Стихотворение Пушкина «Я памятник себе воздвиг...» Л., 1967.
98. Алексеев М.П. К тексту стихотворения «Во глубине сибирских руд...» // Алексеев М.П. Пушкин. Сравнительно-исторические исследования. Л., 1984.
99. Анненков П.В. Материалы для биографии А.С. Пушкина. М., 1984.
100. Апресян Г.З. Ораторское искусство. М., 1972.
101. Артболевский Г.В. Очерки по художественному чтению. М., 1959.
102. Асоян А.А. Эпиграмматические стихи в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин» // Болдинские чтения. Горький, 1983.
103. Атений. 1828. Ч. 1. №4.
104. Ахматова А.А. Пушкин и Невское взморье // Ахматова А.А. О Пушкине: Статьи и заметки. Л., 1977.
105. Бабаев Э.Г. Из истории русского романа XIX века: Пушкин, Герцен, Толстой. М., 1984.
106. Батюшков К.Н. Опыты в стихах и прозе. М., 1977.
107. Базанов В.Г. Очерки декабристской литературы: Публицистика. Проза. Критика. М., 1953.
108. Базанов В.Г. Очерки декабристской литературы: Поэзия. М.; Л., 1961.
109. Бахтин М.М. Слово в романе // Вопр. лит. 1965. № 8.

110. Бахтин М.М. Из предыстории романного слова // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.
111. Белинский В.Г. Полн. собр. соч. М., 1953. Т. 1; М., 1955. Т. 7.
112. Берковский Н.Я. О «Повестях Белкина» // О русском реализме XIX века и вопросах народности литературы. М.; Л., 1960.
113. Бестужев-Марлинский А.А. Соч.: В 2 т. М., 1981.
114. Библиотека для чтения. 1836. Т. 16.
115. Благой Д.Д. Творческий путь Пушкина (1813–1826). М.; Л., 1950.
116. Благой Д.Д. Мицкевич и Пушкин. // Изв. АН СССР. Отд. лит. и языка. М., 1956. Вып. 4. Т. 15.
117. Благой Д.Д. Пушкин и русская литература XVIII века // Благой Д.Д. Литература и действительность. М., 1959.
118. Благой Д.Д. Джон Беньян, Пушкин и Лев Толстой // Пушкин: Исслед. и материалы. М.; Л., 1962. Т. 4.
119. Благой Д.Д. От «Евгения Онегина» к «Герою нашего времени» (к вопросу о художественном методе Лермонтова) // Благой Д.Д. От Кантимира до наших дней. 2-е изд. М., 1979. Т. 1.
120. Боборыкин П.Д. Воспоминания. М., 1965, т. 1.
121. Боров Ю.Б. Искусство интерпретации и оценки: Опыт прочтения «Медного всадника». М., 1981.

122. Боровский Я.М. Необъясненные латинские тексты у Пушкина // Временник Пушкинской комиссии. 1972. Л., 1974.
123. Бонди С.М. Примеч. и объяснительные статьи // Пушкин А.С. «Евгений Онегин». М., 1964.
124. Бонди С.М. Подлинный текст и политическое содержание «Воображаемого разговора с Александром I» // Бонди С.М. Черновики Пушкина. М., 1971.
125. Бочаров С.Г. Поэтика Пушкина: Очерки. М., 1974.
126. Бочаров С.Г. «О смысле «Гробовщика» (к проблематике интерпретации произведения) // Контекст. 1973: Литературно-теоретические исследования. М., 1974.
127. Бродский Н.Л. «Евгений Онегин». Роман А.С. Пушкина: Пособие для учителя. 5-е изд. М., 1964.
128. Брюсов В.Я. «Медный всадник» // Брюсов В.Я. Ремесло поэта: Статьи о русской поэзии. М., 1981.
129. Вацуро В.Э. Из разысканий о Пушкине. // Временник Пушкинской комиссии. Л., 1974.
130. Вацуро В.Э. «Северные цветы»: История альманаха Дельвига — Пушкина. М., 1978.
131. Вацуро В.Э. Вступительная ст. и примеч. // Пушкин А.С. Повести Белкина. М., 1981.
132. Вершинина Н.Л. Традиции «Евгения Онегина» в «Войне и мире» Л.Н. Толстого / Пушкинский сборник. Л., 1977.

133. Вигель Ф.Ф. Записки // РА. 1892. Ч. 6. Кн. 2
(Приложение).
134. Вигель Ф.Ф. Записки. М., 1928.
135. Видова О.И. Поэтическая функция элегии в лироэпических произведениях А.С. Пушкина «Кавказский пленник», «Евгений Онегин». Томск, 1984.
136. Виноградов В.В. О стиле Пушкина // Лит. наследство. М., 1934. Кн. 16/18.
137. Виноградов В.В. Язык Пушкина. М.; Л.: 1935.
138. Виноградов В. В. Стиль Пушкина. М., 1941.
139. Виноградов В.В. Пушкин и русский литературный язык XIX века // Пушкин — родоначальник новой русской литературы. М.; Л., 1941.
140. Виноградов В.В. К изучению языка и стиля пушкинской прозы: Работа Пушкина над повестью «Станционный смотритель» // Рус. яз. в школе. 1949. № 9.
141. Виноградов В.В. Стиль и композиция первой главы «Евгения Онегина» // Рус. яз. в школе, 1966. № 4.
142. Виноградов В.В. О теории художественной речи. М., 1971.
143. Виноградов В.В. О художественной прозе // Виноградов В.В. Избранные труды. О языке художественной прозы. М., 1980.

144. Винокур Г.О. Слово и стих в «Евгении Онегине» // Пушкин. М., 1941.
145. Владимирский Г.Д. Пушкин-переводчик // Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1939. Т. 45.
146. Воробьев В. Язык Пугачева в повести «Капитанская дочка» А.С. Пушкина // Рус. яз. в школе. 1953. № 5.
147. Вяземский П.А. Письмо к А.И. Тургеневу от 28 августа 1819 г. // ОА. Спб., 1899. Т. 1.
148. Вяземский П.А. Полн. собр. соч. Спб., 1883. Т. 7.
149. Вяземский П.А. Записные книжки (1813–1848). М, 1963.
150. Вяземский П.А. Мицкевич о Пушкине // Вяземский П.А. Эстетика и литературная критика. М., 1984.
151. Гаевский В.П. Пушкин в Лицее и лицейские его стихотворения // Современник. 1863. № 7.
152. Гиллельсон М.И., Мушина И.Б. Повесть А.С. Пушкина «Капитанская дочка»: Комментарии. Л., 1977.
153. Гинзбург Л.Я. О лирике. Л., 1964.
154. Гозенпуд А.А. Пушкин и русский театр десятих годов XIX в. // Пушкин: Исслед. и материалы. Л., 1986. Т. 12.
155. Городецкий Б.П. Лирика Пушкина. М.; Л. 1962.
156. Грехнев В.А. Болдинская лирика А.С. Пушкина. Горький, 1977.
157. Грехнев В.А. Лирика Пушкина. Горький, 1985.

158. Греч Н.И. Литературные замечания // СО. 1831. № 27.
159. Григорьева А.Д. Язык лирики Пушкина 30-х годов // Григорьева А.Д., Иванова Н.Н. Язык лирики XIX в.: Пушкин. Некрасов. М., 1981.
160. Гроссман Л.П. Устная новелла Пушкина // Гроссман Л.П. Этюды о Пушкине. М., 1923.
161. Гроссман Л.П. Онегинская строфа // Пушкин: Сб. 1. М., 1924.
162. Гроссман Л.П. Пушкин. М., 1963.
163. Голуб А.В. Язык указов Пугачева: Автореферат канд. диссертации. М., 1950.
164. Городецкий Б.П. Лирика Пушкина. М.; Л., 1962.
165. Гукасова А.Г. «Повести Белкина» Пушкина. М., 1949.
166. Гуковский Г.А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957.
167. Гурвич С.С, Погорилко В.Ф., Герма М.А. Основы риторики. Киев, 1978.
168. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1956. Т. 2.
169. Декабристы: Поэзия. Драматургия. Проза. Публицистика. Литературная критика. М.; Л., 1951.
170. Державин Г.Р. Стихотворения. Л., 1957.
171. Добролюбов Н.А. Полн. собр. соч., М., 1934. Т. 1.

172. Елеонский С.Ф. Пугачевские указы и манифесты как памятники литературы // Художественный фольклор. М., 1929. Т. 4–5.

173. Еремин М. Пушкин-публицист. 2-е изд. М., 1976.

174. Еремина Л. Почему всадник — Медный? // Наука и жизнь. 1978. № 2.

175. Жихарев С.П. Записки современника. М.; Л., 1955.

176. Жуковский В.А. Певец во стане русских воинов. // Собр. стихотворений, относящихся к незабвенному 1812 году. М., 1814. Ч. 1.

177. Журбина Е.И. Повесть с двумя сюжетами. 2-е изд. М., 1979.

178. Зилитинкевич В.С. Еще об источниках стихотворения А.С. Пушкина «Как с древа сорвался предатель ученик...» // Проблемы современного пушкиноведения. Л., 1981.

179. Иезуитова Р.В. Светская повесть // Русская повесть XIX века. Л., 1973.

180. Иезуитова Р.В. Жанр устного рассказа в творчестве Жуковского и Пушкина 1830-х годов // Иезуитова Р.В. Жуковский и его время. Л., 1989.

181. Измайлов Н.В. Стихотворение Пушкина «Мирская власть» в связи с находкой его автографа // Изв. АН СССР. Отд. лит. и яз. 1954. Вып. 6. Т. 13.

182. Измайлов Н.В. Лирические циклы в поэзии Пушкина 30-х годов // Пушкин: Исслед. и материалы. М.; Л., 1958. Т. 2.
183. Измайлов Н.В. Очерки творчества Пушкина. Л., 1976.
184. Измайлов Н.В. «Медный всадник» А.С. Пушкина: История замысла и создания, публикации и изучения. Документальные материалы о петербургском наводнении 7 ноября 1824 г. Литературный фон поэмы. Примеч. к тексту // Пушкин А.С. Медный всадник. Л., 1978.
185. Илюшин А.А. «Божественная комедия» в русской литературе XIX в. // Дантовские чтения, 1968. М., 1968.
186. Карамзин Н.М. Полн. собр. стихотворений. М.; Л., 1966.
187. Кока Г.М. Пушкин о полководцах двенадцатого года // Прометей. М., 1969. Т. 7.
188. Кочеткова Н.Д. Ораторская проза Феофана Прокоповича и пути формирования литературы классицизма // XVIII век: Проблемы литературного развития в России первой трети XVIII века. Л., 1974. Сб. 9.
189. Кочеткова Н.Д. Ораторская проза декабристов и традиции русской литературы XVIII века (А.Н. Радищев) // Литературное наследие декабристов. Л., 1975.
190. Кулешов В.И. Жизнь и творчество А.С. Пушкина. М., 1987.

191. Левин В.Д. О стиле «Медного всадника» // Изв. АН СССР. 1974. Т. 33. № 3. (Серия литературы и языка).
192. Левкович Я.Л. Лицейские годовщины // Стихотворения Пушкина 1820–1830-х годов. Л., 1974.
193. Лежнев А.З. Проза Пушкина: Опыт стилистического исследования. 2-е изд. М., 1966.
194. Ленобль Г.М. К истории создания «Медного всадника» // Ленобль Г.М. История и литература. 2-е изд. М., 1977.
195. Лернер Н.О. «Полководец» // Пушкин А.С. Соч. / Под ред. С.А. Венгерова. Пг. 1915. Т. 4.
196. Листов В.С. К истолкованию пушкинского автографа с десятью темами // Болдинские чтения. Горький, 1984.
197. Листов В.С. Из творческой истории стихотворения «Герой» // Временник Пушкинской комиссии. 1981. Л., 1985.
198. Листов В.С. К истории стихотворения А.С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг» (В печати).
199. Ломоносов М.В. Избр. произведения. М.; Л., 1965.
200. Лотман Ю.М. Походная типография штаба Кутузова и ее деятельность // 1812 год: К столетию Отечественной войны. М., 1962.
201. Лотман Ю.М. Роман в стихах Пушкина «Евгений Онегин»: Спецкурс. Вводные лекции в изучение текста. Тарту, 1975.

202. Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий. Л., 1980.
203. Лотман Ю.М. Риторика // Тр. по знаковым системам. XII. Тарту, 1981.
204. Лотман Ю.М. Александр Сергеевич Пушкин: Биография писателя. Л., 1982.
205. Маймин Е.А. Полифонизм художественного мышления в поэме «Медный всадник» // Болдинские чтения. Горький, 1980.
206. Маймин Е.А. Пушкин: Жизнь и творчество. М., 1981.
207. Мандельштам О.Э. Разговор о Данте. М., 1984.
208. Мануйлов В.А. и Модзалевский Л.Б. «Полководец» Пушкина // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1939. Т. 4/5.
209. Мейлах Б.С. Пушкин и русский романтизм. М., 1937.
210. Мейлах Б.С. Пушкин и его эпоха. М., 1958.
211. Мейлах Б.С. «С Гомером долго ты беседовал один» // Стихотворения Пушкина 1820–1830-х годов. Л., 1974.
212. Мейлах Б.С. Талисман: Книга о Пушкине. М., 1975.
213. Meijer Jan M. The Sixth Tale of Belkin // The Tales of Belkin by A.S. Pushkin. 1968. Mouton. The Hague.
214. Михайлова Н.И. «Евгений Онегин» и «Московский Европеец»: О прозаической пародии на роман в стихах // Пушкин: Исслед. и материалы. Л., 1979. Т. 9.
215. Моск. вестник. 1828. Ч. 8. № 5.

216. Nabokov V. Eugene Onegin: A Novel in Verse by Aleksander Pushkin. N. Y., 1964. V. 2.

217. Новые русские книги // Современник. Спб. 1836. Т. 2.

218. Ножин Е.А. Основы современного ораторского искусства. М., 1973.

219. ОА. Спб., 1899. Т. 3.

220. Одоевский В.Ф. Повести и рассказы. М., 1959.

221. Оксман Ю.Г. Может ли быть раскрыт пушкинский план «Влюбленного беса»? // Атений. Л., 1924. Кн. 1–2.

222. Оксман Ю.Г. Пушкин — литературный критик и публицист // Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. М., 1962. Т. 1, 6.

223. Орлов М.Ф. Капитуляция Парижа: Политические сочинения. Письма. М., 1963.

224. Орнатская Т.И. Рассказы Е.П. Яньковой, записанные Д.Д. Благово // Рассказы бабушки. Из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные ее внуком Д. Благово. Л., 1989.

225. Осовцев С. Родословная Феофилакты Косичкиной. Нева. 1969. № 6.

226. Осповат А. Л. Вокруг «Медного всадника» // Изв. АН СССР. 1984. Т. 43. № 3. (Сер. литературы и языка).

227. Переписка Александра Ивановича Тургенева с кн. Петром Андреевичем Вяземским. Пг., 1921. Т. 1.

228. Петрунина Н.Н. «Полководец» // Стихотворения Пушкина 1820–1830-х годов. Л., 1974.

229. Петрунина Н.Н. «Напрасно я бегу к сионским высотам...» // Петрунина Н.Н., Фридлендер Г.М. Над страницами Пушкина. Л., 1974.

230. Петрунина Н.Н. Проза Пушкина: Пути эволюции. Л., 1987.

231. Пеуранен Э. Лирика А.С. Пушкина 1830-х годов. Поэтика: темы, мотивы, жанры поздней лирики. Ювяскюля, 1978.

232. Писная В.Н. Фабула «Уединенного домика на Васильевском» // Пушкин и его современники. Вып. 31/32. Л., 1927.

233. Почетная В. В. Петровская тема в ораторской прозе начала 1740-х годов //XVIII век: Проблемы литературного развития в России первой трети XVIII века. Л., 1974. Сб. 9.

234. Пумпянский Л.В. «Медный всадник» и поэтическая традиция XVIII в. // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1939. Вып. 4–5.

235. Пумпянский Л.В. Ломоносов и немецкая школа разума // XVIII век: Русская литература XVIII — начала XIX века в общественно-культурном контексте. Л., 1983. Сб. 14.

236. Пушкин В.Л. Стихи. Проза. Письма. М., 1989.

237. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники / Статьи и материалы Я. Грота. Спб., 1899.

238. Пушкин: Итоги и проблемы изучения. Л., 1966.
239. Пушкин: Исслед. и материалы (Пушкин и русская культура). Л., 1967. Т. 5.
240. Пушкин: Исслед. и материалы (Реализм Пушкина и литература его времени). Л., 1969. Т. 6.
241. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1985.
242. Пуштин И.И. Записка о Пушкине. Письма. М., 1956.
243. РА. 1865.
244. РА. М., 1902. Кн. 3.
245. РА. 1903. Кн. 1.
246. Радужицкий И. Походные записки артиллериста, с 1812 по 1816 год, артиллерия подполковника И... Р... М., 1835. Ч. 1.
247. Репертуар драматических групп Петербурга и Москвы 1750–1800 // История русского драматического театра: В 7 т. М., 1977. Т. 1.
248. Репертуар драматических трупп Петербурга и Москвы. 1801–1825 // История русского драматического театра: В 7 т. М., 1977. Т. 2.
249. Розанов И.Н. Ранние подражания «Евгению Онегину» // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1936. Вып. 2.
250. Розанов М.Н. Об источниках стихотворения Пушкина «Из Пиндемонти» // Пушкин. Сб. 2. М.; Л., 1930.

251. Риторика и стиль. М., 1984.

252. Россина Н. Элегическая традиция в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин» // Болдинские чтения. Горький. 1986.

253. РС. 1900. Т. 101.

254. Рукою Пушкина: Несобранные и неопубликованные тексты. М.; Л., 1935.

255. Рябинина Н.А. К проблеме литературных источников поэмы А.С. Пушкина «Медный всадник» // Болдинские чтения. Горький, 1977.

256. Савченко Т.Т. О композиции цикла 1836 года А. С. Пушкина // Болдинские чтения. Горький, 1979.

257. Сакулин П.Н. Памятник нерукотворный // Пушкин: Сб. 1. М., 1924.

258. Семенко И.М. О роли образа «автора» в «Евгении Онегине» // Тр. Ленингр. гос. библ. ин-та им. Н.К. Крупской. Л., 1957. Т. 2.

259. Сидяков Л.С. Начальный этап формирования пушкинской прозы: 1815–1822 // Пушкинский сб. Рига, 1968.

260. Сидяков Л.С. Поэма «Домик в Коломне» и художественные искания Пушкина рубежа 30-х годов XIX века // Пушкинский сб. Псков, 1968.

261. Сидяков Л.С. Публицистика в художественной прозе Пушкина: Незавершенные произведения рубежа 1830-х годов и опыт «Евгения Онегина» // Пушкинский сб. Псков, 1973.

262. Сидяков Л.С. Художественная проза А. С. Пушкина. Рига, 1973.
263. Сидяков Л.С. «Евгений Онегин» и незавершенная проза Пушкина 1828–1830 годов: Характеры и ситуации // Проблемы пушкиноведения. Л., 1975.
264. Сидяков Л.С. Проза и поэзия Пушкина. Соотношение и взаимодействие: Автореферат докторской диссертации. Тарту, 1975.
265. Сидяков Л.С. «Евгений Онегин» и замысел светской повести рубежа 1830-х годов: К характеристике Онегина в седьмой главе романа // Замысел, труд, воплощение. М., 1977.
266. Сидяков Л.С. «Евгений Онегин», «Цыганы» и «Граф Нулин»: К эволюции пушкинского стихотворного повествования // Пушкин: Исслед. и материалы. Л., 1978. Т. 8.
267. Сидяков Л.С. «Полтава» и «Евгений Онегин»: К характеристике повествовательной системы исторической поэмы Пушкина // Пушкин: Исслед. и материалы. Л., 1979. Т. 9.
268. Сидяков Л.С. «Евгений Онегин» и «Арап Петра Великого» // Проблемы пушкиноведения. Рига, 1983.
269. Скатов Н.Н. Русский гений. М., 1987.
270. Скачкова О.Н. Темы и мотивы лирики А.С. Пушкина 1820-х годов в «Евгении Онегине» // Болдинские чтения. Горький, 1983.

271. Скачкова О.Н. Дружеское послание А.С. Пушкина и «Евгений Онегин» // Проблемы пушкиноведения. Рига, 1983.
272. Слонимский А.Л. Мастерство Пушкина. М., 1963.
273. Смоленский Я.М. В союзе звуков, чувств и дум. М., 1976.
274. Соколов А.Н. «Полтава» Пушкина и «Петриады» // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1939. Т. 4–5.
275. Соколова К.И. Лирика Пушкина и роман в стихах: Некоторые аспекты взаимодействия // Проблемы современного пушкиноведения. Л., 1981.
276. Сомов О.М. Обзор российской словесности за 1828 год // Северные цветы на 1829 год.
277. СО. 1812. Кн. 1. № IV.
278. Соч. и письма П.Я. Чаадаева / Под ред. М. Гершензона. М., 1913.
279. Старк В.П. Стихотворение «Отцы пустынноики и жены непорочны» и цикл Пушкина 1836 г. // Пушкин: Исслед. и материалы. Л., 1982. Т. 10.
280. Стенник Ю.В. Традиции торжественной оды XVIII века в лирике Пушкина периода южной ссылки («Наполеон») // XVIII век: Русская литература XVIII века и ее международные связи. Л., 1975. Сб. 10.
281. Степанов Н.Л. Лирика Пушкина. М., 1974.

282. Сурин Н.А. Ораторское искусство прошлых времен. Рига, 1971.

283. Тамарченко Н.Д. К проблеме романа в творчестве А.С. Пушкина («Евгений Онегин» и «Цыганы») // Болдинские чтения. Горький, 1980.

284. Тархов А.Е. Вступ. статья и коммент. // Пушкин А.С. «Евгений Онегин». М., 1980.

285. Тархов А.Е. Размышления по поводу одной иллюстрации к «Медному всаднику» // Альманах библиофила. М., 1987. Вып. 23.

286. Терпигорев Н.И. Заметка о Пушкине // РС. 1870. Т. 1. С. 493.

287. Тимофеев Л.И. «Медный всадник»: Из наблюдений над стихом поэмы // Пушкин. М., 1941.

288. Тойбин И.М. Проблема историзма в творчестве Пушкина 1830-х годов // Вопр. лит. 1966. № 4.

289. Тойбин И.М. Вопросы историзма и художественная система Пушкина 1830-х годов // Пушкин: Исслед. и материалы. Л., 1969. Т. 6.

290. Толмачев А.В. Полководец человеческой силы. М., 1969.

291. Томашевский Б.В. История стихотворения «Как с древа сорвался предатель ученик...» // Пушкин и его современники. Л., 1930. Вып. 38/39.

292. Томашевский Б.В. Пушкин. М.; Л., 1956. Кн. 1.

293. Томашевский Б.В. Пушкин. М.; Л., 1961. Кн. 2.
294. Турумова К. Евгений Вельский и его автор // Вопр. лит. 1972, Т. 8.
295. Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977.
296. Тынянов Ю.Н. Пушкин и его современники. М., 1969.
297. Тюпа В.И. Притча о блудном сыне в контексте «Повестей Белкина» как художественного целого // Болдинские чтения. Горький, 1983.
298. Фейнберг И.Л. Звучащая проза Пушкина // Наука и жизнь, 1974. № 12.
299. Фейнберг И.Л. Незавершенные работы Пушкина // Фейнберг И.Л. Читая тетради Пушкина. М., 1985.
300. Фейнберг И.Л. Об оде «Вольность» // Фейнберг И.Л. Читая тетради Пушкина. 2-е изд. М., 1981.
301. Филарет, митрополит. Не напрасно, не случайно // Пушкин А.С. Собр. соч.: в 10 т. Л., 1977. Т. 3. С. 453.
302. Фомичев С.А. Последний лирический цикл Пушкина // Временник Пушкинской комиссии. 1981. Л., 1985.
303. Фомичев С.А. Лирика Пушкина: Творческая эволюция. Л., 1986.
304. Фомичев С.А. Проза Пушкина: начальный этап и перспективы эволюции // Временник Пушкинской комиссии. Л., 1987. Вып. 21.

305. Фомичев С.А. Комментарии // Рылеев К. Ф. Соч. Л., 1987.
306. Фонвизин Д.И. Друг честных людей, или Стародум // Русская проза XVIII века. М.; Л., 1950. Т. 1.
307. Фридлендер Г.М. Поэтический диалог Пушкина с Вяземским / Пушкин: Исслед. и материалы. Л., 1983. Т. 11.
308. Фридман Н.В. Образ поэта-пророка в лирике Пушкина // Уч. зап. МГУ. М., 1946. Вып. 118. Кн. 2 (Тр. кафедры рус. лит.).
309. Хаев Е.С. Эпитет «медный» в поэме «Медный всадник» // Временник Пушкинской комиссии. 1981. Л., 1985.
310. Хализев В.Е. Пушкинское и белкинское в «Станционном смотрителе» // Болдинские чтения. Горький, 1984.
311. Цицерон. Леллий, или О дружестве. Спб., 1781.
312. Цявловский М.А. Хронология оды «Вольность» // Цявловский М.А. Статьи о Пушкине. М., 1962.
313. Черняев Н.И. «Пророк» Пушкина в связи с его же «Подражаниями Корану». М., 1898.
314. Чехов А.П. Хорошая новость // Полн. собр. соч. и писем. В 30 т. М., 1979. Т. 16.
315. Чихачев В.П. Академическое красноречие в России. М., 1972.
316. Чичерин А.В. Возникновение романа-эпопеи. М., 1958.

317. Чувствование христианина при отпевании тела графа П.А. Строганова и при слушании слова, произнесенного на сей случай архимандритом Филаретом // Дух журналов. 1817. № 31.

318. Чумаков Ю.Н. К историко-типологической характеристике романа в стихах: «Евгений Онегин» и «Спекторский» // Болдинские чтения. Горький. 1977.

319. Чумаков Ю.Н. Поэтическое и универсальное в «Евгении Онегине» // Болдинские чтения. Горький, 1978.

320. Чумаков Ю.Н. К традиции русского стихотворного романа (Пушкин — Полонский — Блок) // Проблемы современного пушкиноведения. Л., 1981.

321. Чумаков Ю.Н. «Евгений Онегин» и русский стихотворный роман. Новосибирск. 1983.

322. Чумаков Ю.Н. «Евгений Онегин» и стихотворная беллетристика 1830-х годов // Болдинские чтения. Горький, 1985.

323. Шильдер Н.К. Император Александр I. Его жизнь и царствование... Спб., 1898. Т. 4.

324. Шишков по воспоминаниям К.С. Сербиновича // РС. 1896. № 9.

325. Эйдельман Н.Я. Пушкин и декабристы. М., 1979.

326. Эйхенбаум Б.М. О поэзии. Л., 1969.

327. Эльяш Н.И. Пушкин и балетный театр. М., 1970.

328. Якубович Д.П. «Пиковая дама» // Пушкин А.С. Пиковая дама. Л., 1936.

329. Якубович Д.П. Черновой автограф трех последних строф «Памятника» // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1937. Т. 3.

330. Якушкин И.Д. Записки, Статьи, письма декабриста И.Д. Якушкина. М., 1951.

331. Янушкевич А.С. Этапы и проблемы творческой эволюции В.А. Жуковского. Томск, 1985.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Августин, епископ 18, 46, 47, 51, 52, 54, 55, 69, 78, 81, 220, 239, 344
- Аверинцев С. С. 178, 377
- Авраам (библ.) 123
- Агессо 229
- Акимова Г. Н. 95
- Аксаков СТ. 19
- Александр! 18, 19, 21, 22, 43, 46, 47, 52, 56, 58, 60, 69, 73, 77, 81-85, 87-100, 103, 108, 111, 196, 213, 227-240
- Александр Николаевич, вел. кн. 23
- Алексеев М. П. 8, 155, 156, 235
- Алексий, митрополит 23
- Альфиери — см. Данте Амвросий, епископ 213
- Амвросий, митрополит 18, 78, 115
- Антоний, архиепископ 211
- Антоний, епископ 220
- Анненков П. В. 113
- Анордист Н. 188
- Апр Марк 362
- Апулей Люций 263
- Аракчеев А. А. 363

Аристотель 296, 377
Артоболевский Г. В. 9
Архий 367
Аткинсон И. 86
Ахматова А. А. 275

Бабаев Э. Г. 204
Багратион П. И. 18
Базанов В. Г. 8, 75
Баратынский Е. А. 193, 201
Барклай де Толли М. Б. 18, 109
Батюшков К. Н. 29, 50, 51, 255, 265
Бахтин М. М. 236
Белинский В. Г. 16, 218, 236, 299, 300, 303, 375
Белобородов И. Н. 351—354, 356, 359
Беньян Д. 176-178
Беральд Савойский 319
Беранже П.-Ж. 98
Бертье Л.-А. 92
Бестужев А. А. 129, 188, 190, 299-301, 303, 307
Бестужев-Марлинский А. А. — см. Бестужев А. А.
Бестужев-Рюмин М. А. 25
Благой Д. Д. 8, 50, 75, 176, 177
Блок А. А. 189

Боброве. С. 126, 254
Боккаччо Д. 319
Бонди С. М. 8, 83, 195
БоревЮ. Б. 251, 279
БоссюэЖ.-Б. 195, 229, 230, 232
Бочаров С. Г. 8, 293, 317
Брант (Брандт) К. 146
Бродский Н. Л. 195
Брут Марк Юний 103, 363
Брюсов В. Я. 250, 277
Буало-Депрео Н. 126, 128
Бужинский см. Гавриил
Бужинский
Булгаков П. А. 220
Булгарин Ф. В. 308, 360, 364-373
Бунина А. О. 127
Бутурлин 262
Бутурлина А. П. 24
Бюфон Ж.-Л. Л. 294, 295, 366

Варфоломей Е. К. 123
Василиса, старостиха 85
Венецианов В. 87
Веррес 362

Вигель Ф. Ф. 7, 35, 74, 123, 124, 363

Виноградов В. В. 6, 8, 15, 122, 124, 131, 132, 137, 154, 192,
196, 208, 250, 317, 334, 337, 340, 365

Виноградов Захарий, священник 343

Винокур Г. О. 8, 192

Висковатов С. И. 127

Витгенштейн П. Х. 48

Владимирский Г. Д. 179

Волкова М.А. 343

Вольтер Ф.-М. 127, 293, 295

Воскресенский М. И. 188

Вяземский П. А. 26, 31, 35, 88, 99, 114, 125, 146, 162, 163,
168, 187, 224, 231, 245, 298, 300, 301, 304, 317, 318, 326, 327

Гавриил, архангел 138

Гавриил Бужинский, епископ 257-263

Галактионов И. 241

Галич А. И. 11, 27

Ганнибал А. П. 74

Геннадий, игумен 196

Георгиевский П. Е. 27, 39, 310

Гермоген, архимандрит 342

Герцен А. И. 375

Гинзбург Л. Я. 170

Глазунов И. И. 128

Глинка Ф. Н. 25, 133
Гнедич Н. И. 32, 141-143
Гоголь Н. В. 374
Голицына А. А. 344
Гомер 141, 142, 194, 258;
Гораций Квинт Флакк 290
Горголи И. С. 91
Городецкий Б. П. 109
Горчаков А. М. 27, 297
Граббе Н.Х. 363
Грановский Т. Н. 16
Гревениц П. Ф. 112
Грехнёв В. А. 8, 160, 174
Греч Н. И. 38, 39, 227, 297, 361, 364-368, 370-374
Грибоедов А. С. 309
Григорьева А. Д. 8, 180, 181
Гроссман Л. П. 8, 75, 192, 198, 217, 319 Грот Я. К. 35
Гуковский Г. А. 8, 249, 250

Давид (библ.) 223
Давыдов В. Л. 129
Давыдов Д. В. 304, 317, 318
Д'Аламбер Ж.-Л. 12, 294, 295
Даль В. И. 300

Данзас К. К. 112

Данте Алигьери 305, 333, 335

Дашков Д. В. 126, 362

Дашков П. М. 220, 225

Дельвиг А. А. 125, 181, 189, 298, 317, 357

Демосфен 351, 362

Депрео — см. Буало-Депрео

Державин Г. Р. 45, 72, 107, 127, 133, 357, 358

Джанни Ф. 182

Дмитриев И. И. 125, 317, 318

Дмитрий Самозванец (Лжедимитрий I) 319

Добролюбов Н. А. 7, 375

Долгорукий (Долгоруков) Я. Ф. 262

Дюбург 86

Дюма А. 155, 156

Евгений, епископ 266

Евграф, архимандрит 220

Екатерина II (Екатерина Алексеевна, вел. кн.) 107, 145, 147,
169, 262, 353

Елагин 351

Ерёмин М. П. 8, 268

Ерёмина Л. 268

Ефрем Сирий 180, 181

Жихарев С. П. 35, 236, 362

Жуковский В. А. 18, 30, 35, 38, 49, 125, 228, 229, 366

Журбина Е. И. 373

Загорский Николай, протоирей 57

Загоскин М. Н. 188, 310, 350

Загряжская Н. К. 317, 318

Заикин 128

Иванов И. А. 86, 87, 241

Измайлов Н. В. 8, 109, 252, 259, 287

Иисус Христос 89, («Спаситель») 90, 92, 122, 125, 130, 131,
154, 182-184, 223, 319

Илличевский А. Д. 112

Илюшин А. А. 335

Иконников А. И. 294

Иоанн Богослов 125, 144, 154

Иов (библ.) 114, 140, 141, 173, 223, 271-273

Иосиф, архимандрит 361

Иосиф, протоирей 82

Ипсиланти А. К. 99

Исайя (библ.) 134-137

Исидор, епископ 172

Исократ 362

Иуда Искариот 182

Калигула Гай Цезарь Август Германик 77, 82

Карамзин Н. М. 28, 108, 114, 294, 299, 304, 305, 330

Карл XII, король шведский 147

Катенин П. А. 191

Каталина 325

Карцов Н. 188

Каччагвиде 335

Кайданов И. К. 27

Кайсаров А. С. 18

Керн А. П. 319

Кесарь см. Цезарь Гай Юлий

Кларк 86

Киреевский И. В. 298, 305

Кирилл, архиепископ 157

Кока Г. М. 109

Колотенко Н. 188

Комовский С. Д. 112

Конде, принц 229, 230

Конисский Георгий, архиепископ 169

Константин Павлович, вел. кн. 227

Копиевич И. Ф. 262

Корф М.А. 112, 361

Кочеткова Н. Д. 25, 254

Кошанский Н. Ф. 5, 15, 27, 35, 40, 76, 77, 189, 194, 197, 244-246, 248, 253, 262, 294, 296, 297, 299, 304, 306-310, 325, 326, 328, 349, 357, 362, 371

Кромвель О. 231

Крылов И. А. 38, 83, 241, 301, 317, 318

Кулешов В. И. 8

Куницын А. П. 27, 35, 36, 37, 77

Курбский А. М. 319

Курций 85

Кутузов М. И. 17, 18, 20, 52, 61, 62, 75, 105, 107, 225, 226

Кюхельбекер В. К. 112, 133, 181, 226

Лавров И. П. 91

Лагарп Ж.-Ф. 294

Лажечников И. И. 309

Леве-Веймарт Ф.-А. 39

Левин В. Д. 250, 277

Левкович Я. Л. 8, 111

Левшин 194

Лежнев А. З. 8, 293, 332

Лемонте П.-Э. 301

Ленобль Г. М. 287

Лермонтов М. Ю. 189
Лернер Н. О. 109
Ливенцов Ф. В. 213
Липранди И. П. 317
Листов В. С. 144, 160, 319
Ломоносов М. В. 16, 39, 107, 145, 252-254, 256, 351
Лористон Ж.-А.-Б. 87 Лот (библ.) 124
Лотман Ю. М. 8, 43, 190, 192, 195, 221, 222, 228, 232, 377
Людовик XIV 229
Людовик XVI 76, 77, 79, 83
Людовик XVII 77
Львов Ф. П. 127

Магомет 138
Макогоненко Г. П. 8
Малиновский А. Ф. 38
Малиновский Ф. 218, 372
Мандельштам О. Э. 341
Мануйлов В. А. 109
Марина см. Мнишек Марина
Мария, Богоматерь 89, 90, «пресвятая дева» 183
«Мария — грешница» — Мария Магдалина 183
Мария Федоровна, императрица 72
Марлинский — см. Бестужев А. А.

Мартын Задека 193
Мартынов А. И. 112
Мартынов И. И. 60
Матфей, евангелист 130, 131, 154, 155
Маймин Е. А. 8, 251
Мерзляков А. Ф. 5, 13, 26, 27, 188, 247, 296, 308
Месмер Ф.А. 333
Местр Ж. 18, 362
Мейер Ян М. 293
Мейлах Б. С. 8, 56, 140, 143
Миллер П. А. 298
Минин К. З. (Сухорук) 19, 46, 350
Михаил Павлович, вел. кн. 227
Михайловский-Данилевский А. И. 18
Мнишек Марина 319
Модзалевский Л. Б. 109
Моисей (библ.) 26, 123, 141
Монгольфьер Ж.-М. 333
Мордвинов Н. С. 363
Моро Ж. В. 162
Моцарт В.-А. 319
Мурена 362
Муханов 162
Мюрат И. 85

Мясоедов П. Н. 112

Набоков В. В. 195, 196

Надеждин Н. И. 367, 370, 372, 373

Наполеон I Бонапарт 17, 41, 43, 46, 47, 49, 52, 57-59, 77-83,
86-101, 103, 104, 109, 146, 163, 225, 226, 238, 240-242, 269, 274, 304,
322

Нарышкин А. Л. 181

Нарышкина М. А. 318

Нащокин П. В. 317–319

Нелединский-Мелецкий Ю. А. 72

Нельсон Г. 225, 226 Нерон 81

Николай I 22, 144-147, 154, 157-163, 169

Николев Н. П. 126

Никольский А. С. 229

Овидий Назон, Публий 290

Одоевский А. И. 155

Одоевский В. Ф. 243, 307, 309

Оксман Ю. Г. 8, 319

Оленин А. Н., 41

Омир — см. Гомер

Оранский Вильгельм, принц 60, 72

Орлов А. А. 308, 360, 361, 363-366, 368-371, 373

Орлов А. Г. 46
Орлов М. Ф. 25, 39, 300, 301
Осповат А. Л. 287
Остерман И. А. 220
Островский 318
Островский, граф 77

Павел, князь — см. Дашков П. М.
Павел I 76, 81, 318, 319
Павлов Н. Ф. 298
Палицын Авраамий (в миру Аверкий Иванович) 18, 46
Пастернак Б. Л. 189
Пеллико С. 114, 184, 185
Пенинский И. С. 229
Петр¹ 16, 145, 146, 188, 250-254, 256-270, 274-279
Петр III (Петр Федорович, вел. кн.) 107, 352
Петрунина Н. Н. 8, 9, 109, 294, 297, 317
Пеуранен Эрки 8, 106, 178
Пиндемонти И. 184, 185
Писная В. Н. 319
Платов М. И. 20
Платон 362
Плетнев П. А. 23, 35, 193
Плутарх 258, 364

Погодин М. П. 160, 161, 164, 262
Погорельский А. 307
Пожарский Д. М. 18, 46
Полевой Н.А. 303
Полежаев А. И. 188
Поликарп, архимандрит 285-287, 289, 291
Полонский Я. П. 189
Поповский 351
Потемкин Г. А. 318
Почетная В. В. 254
Прокопович Феофан 145, 254, 256, 262, 351
Пугачев Е. И. 348–359, 374
Пумпянский Л. В. 249, 250, 253-255, 263, 287, 290
Пуцин И. И. 6, 40, 56, 99, 144, 147, 154, 155
Пушкин В. Л. 34, 35, 126, 127, 236, 317, 362, 366, 367
Пушкин Л. С. 114, 290, 318
Пушкин О. С. 290

Радищев А. Н. 25, 76
Раевский Н. Н. 71
Родожницкий И. Т. 20
Разумовский А. К. 44
Расин Ж.-Б. 127, 128
Рем 319

Рейнсдорп И. А. 348
Рихтер И.-П.-Ф. (Жань-Поль) 324
Рождественский Ю. В. 377
Ром Ж. 226
Ромул 319
Ростопчин Ф. В. 19, 52, 65, 87
Ростопчина Е. П. 155
Румянцев П. А. 46
Рылеев К.Ф. 146, 225, 226
Рябинина Н.А. 287

Сакулин П. Н. 235
Салтыков-Щедрин М. Е. 375
Сальери А. 319
Сербинович К. С. 18
Сергий Радонежский 169
Сидяков Л. С. 8, 293, 294, 300, 317, 340
Симеон, архимандрит 67
Сирин — см. Ефрем Сирин
Скатов Н. Н. 8
Скобелев Н. Н. 18
Слонимский А. Л. 110, 250
Скотт В. 122, 310, 323
Смирдин А. Ф. 38

Смоленский Я. М. 191, 192
Смольянская Е. С. 342
Соколов А. Н. 253
Соколов А. Т., по прозвищу Хлопуша 351–354, 356, 359
Соколов П. И. 128
Соллогуб В. А. 319
Соломирская 122
Сомов О. М. 302
Сонцов А. Б. 220
Соц В. И. 91
Сперанский М. М. 12, 22
Стивен Ф. Х. 112
Стенник Ю. В. 100, 101
Степанов Н. Л. 135
Строганов П. А. 226–228
Суворов А. В. 17, 46, 318
Сумароков А. П. 254
Сцевола 85, 86

Тархов А. Е. 195, 237, 271, 273, 275
Тацит Кай Корнелий 362
Теребенев И. И. 85-87, 92, 93, 98, 240, 241
Тимковский Р. Ф. 53, 322, 361
Тимофеев Л. И. 250

Титов В. П. 319
Титов М. И. 172
Тихомиров А. 59, 109
Толмачев Я. В. 17, 305
Толстой Л. Н. 189
Томашевский Б. В. 8, 38, 91, 135
Тойбин И. М. 161
Тредиаковский В. К. 39, 254
Тупылев И. 86
Тургенев А. И. 26 , 33, 35 , 74, 124, 125, 224, 262
Тургенев И. А. 189
Тургенев Н. И. 39, 74
Тынянов Ю. Н. 6, 8, 9, 192, 226

Уваров С. С. 127

Фальконе Э.-М. 272
Федоров Б. М. 198
Фемистокл 258
Феофан — см. Прокопович Феофан
Феофан, архимандрит 172-175
Фейнберг И. Л. 8, 82, 83, 252, 262
Филарет (Василий Дроздов), митрополит 18, 23, 24, 107,
157, 158, 161-170, 226-228, 267

Фомичев С. А. 8, 73, 184

Фонвизин Д. И. 351

Фонтан 41

Фонтенель Б. 295

Фридлендер Г. М. 327

Фридман Н. В. 140

Фукс Е. Б. 17

Хаев Е. С. 268, 274

Хализев В. Е. 8

Хвостов Д. И. 126, 127

Херасков М. М. 125

Хитрово Е. М. 168

Хлопуша — см. Соколов А. Т.

Христос — см. Иисус Христос

Цезарь Гай Юлий 103, 228

Цицерон Марк Тулий 325, 326, 349, 351, 361-363, 367, 368,

377

Чаадаев П. Я. 17, 209

Черняев Н. И. 137

Чехов А. П. 377

Чичерин А. В. 331

Чумаков Ю. Н. 209

Шаховской А. А. 127, 128, 293

Шекспир В. 323

Шенье А. 139

Шервинский С. В. 192

Шереметев 165

Ширинский-Шихматов С. А. 127

Шихматов — см. Ширинский-Шихматов С. А.

Шишков А. С. 18, 19, 70, 127, 128, 352

Щепкин М. С. 317, 318

Эйхенбаум Б. М. 8, 188

Юдин П. М. 112

Языков Н. М. 193

Якимов В. А. 39

Яковлев М. Л. 112

Якубович Д. П. 8, 235, 340

Якушкин И. Д. 363

Янькова А. Д. 24

Янькова Е. П. 24

УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ А.С. ПУШКИНА

Арап Петра Великого 188, 252, 262

Александрю 56, 59, 60, 72, 73, 84, 111

Андрей Шенье 139

Барышня-крестьянка 316, 320, 321, 323, 324

Борис Годунов 230, 231, 309

Бородинская годовщина 104–106

Брожу ли я вдоль улиц шумных 171–176

Была пора: наш праздник молодой 38, 104, 110–113

В. Л. Давыдову («Меж тем, как генерал Орлов») 129, 130

Влюбленный бес 319

Воображаемый разговор с Александром I 82, 84

Вольность 73–84

Воспоминания в Царском Селе 44–56, 59, 60, 72, 73, 76, 81,

84

Второе послание к цензору 19

Воспитанный под барабаном 84, 92

В Сибирь («Во глубине сибирских руд») 144, 147, 154–156,
158, 159

Выстрел 316, 317, 320

Герой 104, 109, 145, 146, 160–164, 168, 169

Гости съезжались на дачу 188
Граф Нулин 246, 247, 308
Гробовщик 316, 321, 323
Дар напрасный, дар случайный 164, 168
19 октября 1827 («Бог помочь вам, друзья мои») 144
Деревня 332
Домик в Коломне 308
Дубровский 318
Торжество дружбы, или Оправданный Александр
Анфимович Орлов 360, 363–372
Евгений Онегин 10, 93, 104, 186–248, 309, 320, 346, 363, 368
Езерский 249
Заметка «О графе Нулине» 308
Замечания о бунте 348 Зачем ты послан был и кто тебя
послал? 100, 101
И. И. Пущину («Мой первый друг, мой друг бесценный»)
144, 155
Из Пиндемонти 184–186
История Петра 9, 252
Каменный гость 22, 341
Капитанская дочка 318, 348–359
Картина Царского Села 293
К бюсту завоевателя 93
Клеветникам России 104–106, 108, 269

- К морю 100
- Коварность 182
- Медный всадник 10, 249–291
- Метель 316, 320–322
- Мирская власть 171, 183, 184
- Мои мысли о Шаховском 293
- Молдавские повести 294
- Наполеон 100, 101, 104
- Наполеон на Эльбе 56, 57, 59, 60, 72
- Напрасно ахнула Европа 129
- Напрасно я бегу к Сионским высотам 171
- На углу маленькой площади 188
- Недвижный страж стоял на царственном пороге 100–103,
108
- Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем 360,
372–375
- Об обязанностях человека. Сочинение Сильвио Пеллико
144
- О поэтическом слоге 298
- О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А.
Крылова 301
- О прозе 292–297, 299 Отрывки из писем, мысли и замечания
297
- Отцы пустынноики и жены непорочны 171, 179–182

Перед гробницею святой 104–107
Пиковая дама 317, 318, 333–348
Пир Петра Первого 145–147
Повести Белкина 188, 292, 316, 317, 320, 321
Подражание италийскому 171, 182
Подражания Корану 139
Полководец 104, 109, 110
Полтава 252, 253
Поэт 140, 141
Поэт и толпа 140
Поэту 140
Принцу Оранскому 56, 59, 60, 72, 73
Проклятый город Кишинев (из письма к Вигелю) 123, 124
Пророк 133–138, 141, 144
Путешествие в Арзрум 309
Разговор книгопродавца с поэтом 138, 139
Рефутация г-на Беранжера 98
Роман в письмах 188
Свободы сеятель пустынный 130–132
С Гомером долго ты беседовал один 141–143
Сказки (ноэль) 84, 89–92
Собрание сочинений Георгия Конисского, архиепископа
Белорусского («Георгий Конисский известен у нас краткой
речью») 169, 170

Стансы («В надежде славы и добра») 145, 252, 253
Станционный смотритель 316, 320, 324-332
Странник 171, 176–179
Торжество дружбы, или Оправданный Александр
Анфимович Орлов 308, 360–372
 «Три повести» Н. Павлова («Три повести г. Павлова очень
замечательны...») 298, 299
Тургеневу («Тургенев, верный покровитель») 122
Фатам, или Разум человеческий 293
Христос воскрес, питомец Феба! (из письма к
В.Л. Пушкину) 125, 126
Цыган 293
Чем чаще празднует Лицей 104
Юрий Милославский, или Русские в 1612 году («В наше
время под словом роман...») 310
Я памятник себе воздвиг нерукотворный 143, 144, 171, 235